1 р. 50 к.

ИНДЕКС 73274

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В № 11 за 1990 год мы предоставили слово членам Клуба друзей "Нашего современника" на кавказских Минеральных Водах, а также опубликовали обращение к читателям журнала, в котором предлагали нашим единомышленникам, объединившимся в подобные клубы, сообщать в редакцию "Нашего современника" их адреса, дабы иметь возможность координировать совместные усилия в области культурно-просветительской деятельности.

К сожалению, многие наши соотечественники разобщены и готовы порою даже впасть в отчаяние, о чем свидетельствует, в частности, письмо Сергея Ильичева из г. Ухты Коми ССР:

"...Так где же единство? Спрашиваю вас — где оно? Велика Россия, но нужна ли она русскому народу?..

Распутин, Куняев, Астафьев, Шафаревич, Солженицын — я преклоняюсь перед ними. Я назвал бы еще многих, но они-то — далеко, а я ведь здесь — один. А рядом, быть может, такой же, как я, но тоже один, и там... Кто же поможет нам стать вместе? Что же мы так и будем — в одиночку? Хотел бы, чтобы кто-то ответил мне, что же мне-то, молодому здоровому парню, делать, или так вот сидеть потихоньку "на печи" и ждать, ждать, а чего — гибели Родины?"

Ниже мы публикуем еще один отклик на наше обращение, пришедший из г. Южно-Сахалинска, и выражаем надежду, что как вновь созданные общества патриотической ориентации, так и уже действующие клубы друзей "Нашего современника" будут делиться с нами своими планами и наиболее интересной информацией.

Дорогая редакция!

Откликаясь на просьбу сообщить редакции адреса клубов друзей "НС", расскажу коротко о нашем клубе.

Интерес к прошлому нашего Отечества (особенно до 1917 г.) объединил группу геологов Сахалина в клуб любителей русской истории еще в январе 1989 г. Мы довольно быстро поняли, что история интересна прежде всего выходом на современные проблемы. Поэтому с середины 1989 г. свой клуб мы назвали Клубом русской истории и друзей журнала "Наш современник".

На заседания клуба приходят не только геологи нескольких экспедиций объединения "Сахалингеология", но и работники ряда других организаций (академического и проектных институтов, "Союзморгео", краеведческого музея и др.). Таким образом, клуб становится общегородским. Обсуждаем новинки исторической литературы, публикации в журналах, приглашаем с докладами специалистов-историков, но опираемся на изыскания членов клуба, особенно когда их поиски приводят к каким-то находкам, открытиям. Мы хотим сами разобраться во многих вопросах, не дожидаясь, когда академики "разберутся" во всем...

Однако нас беспокоит нескоординированность работы патриотических организаций, обществ, клубов. Надеемся, что редакция "Нашего современника" возьмет на себя инициативу объединить все силы, стремящиеся к возрождению России.

По поручению членов Клуба любителей русской истории и друзей "Нашего современника"
Д. Ф. Семенов.

Дорогие друзья!

Объединяйтесь на местах в клубы, общества, группы сподвижников журнала. Мы ждем вашего отклика и готовы ввести новую рубрику "В клубе друзей "Нашего современника", где будем знакомить всех читателей с жизнью и делами патриотов каждого уголка России.

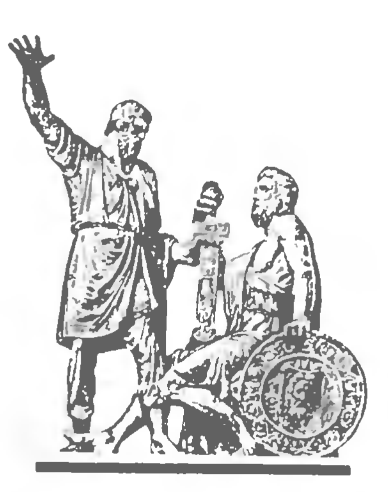
Наш современник, 1991, № 4, 1—192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №4 1991

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№4 1991

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№4 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

Технический редактор **Л. Л. Ежова** Корректоры **М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва. Цветной бульвар. 30. Телефоны 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора) 921-43-59 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 14.01.91 Подписано к печати 12.04.91 г.
Формвт 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 19,78 Тираж 273 242 Заказ 190

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Краснвя звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.



ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ

ПАСХАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК» ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю читателей журнала с великим и радостным праздником Святой Пасхи.

Воскресение Иисуса Христа, которое так торжественно празднуется христианами всей земли на протяжении почти двух тысяч лет, не случайно называется праздником праздников, ибо в этот день прославляется победа Жизни над смертью, Света над тьмою, Добра над злом, Правды над ложью и неправдой.

Воскресший Христос, Спаситель мира, положил начало мировому и одновременно глубоколичностному процессу воскресения, возрождения, обновления, преображения и обожения. Каждый человек, как и все мироздание, призван Богом-Творцом к совершенствованию, конечной целью которого является Богоуподобление.

Созданный по образу Божию, человек предназначен к вечной жизни во славе со своим Небесным Отцом. И в этой причастности Божественной жизни — он способен уподобиться Самому Богу.

Празднуя ныне преодоление земной инерции, Церковь Христова зовет всех людей на этот пир торжества Веры, Надежды и Любви. И да поможет Господь нам осознать, что все мы — дети Божии, что ради нас и нашей вечной жизни пришел на землю Господь наш Иисус Христос, принял страдание, крестную смерть и через воскресение соделал всех нас наследниками жизни вечной.

Ко всем вам я обращаю традиционное пасхальное, идущее от апостольских времен, приветствие:

Христос Воскресе!

в надежде, что все больше и больше людей смогут убежденно и искренне ответить:

Воистину Воскресе Христос!

+ Алексий

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 1991 года
г. Москва

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ИЗ ПЕПЛА...

Преподаватель Питсбургского университета Николай Петрович Полторацкий прожил на земле почти семьдесят лет. Вся его жизнь прошла во имя России, но вне России. Он даже родился, как говорится, не дома, а на чужбине в 1921 году, в Стамбуле. Жил в Турции, во Франции, в Болгарии и Америке. И ни дня в России! Но вот нынешней осенью он встретился наконец с любимым Отечеством. Приехал в Петербург читать лекции русским студентам и ... умер.

Незадолго до своей смерти, еще до приезда в Россию, он послал мне книгу с дарственной надписью «...о борце за русскость и ее возрождение И. А. Ильине».

Насколько я могу судить, никто не сделал так много в честь И. А. Ильина, как Николай Петрович Полторацкий. В своей книге он говорит, что И. А. Ильин «занимает совершенно особое место в той плеяде русских мыслителей, которые создавали современную русскую религиозную философию. И это не только потому, что он расходился идейно с наиболее известными из них — с Розановым, Мережковским (и Гиппиус-Мережковской), Булгаковым, Бердяевым, Франком, Вячеславом Ивановым, Карсавиным и другими». Полторацкий замечает далее, что «дело не в самом факте расхождения, а в характере и содержании этого расхождения».

В чем же эти расхождения и каковы их масштабы? Боюсь, что в условиях так называемого плюрализма, вернее, на его нынешнем уровне, наша студенческая молодежь, да и вся интеллектуальная общественность еще долго не будут знать ответа на этот вопрос. Вологодские и архангельские леса стремительно перевоплощаются в бумажные рулоны. Бумага также поспешно изводится на газеты и книги, на рекламные листы, порнографические брошюрки и т. д. Чего только не выплевывают ротационные машины в разгар перестройки! Но в магазине не купишь даже А. С. Пушкина, не говоря уже об И. А. Ильине. Вот держу в руках сразу три роскошных издания Б. Савинкова. Издательство «Московский рабочий» — 75 тысяч экземпляров. «Новости» (АПН) — 120 тысяч. «Художественная литература» — 100 тысяч. Одним махом почти 300 тысяч! Это не считая других недавних ротапринтных и прочих изданий. Великолепная бумага, красочные обложки...

За что такая честь убийце и провокатору? Он рассказывает о своих убийствах как о вполне нормальных, само собой разумеющихся и необходимых событиях, за которые мы, русские читатели, должны его, Савинкова, уважать, чествовать и любить. Отвратительная, бесстыдная, не лишенная литературных достоинств исповедь крупного беса. Бес прекрасно сознает собственное бесовство, но рассказывает о своих похождениях таким тоном, что русскому народу он был будто бы доза-резу необходим. Убийства и прочие мерзости для таких писателей в порядке вещей. «Благородное» иностранное слово «террор» (кстати, на французском оно обозначает ужас) заворожило не только Савинкова. Оно заглушило остатки совести у множества его современников. В большом ходу это слово и в наше просвещенное время. Но ведь было же что-то в душе того же Савинкова хотя бы во время его детства? Нет, он, видимо, еще в отрочестве погасил в себе что-то самое главное. Такие люди почему-то романтизируют гнуснейшие понятия. «Террор!» — как победно звучит, как перекатывается в глотке. Им слышится в этом слове рычание тигра, мерещится обещание удивительных приключений, налагающих обязанность быть смелым и мужественным. Тут уж не до сострадании. Здравый смысл тоже побоку. Тысячелетней историей Родины, а всего больше — природой Борису Савинкову было дано все, кроме божественной искры добра. Талант, физическое здоровье, незаурядный характер — все побросал он в огонь непонятой и неосознанной, оттого вообще бесцельной борьбы. Его редкая смелость и его мужество, его неукротимая энергия оказались на службе самолюбивого авантюризма. Но сладость риска, испытываемая человеком при выполнении опасного дела, превращается в полынную горечь, если становится самоцелью даже при добрых делах. Любитель же риска при участии в гнусных делах — это уж подлинный бес и мерзавец.

Отчего же у наших издателей появляется такая нескрываемая активность и даже восторг при виде исповеди убийцы? Ивана Шмелева и Бориса Зайцева они тоже, положим, издают. Но издают далеко не с такой поспешностью. И тиражи несоизмеримы...

Можно, конечно, объяснить такое явление денежным коммерческим интересом, хотя такой интерес сам по себе не ахти какое достижение ублюдочной советской культуры времен перестройки. Но дело, кажется, вовсе даже и не в деньгах, а в чем-то совсем ином.

* * *

Мне уже приходилось вслух говорить, что почти все мои деревенские сверстники, с которыми ходил в первый класс, лежат в могилах. Отчего бы это? Ведь на войну не попали призывники даже тридцатого года рождения. Я же сидел в первом классе с теми, кто родился в 32—33-х годах... Как сейчас помню нашу Никольскую церковь, где мы учились по букварю и где после уроков вместе со всеми другими классами обучались пению. Учительница Рипсения Павловна Алехинцева тщетно заставляла нас петь: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Из мальчишек не пел, кажется, ни один, иные безголосо разевали рты, делая вид, что поют взаправду. Звучало всего несколько девчоночьих голосков. Из всех сорока шести или сорока четырех первоклассников — не помню в точности — начальную школу закончили не более тридцати, а семилетнюю... всего один. Ваш покорный слуга. После этого осуществилась моя мечта получить десятилетнее образование, но для этого понадобилось не три, как это должно было быть, а целых двенадцать лет. Я как бы «не успевал» в учебе, сидя по четыре года в каждом классе. Такой вот тупоголовый орясина. О вузовском дипломе не мог даже мечтать. И все же мне посчастливилось не только выжить, но и получить аттестат зрелости, а затем и вузовский диплом, пусть и на четвертом десятке. Все это я говорю в связи с количеством русских, особенно деревенских, людей, имеющих так называемое высшее образование.

А как насчет качества этого высшего? Я всегда ощущал смутное чувство обворованного. Не исчезает оно и теперь, когда стало вполне осознанным.

Всю жизнь моему поколению выдаются некие весьма ограниченные порции культурно-исторической информации. Негласный запрет на культуру и даже на историю действует и теперь. Иначе мы давно бы

знали публицистику, например, Солоневича, философские труды Лосского, Левицкого и т. д. Словно какой-то скупердяй-кладовщик скрепя сердце, нехотя отвешивает эти информационные порции да еще и приговаривает: «На кой они вам?»

В начале 60-х годов я учился в Москве. Библиотекарша Литинститута не выдала мне том Достоевского с «Дневником писателя». Сослалась на какой-то запрет свыше. Чушь, не было никакого запрета. Это сама она не хотела, чтобы я прочитал «Дневник»... Все равно, многие уже читали и Достоевского, и Соловьева. Шли разговоры о Леонтьеве, Бердяеве, хотя книг не было. Пошла мода на Федорова... Заговорили наконец об о. Сергии Булгакове и о. Флоренском.

Нам как бы выдавали по рублю из грандиозной, веками копившейся русской философской казны! (Очень похоже на то, как нынче возвращают областям, улицам и городам подлинные названия. По одному названию в год. Не правда ли, очень надолго хватит. Может, и на сто лет.)

Помню случаи, и очень четко, как в 1949 году за чтение Есенина и Блока исключали из комсомола. Будьте, комсомольцы, довольны тем, что у вас есть Демьян Бедный, Маяковский и Безыменский! Все уже забыли, с каким трудом, с каким скрипом (да еще с купюрами) был переиздан словарь Даля. Карамзина проталкивали всем миром. О русском же философском наследии и толковать стыдно... Лишь недавно с оглядкой, вполголоса, заговорили об издании Соловьева, Леонтьева, Бердяева. Издательства отнюдь не спешат с публикациями, читать по русской идеалистической философии и до сих пор нечего. Читайте, студенты, Мережковского, пресловутый самиздат и почти легализованную книжную продукцию, вывозимую из-за рубежа «прорабами» перестройки. Эти знают, чего везти. (Во всех случаях процветает безудержная денежная и прочая спекуляция.) В книжном потоке, хлынувшем к нам с Запада, преобладают Чонкины, а не Горкины[1]. Пресса на все лады хвалит Бердяева. Даже В. В. Розанов успешно реабилитирован. Но отчего же печать ведет себя так сдержанно, когда речь заходит об Иване Александровиче Ильине?

Вопрос праздный... Еще в середине 20-х годов Н. А. Бердяев обзывал Ильина «небесным чекистом», а Зинаида Гиппиус «военно-полевым богословом». Даже над свежей могилой И. А. Ильина в декабре 1954 года звучали нотки застарелой неприязни к великому (я не побоюсь этого слова) философу. «...не все логически стройно и не все неотразимо-убедительно в его религиозно-нравственном миросозерцании...»,— трусливо и вкрадчиво писала эмигрантская «Русская мысль» (14.01.55).

Что же явилось причиной солдафонской терминологии в свободолюбивых устах Бердяева и Зинаиды Гиппиус? Всего лишь то, что И. А. Ильин осмелился на критику толстовской идеи непротивления злу[2].

* * *

Осмысляя нынешние ожесточенные идеологические и даже рукопашные схватки, пытаясь понять трагедию нашего Отечества, я почему-то каждый раз вспоминаю одно не очень приметное стихотворение А. С. Пушкина:

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон, мрачный и мятежный,
Над адской бездною летал.

[1] Горкин — герой произведения И. Шмелева «Лето господне». (Прим. ред.).

[2] Вот так же, в лучших традициях либерального террора, обрушились нынче на В. Г. Распутина, когда он позволил себе кое в чем не согласиться с Л. Н. Толстым. (Прим. автора).

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал,
И жар невольный умиленья
Впервые в жизни познавал:

«Прости! — он рёк, — тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всё я в мире ненавидел,
Не всё я в мире презирал».

Как видим, А. С. Пушкин даже к сатане относится по-пушкински снисходительно. Пушкинский дьявол испытывает «жар умиленья», говорит не свойственное ему слово «прости». Вселенское зло, по Пушкину, преодолевается вселенским добром и, вероятно, терпением. И добро побеждает. В этом, на мой взгляд, главное содержание русской идеи и, может быть, главное предназначение нашей России. Не потому ли история нашего народа так трагична? И мы наконец-то осмысляем судьбу русской интеллигенции, уклонившейся от Пушкина к Чаадаеву. (От Чаадаева до Смердякова, как известно, всего один шаг.)

Чистый пушкинский ангел, разумеется, все простил мятежному и мрачному демону. Но устоял ли при этом сам?

Лично меня то и дело обуревают сомнения...

У Лермонтова снисхождение к сатане обернулось романтическим оправданием демонизма. У Врубеля к демону чуть ли не жалость. Рубинштейн пишет целую оперу. Демон же не только не раскаялся, но с помощью каляевых и савинковых столкнул Россию в адскую бездну, продолжая при этом хохотать и безумствовать! Как мы еще выжили? Удивительно... Мы видим: на наших глазах змея жалит сама себя... Однако ж мне больше по душе иной образ, образ сожженной птицы. Она взлетает живой и невредимой из собственного еще горячего пепла...

Профессиональным историкам русской культуры давно бы надо неспешно и без горячки разобраться в эмигрантском наследии. Сложность и пестрота эмигрантского корпуса (если можно так выразиться) не мешают увидеть духовный контраст, четкую нравственную разделенность между двумя эмигрантскими группами. Вполне определенна и разница между теми, кого силой вытряхивали из родимой среды и кто вытряхнулся по доброй своей воле. Разница эта самоочевидна. Но именно эту разницу все еще пытаются скрыть средства массовой информации как у нас, так и на Западе. Зачем? Время все равно безжалостно отсортирует истинных героев от лжегероев, истинных страдальцев от лжестрадальцев, четко проявит степень литературной или какой-либо иной талантливости. Можно, конечно, даже с известной долей искренности ставить среднего поэта вровень с Пушкиным, среднего живописца считать национальным гением. Эта доля искренности должна бы сменяться соответствующей долей смущения, когда обнаруживаются завышенные оценки. Ничего этого не происходит. Свойство конфузливости присуще не всем. Больше того, есть люди, считающие чувство стыда атавистическим грузом. Это не мешает им возмущаться, когда такое же свойство обнаруживается у рядом живущего. Они не только возмущаются бесстыдством других, но и вполне искренно взывают к доброте и милосердию. Мизерный запас собственного альтруизма такими людьми обычно преувеличивается, усиленно афишируется, однако расходуется слишком уж бережливо. Да и что за альтруизм, коли человек то и дело вспоминает о нем и даже гордится им? Подлинный альтруизм не подозревает о собственном существовании. Как раз это свойство русского человека отражено и показано в произведениях И. С. Шмелева, о ком с такой страстной проникновенностью пишет И. А. Ильин в одной из своих книг[3].

[3] «О тьме и просвещении». Эта превосходная критическая работа при жизни И. А. Ильина не была опубликована. (Прим. автора).

Философия И. А. Ильина никогда не была отвлеченной, она предметна. Она выражена определенно, доступно, образно, через отношение к религии, к трагической мировой и русской действительности, наконец к русской литературе. Язык Ильина точен и образен. Например, его литературная критика сама по ходу дела превращается в художественное произведение.

«...Живую совесть, мудрое терпение, умение прощать и повиноваться...», о которых толкует И. А. Ильин, говоря о русском народном самосознании, авторы всевозможных чонкиных иметь не желают. Они торопятся всучить московским журналам своих недоношенных детищ — произведения циничные и малохудожественные. Нынешний наш массовый читатель, да и зритель в придачу вынужден путешествовать по таким маршрутам, как «Москва — Петушки», либо вместе с Сииявским прогуливаться по самым омерзительным духовно-эстетическим задворкам. И все это подается средствами массовой информации как великие достижения гласности.

Какая уж тут гласность! Даже на «свободном» Западе труды русского философа, публициста и критика замалчивались, издавались весьма неохотно, выборочно. Многое не опубликовано и до сей поры. Большинство людей, имеющих советские дипломы «высшего» образования, даже и не слыхали о таком русском философе. Те же, кому знать о подобных явлениях положено «по штату», торопятся обозвать «...душу, по-детски доверчивую, искреннюю, добрую и смиренно-покаянную», рабской душой. А «мудрое терпение и умение прощать и повиноваться» считают признаком национальной неполноценности. Тогда почему они боятся того момента, когда терпение русского человека лопается? И такой не хорош, и эдакий не ладён... Такая вот странно-загадочная логика. А разгадка очень проста, она в том, что, как поется в одной еще довоенной сентиментальной песенке, «в этот час ты призналась, что нет любви».

Да. Нет любви, и все не нравится. Но способность любить так же, как способность стыдиться, у одних есть, у других не развита. У третьих ее нет даже и в зачаточном виде, состояние озлобленности для них — состояние почти естественное.

Как же тебе-то быть, если ты любишь (жалеешь), а тот, кого ты любишь (жалеешь), делает тебе зло? И даже тем больше делает, чем больше твоя любовь и терпение? Не знаю... Но тоже хочу знать. Покамест я только мечтаю прочесть, например, книгу профессора И. А. Ильина «О сопротивлении злу силою». Нет в библиотеках ни Евг. Трубецкого, ни Флоровского. Издательство «Новости» выпустило наконец сборник «Вехи». Да что значат пятьдесят тысяч для такой великой и все же не желающей дробиться страны?

Читатель до сих пор сидит на голодном философском пайке. Ему подсовывают пока одни духовные суррогаты в диапазоне от Рёриха до Кашпировского. Но из этого ничего не получится... Молодежь рано или поздно узнает и о русском философе, публицисте и критике Иване Александровиче Ильине! Узнает и прочтет его удивительные труды.

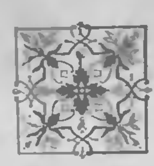
И. А. Ильин родился в Москве. Посреди той самой Руси, которая, по его словам, «...крепко, непоколебимо верила в то, что близость к Богу дает не только п р а в о т у, в е д у щ у ю н а в е р ш и н а х с в о и х к с в я т о с т и, н о и с и л у, ж и з н е н н у ю с и л у, и стало быть, п о б е д у над своими страстями, над природой и над врагами...». Далее в том же абзаце Ильин говорит:

«О, зрелище страшное и поучительное! Русский народ утратил все это сразу, в час соблазна и потемнения, — и близость к Богу, и власть над страстями, и силу национального сопротивления, и органическое единомыслие с природой... И как утрачено всё это сразу, вместе, — т а к в м е с т е и в о с с т а н о в и т с я...» Разрядка сделана самим Ильиным.

Примечательно то, что в заключительном «так вместе и восстановится» упущено слово «сразу». Хотел ли автор сказать этим, что потерять-то можно в одночасье, а для того чтобы собрать заново, понадобится много времени, сил и великого напряжения? Во всяком случае, умирая, в 1954 году в Швейцарии он твердо верил в обновление и возрождение своей Родины. Он верил и в то, что Россия рано или поздно услышит его страдающий голос.

Нынче мы просто не сможем обойтись без его книг. Не надо идти на ощупь, надо знать то, что уже есть, что создано задолго до нас! Ведь у И. А. Ильина есть ответы на самые трудные вопросы, разработаны не только философские, идеологические, то есть стратегические, но и тактические способы нашего государственного и духовного возрождения.

От редакции. В следующих номерах нашего журнала будет опубликована книга Ивана Ильина «Поющее сердце».





НИНА КАРТАШЕВА



ДАНА МНЕ БОГОМ ДОЛЯ

Доля Ми

Октябрь уж наступил... И Пушкин, и Чайковский
Со мной опять. Пришла моя пора.
Да, мне к лицу старинные прически,
Оттенки седины и серебра.

И быть тому! Душа ли, время ль года —
Вот доля мне. Рояль, как дождь, звучит,
Как журавлей прощанье с небосвода,
Как то, о чем строка моя молчит.

Рояль закрою. И невольно, странно
Вдруг на молитве тихо помяну
Я души ясные Петра и Александра —
И мне в ответ пронижет тишину

Закрытого рояля вещий голос
Аккордом: До-ля Ми! И пусть седеет волос.
Осенняя дана мне Богом доля.
Пусть седина. Его святая воля.

Публикация стихотворений Нины КАРТАШЕВОЙ в № 9 (1990 г.) вызвала многочисленные отклики читателей. По их просьбе сообщаем, что поэтесса родилась в Верхотурье Свердловской области. Ныне живет в подмосковном поселке Менделеево, работает преподавателем музыкальной грамоты и сольфеджио. Православная. Ее стихотворения ранее нигде не печатались и впервые были опубликованы в «Нашем современнике».

* * *

Лучезарной зимой, в осиянных снегах
Затерялась я в легких и быстрых стихах.
На морозе лицо разгорелось, смеясь,
И лыжня убегала, в березах змеясь.
Как дышалось легко! Бирюзовая тень
Провожала меня в тот возлюбленный день.
И одна — не одна. Было весело мне
В этой чуткой и полной любви тишине.
Чей-то дух золотой рядом справа летел
И назваться хотел. И назваться не смел.

* * *

Черная осень. Конец октября.
В мутных дождях погибает заря.
В вихре враждебном тучи летят,
В скорбных поклонах деревья стоят.
Места себе я не нахожу,
После работы часами брожу
По отвратительной падшей листве
В граде престольном, пропащем —
Москве.

Люди понуры, товары бедны,
Счеты с народом опять сведены.
Пышно гостям открывает сезон
Старый театр наших новых времен.

Всё — для чужих. И чужая печать
Площади, названной в честь палача.
Тихий священник мне правду
сказал:
«Страх иудейский народы сковал».
Делает сильных ничтожными страх.
Господи! Снова молюсь о врагах.
Их вразуми! Их к добру обрати.
Их из погибели в мир возврати.
Кровь убиенных к Тебе вопиет,
Мести не просит,
лишь милости ждет.

✦✦✦

* * *

Запахивают хлеб! Обратно роют в землю,
Колосья золотые режут в прах!
Великий плач! Стой, палачи! — Не внемлют.
Хозяева, где стыд? Где Божий страх?

Ужасней нет такого окаянства,
Кощунства нет страшнее над землей:
Плоды земные, труд и пот крестьянства,
И Благодать — во прах! И пò миру с сумой...

Да что же это? Ни царя, ни Бога.
Так у кого в плену ослепшая страна?
К какому храму строится дорога
Из золотого русского зерна?

С нами Бог

Рождественская ночь божественно
жива!
Вся движется сиянием и снегом,
Возносятся нетленные слова,
Соединяют нашу землю с небом.

Душа общается с небесными детьми,
И детской беззащитностью лучится,
Но ничего худого не случится —
Рождественская ночь не знает тьмы.

И Слава в Вышних в ангелах
гремит!
И с нами Бог как в детстве
говорит!

✦✦✦

* * *

В одеждах черных скорбная бреду
Ко всенощной по улице мятежной,
Кругом народ в одежде зарубежной
Несет в котомках скудную еду.

В довольстве грубом новые дельцы
Благотворят обманутые массы
Копейкой медной с каждой взятой
кассы.
Мутна вода, где спрятаны концы.

Безжалостна, озлоблена толпа,
Привычно женщин походя толкают,
Привычно хамству молча потакают,
Привычно — ни улыбки, ни тепла...

Как улыбнуться встречным
я боюсь —
Не так поймут. Иду, как все,
покорно.
Скорблю одна в своей одежде
черной.
Глотая слезы, обо всех молюсь:

О, Господи! Прости и отогрей,
Созижди сердце в каждом человеке.
О, Господи! Не затвори дверей
В обитель доброты в сем страшном
веке,
Для века Твоего нас пожалей!

* * *

На экспорт наш дух для импорта праха.
Пленяет Диор, прельщает Карден.
Гляжу я, сама кружевница и пряха,
Обман это или обмен?

Да так ли бедны мы? Да много ли надо?
Есть хлеб, и здоровье, и ясность ума,
Есть церковь и дом, пред иконой лампада,
И свет не объяла кромешная тьма.

Но темная очередь слепо и глухо
Все тратит: и деньги, и время, и дух.
И ходит в манто от Диора р а з р у х а,
И девочки смотрят с восторгом на шлюх.

Сама Матерь Божия пряла и ткала,
И с пяльцами бабушки наши росли...
Да много ли надо? Все мало, все мало!
И в импорте с а м и на экспорт пошли.

* * *

— Где ты, краса круглоликая,
Светом и цветом
вся в Зорюшку-Мать?
Где ж ты, Россия Великая?
Где же тебя мне узреть и узнать?

— Здесь я! Ликом вся темная,
В пытках огнем опаленная,
Здесь я, страна огромная,
За красоту ослепленная.

Вот и оделась я нищею,
К детям бреду за милостью.
Может, не буду лишнею,
Даст Бог, соберуся с силою...

Вот и пришла я к старшему,
Невестка там не из наших мест —
И сыну, вельможей ставшему,
Мать не нужна. Позабыл, чье ест.

Вот и пришла я к среднему.
Добрый он. На добре и стоим.
Но в труде-кабале худо бедному!
Не смогла стеснять — теснота
самим.

Вот и пришла я к младшему,
Тот ум пропил! Ни двора, ни кола.
Непомнящему и пропащему
Последний кусок сама отдала.

Вот и пришла я к приемышу,
Помнит, кто его вырастил,

Богат, не откажет в помощи —
Не принял! «Сочувствие выразил».

К дочке пришла. Последний мой
свет.
Но нет ее. Не снесла она мук.
От всех ее слез и от всех ее бед
Остался мне некрещеный внук.

На руках с младенцем куда брести?
Помни скорбящих, Спаситель...
И меня прости! И дитя возрасти!
Возвращаюсь в святую обитель!

* * *

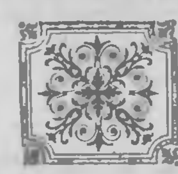
Последняя надежда — наше воинство,
В которое плюют со всех сторон,
Поносят подвиг и срамят достоинство,
Хоть летчик Руст был сверху приземлен,
Как и Калугин сверху подкреплен...

Но сверху ведь не свыше! Нашей Армии
Сносить ли молча и бессильно стыд? —
Пока последний меч не разбазарили,
Имея честь, поставьте верный щит.
Страна опять над пропастью стоит.

И кто заступится? Я плачу от позора
Не в тесноте, а в пустоте Собора,
Не в братстве — в рабстве! Воинство, внемли!
Не отдавай измученной земли.

* * *

Над жертвоприиошеньем черной
силе
Полынью черной демоны кадили,
И черный ужас плыл из Черной
Были,
Из черных ран сочилась б е л о й
кровь.
Седой ребенок нес грехи чужие,
Невинный, нес! И слезы лил
святые...
Род богомерзкий! Богу прекословь!
Иди вослед лукавым наважденьям,
Не верь Евангельским
предупрежденьям,
Измерь беду слепым
предубежденьем —
И к новым пыткам землю
приготовь!





ВЛАДИСЛАВ АРТЕМОВ



ВЕРЮ И ЛЮБЛЮ

* * *

Научи меня, дед,— как по-божески жить,
Как мне сад посадить, как мне деток растить,
Как из дома родимого в ночь уходить...

Научи, меня, дед,— как молчать и терпеть,
Только кровью блевать да зубами скрипеть,
Только стоном стонать, только хрипом хрипеть...

Научи меня, дед,— как от всех не отстать,
Как те сосны валить, как те шпалы пластать,
Как, спиною к метели, могилу копать...

Научи меня, дед,— как обиды сносить,
Низко голову гнуть да пощады просить,
Как вздохнуть перед смертью... Вздохнуть — и простить.

Ничему ты, мой дед, не научишь меня.
Срок твой вышел, ан нет — не отпустит земля.
Вот он близенько, свет, да могила темна.

Тёмно, тесно там, дед, да тебе-то — уют,
И в глаза не плюют, и ногами не бьют,
И во веки веков отоспаться дают.

АРТЕМОВ Владислав Владимирович родился в 1954 году в Белоруссии. Учился в университете на факультете журналистики. Работал на Челябинском тракторном заводе художником-оформителем. В 1981 году окончил Литературный институт им. Горького. Автор книги стихотворений «Светлый всадник». Живет в Москве.

Осень на родине

Здесь даже птицы гнезда побросали,
Здесь ветер дик, как тот терновый куст...
Провидя все, что завтра будет с нами,
Тебе одной в любви я поклянусь.

Живем лишь раз, дороги нет обратной,
И потому меня ты не жалей,
Что я останусь голью перекатной,
Но не расстанусь с родиной моей.

Останусь тут с кабацкой теребенью
Сносить хулу, насмешки и вранье,
Нет, ты не зря учила нас терпенью,
Поможет нам учение твое.

Увидишь ты, что верных тут не густо,
Но я с тобой, и значит — все стерплю,
Пусть все слова от страха разбегутся,
Двух слов мне хватит — «Верю» и «Люблю»!

Рыдают гуси над речной излукой,
Ложатся тучи на воду свинцом,
Последним светом, будто крестной мукой,
Искажено прекрасное лицо.

Прости за все, чему я был виною,
Но в светлый час, когда придет весна,
Восстанешь ты, оплаканная мною,
Вся осияна, преображена!

Еще сердца надеждой не иссякли,
Готовь нам, жизнь, пасхальное вино —
День при дверях... Но верует не всякий,
А только тот, которому дано.

Сторож и вихрь

Он там, должно быть, дрыхнет
за горой,
Поверишь ли, такою силой налит —
Где пробежит, там пыль три дня
стеной,
Где ляжет спать, там дерево
повалит.

Глаза засыплет... Ах, чтоб ты
ослеп,
Чуть зазевался — он
не проворонит,
Забор сломает, перетопчет хлеб,
А лопуха, поверишь ли, не тронет.

То громом ахнет... Ах, чтоб ты
оглох,
Вот я тебя, охальника, лопатой!..
Но не успеешь сосчитать до трех,
А он уж вон — хоронится за хатой.

Когда ж, к примеру, роща облетит,
А из-за леса холодом подует,
Тогда он тихо в дудку задудит —
Так за трубой весь день
и протоскует.

Вишь, завалился, спрятался
за клен,
Храпит подлец... А нас отлично
слышит...
На весь колхоз остались — я да он,
А больше здесь ничто уже
не дышит.

Гражданская война

Свои поля костьми засеет Русь,
И жать пойдет,
в потемках спотыкаясь...
За нас за всех я тихо помолюсь,
И если хватит духу, то — покаюсь.

У ненависти нету берегов,
И вброд не перейти нам поля
битвы,
Так тихо помолюсь я за врагов,
Что не расслышу слов своей
молитвы.

Ох, нанесло на наше небо тьмы,
Ни зги не видно ни сычам,
ни совам,
И мы забыли, как стояли мы
В одном ряду на поле Куликовом.

Когда гроза гнездо в ветвях
совьет,
Спасенья нет, горят они и вянут,
Меня мой брат, лежачего, добьет,
Прости его, Господь, он был
обманут.

Двух жизней нет, как нет и
двух Россий,
Имей ты жалость ко всему,
что дышит,
Ведь сказано однажды:
«Не убий!» —
И горе тем, кто это не расслышит.

В земле сырой смирится наша
плоть,
Но душам нашим плакать после
битвы:
«Обильна же страда Твоя, Господь,
Собрал Ты жита — не перемолоть,
Воистину — Россию возлюбил Ты!..»





ПРОЗА



АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ



БОЖИЙ ПРОМЫСЛ

РАССКАЗ

Как только мы вышли из аэропорта Ататюрк в Стамбуле и все собрались в автобусе, наш экскурсовод Шэри представилась и заговорила с заметным турецким акцентом:

— Я раздаю вам специально приготовленные для вас словарики, где вы найдете самые нужные слова, а после устройства в гостинице мы повезем вас на Крытый рынок.

В полученных листочках мы прочитали написанные по-русски турецкие слова: дорого, кожа, сумка, пиджак, пальто, брюки, блуза, юбка, узкий, широкий, длинный, размер, рост, цвет и все в этом духе. Стамбульский Крытый рынок — одно из чудес света. Перед поездкой я прочитал в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, что сто лет тому назад (в 1885 году) здесь было более трех тысяч магазинов и лавок. Теперь же это целый городской квартал, сверкающий с витрин золотом, пестрящий предметами одежды, пахнущий выделанной кожей и оглушающий многоязычием. Английский, французский, немецкий языки, арабский, чешский, болгарский, но чаще всего — польский. Мне показалось, что половина лавочек Крытого рынка, да и остального города, принадлежит полякам. То и дело с криком «коллега!» тебя хватают за рукав и, заглядывая в глаза, ласково просят зайти, чтобы только посмотреть. Ни в одной из стран света не видел такого ошеломляющего обилия и разнообразия товаров, но и нигде ко мне так бессовестно не приставали на каждом шагу со словами «ченч», «бизнес», «шахер-махер». Разве что в Каире. Очень быстро звереешь от этого. Так что на Крытый рынок во второй раз я уже не пошел, даром что

КУЗНЕЦОВ Александр Александрович. Родился в 1926 году в Москве. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Московского Государственного университета, мастер спорта СССР по альпинизму, член Союза писателей СССР. Автор 26 книг, в том числе монографий о птицах СССР и мира, об орденах и медалях России, книг об альпинизме, сборников повестей и рассказов.

на это занятие отводились по программе каждые полдня, а то и целые дни.

Мне хотелось найти потомков русских людей, эвакуировавшихся из Крыма с П. Н. Врангелем. А как их найти в городе с семимиллионным населением? Только через русскую православную церковь.

Наша милая Шэри не знала, где находится русская православная церковь. Тогда я позвонил в советское посольство, и мне сказали, что она где-то в Каракее, по ту сторону Золотого Рога. Надо перейти залив по Галатскому мосту. Галату я представлял себе как район Стамбула, где находится городской порт с глубокой гаванью, удобной для торгового, пассажирского и даже военного флота. По фильму «Бег» помнились кривые и узенькие, поднимающиеся круто в гору улочки — не разъехаться двум экипажам,— и шумная торговля под открытым небом. И я отправился искать Галату.

Одному, да еще без знания языка, идти не хотелось, и я позвал Сашу, моего друга, знающего английский. Немецкий, на котором я с трудом объясняюсь, здесь не в ходу. Саша был выбран еще и потому, что, когда мы купались в Ниле, я видел на нем крест. Позже мы выяснили, что оба крещены в церкви Рождества Христова, что в Измайлове. Хотелось еще позвать Костю, нашего единомышленника, но мы его не нашли.

Пройдя через весь город, мы вышли к Галатскому мосту. Середина его разводится на ночь, а днем на нем стоят рыбаки с удочками. Под мостом по его краям издавна существуют небольшие заведеньица, где пойманную с моста рыбку жарят и едят.

Все хоть сколько-нибудь понимающие по-английски рыболовы были опрошены, но никто из них не знал, где — в Галате или в Каракее — находится русская православная церковь.

— Я живу здесь всю жизнь,— уверял нас интеллигентного вида рыбак с дорогим удилищем,— и не слышал, чтобы по эту сторону Золотого Рога была русская церковь.

Но я-то знал, что она есть. И даже три — Свято-Андреевский скит, Ильинская и Пантелеймоновская. Это храмы подворий Русской православной церкви в Турции, где останавливались российские люди, направляющиеся на Афон или в Иерусалим ко Гробу Господню. Вокруг них и собирались эмигранты первой волны, осевшие в Стамбуле. Очень мне хотелось их разыскать, тем более что жила во мне уже боль и обида за то, что, будучи три дня назад в Галлиполи, я не смог поклониться еще одному святому для русского человека месту — Галлиполийскому памятнику.

По пути в Трою мы должны были переплыть на пароме Дарданеллы и попасть на азиатской стороне Турции в город Чанаккале. Перед этим мы долго ехали вдоль побережья Мраморного моря по длинному и узкому Галлиполийскому полуострову, а когда въехали в городок с европейской стороны, то я не без удивления прочитал: «Gallіbolі». Вместо «П» — «Б». Не Галлиполи, а Галлиболи. Бросившись за разъяснениями к нашей Шэри, я ничего не добился: она не слышала о лагере генерала А. П. Кутепова. Бессмысленно было просить сделать тут остановку, чтобы поискать памятник, это не входило в программу. Если бы здесь стоял Крытый рынок, я бы еще часок-другой ухватил, но его не было, а большинству наполнявших наш автобус писателей название «Галлиполи» ничего не говорило, как и нашей турчанке.

Когда Русская армия П. Н. Врангеля вместе с гражданскими беженцами (всего 135 тысяч человек) прибыла в Стамбул, который они упорно называли Константинополем, их надо было где-то и как-то разместить. Казачьи полки французское командование решило отправить сначала в Чаталджу и на остров Лемнос, а корпус под командованием А. П. Кутепова высадился в Галлиполи. В него входили: пехотная дивизия (Корниловский ударный, Марковский пехотный, сводно-стрелковый генерала Дроздовского и Алексеевский пехотные полки со своими конным и артиллерийскими дивизионами, тяжелая артиллерия и бронепоезда) и кавалерийская дивизия из четырех полков с конно-артиллерийским дивизионом и техническим полком (авиация, саперы, связисты). И вот вся эта армия А. П. Кутепова сошла с кораблей в маленьком разрушенном то ли городке, то ли в деревне Галлиполи. Тогда Александр Павлович Кутепов нашел в 6—8 верстах от городка покрытое жидкой грязью поле и обосновал на нем лагерь. Он так сумел мобилизовать морально убитых, измученных и голодных людей, вселить в них надежду на победоносное возвращение, что армия возродилась и преобразилась.

Их хотели поселить за колючей проволокой — не вышло. Французы требовали сдать оружие, в ответ услышали, что только после боя, если он будет проигран. В одном из докладов Главному комитету писалось: «Совершилось Русское национальное чудо, поразившее всех без исключения, особенно иностранцев, заразившее непричастных к этому чуду и, что особенно трогательно, иесознаваемое теми, кто его творил.

Разрозненные, измученные духовно и физически, изнуренные остатки армии генерала Врангеля, отступившие в море и выброшенные зимой на пустынный берег разбитого городка, в несколько месяцев создали, при неблагоприятных условиях, крепкий центр Русской государственности на чужбине, блестяще дисциплинированную и одухотворенную армию, где солдаты и офицеры спали, работали и ели рядом, буквально из одного котла,— армию, отказавшуюся от личных интересов, нечто вроде нищенствующего рыцарского ордена, только в русском масштабе, величину, которая своим духом притягивала к себе всех, кто любит Россию».

А 16 июля 1921 года в торжественной обстановке был открыт галлиполийский памятник. Каждый, вне зависимости от чина и положения, принес на это место камень, который ему под силу было поднять, и из 24 000 камней сложился курган, на нем установили, как на шапке Мономаха, мраморный равноконечный крест. На переднем фасе — Русский государственный герб, двуглавый орел, а под ним на мраморной доске надпись на русском, французском, турецком и греческом языках: «Упокой, Господи, души усопших. — 1-й корпус Русской армии своим братьям-воинам, в борьбе за честь родины нашедшим вечный покой...»

Всего этого мы не увидели. Были рядом и не поклонились памяти русских воинов. А два года назад в Турции торжественно праздновалось семидесятилетие победы при защите Босфора и Дарданелл. Приезжали французы, англичане, немцы, присутствовала даже госпожа Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Установлены памятники на берегах того и другого проливов. А тут русские люди проезжают мимо своей святыни и не могут остановиться. Была шальная мысль: возьму сейчас и пойду искать памятник. Не уедут без меня. А уедут, так и черт с ними! Но можно представить себе, что бы за этим последовало... Я смотрел в бинокль, разглядывая с отплывшего парома галлиполийский берег. Мне показалось, что я увидел купол православного храма, луковку с крестом, но это оказалось маяком. Я не знал еще тогда, что галлиполийский памятник разрушен.

И вот теперь мы с Сашей не можем найти русскую православную церковь в Галате и Каракее, районах Стамбула. У кого ни спрашиваем, никто не знает.

— Вон, Саша, люди в кожаных куртках, солидные люди, они должны знать английский. Спроси! — уже без особых надежд говорю я ему.

Подходим, спрашиваем. Отвечают по-английски, что не знают. И тут один из них спрашивает по-русски: «Чего им надо?» Ба! Откуда? Моряки. Приятная, конечно, встреча, но настроение — хуже некуда.

Пора возвращаться в гостиницу к ужину. Но мы все поднимаемся и поднимаемся по крутым улочкам, ищем, спрашиваем и окончательно теряем надежду на успех.

И вдруг!.. О это «и вдруг»! Вдруг слышу за спиной женский голос: «А зачем вам православная церковь?» Оборачиваюсь, стоит небольшого роста, полная и седая женщина, а возле нее молодой человек с девушкой.

— Вы... вы откуда? Из какого города? Вы знаете, где церковь?

Хорошо так улыбаясь, женщина говорит:

— Мы здешние, стамбульские. Мы здесь живем.

— Советские, посольские?

— Нет, зачем,— смеется парень,— мы турецкие.

— Услышали, что вы ищете русскую церковь, а мой муж, Николай Николаевич Усов, — староста этой церкви, — объяснила женщина.

Мы с Сашей потеряли дар речи.

— А это мой сын, тоже Николай Николаевич,— продолжала наша новая знакомая,— а это его невеста Эмма, она из России, из поволжских немцев. В субботу они как раз будут венчаться в нашей церкви, приходите на свадьбу. Мы сейчас ходим по магазинам, ищем хорошие конфеты. У нас принято одарять гостей конфетами на свадьбе.

— В субботу нас уже не будет, мы уезжаем,— пришел я в себя от удивления,— а сегодня нам нельзя попасть в церковь?

— Николай Николаевич сейчас ушел, но когда вернется домой, он вас сведет,— отвечала жена старосты.

— А это у вас что такое?! — еще больше удивляется Саша.— Смотрите, это же фотография из «Литературной России»!

И точно. В руках Николая турецкая газета с фотографией, на которой изображена одна из сцен возле храма Вознесения, что у Никитских ворот. Во время его освящения в толпе несли портрет Николая II. Саша показывал мне эту фотографию в газете в тот день, когда мы сдавали деньги на поездку, за три дня до вылета в Каир.

— Вот, смотрите,— показывает он Усовым,— это я.

Наверное, нас больше поразило такое удивительное совпадение, чем их. Они все по очереди посмотрели фотографию и ничего не сказали по этому поводу. Хозяйка же пригласила нас в гости, и мы все тут же пошли к ним по лабиринту узеньких улочек.

Пока Ольга Викентьевна (так звали Усову-мать) вместе с Эммой готовили ужин и накрывали на стол, Николай Николаевич-младший показывал нам старые фотографии и документы. Его дед, отец Николая Николаевича-старшего, окончил Военно-медицинскую академию в 1917 году в Петербурге и служил доктором в казачьем полку. Гражданская война, Крым, эвакуация, эмиграция. Сохранились фотографии и некоторые документы семьи прадеда, свидетельства конца прошлого века. Он тоже был русским офицером и служил в гарнизоне Карса. А Николай Николаевич Муравьев-Карский — мой двоюродный прапрадед. Удивительные лица на фотографиях. Благородство, достоинство, доброжелательность. Спокойные, несуетливые люди. Я почувствовал какое-то родство с ними, будто я рассматриваю наш семейный альбом.

Но тут пришли гости. Ольга Викентьевна позвонила по телефону и пригласила на ужин еще двух русских — Ивана Терентьевича и его сына Валентина. Зубной врач Иван Терентьевич одних лет с нашими хозяевами, а Валентин чуть постарше Николая и Эммы, ему около тридцати. Вскоре пришел и Николай Николаевич-старший, в чем-то очень похожий на свою жену, тоже небольшого роста, полный, с седым ежиком на голове.

Сели за стол. Нам хотелось узнать, как они живут, а им понять, что происходит в России. Москву по телевидению здесь не принимают, о наших делах узнают только из телевизионных новостей и газет, которым не очень-то доверяют. Наших газет и журналов они не получают. Мне казалось, мы лучше понимаем их жизнь, чем они нашу, а им, наверное, наоборот. Убеленный сединами и одетый в хороший костюм с галстуком, Иван Терентьевич спрашивает:

— Если крестьянам дают землю, то почему же они ее не берут и все еще существуют колхозы?

Как ни объясняем, не понимают.

— Но ведь закон уже есть? — спрашивает доктор.

— Закон-то есть, да что толку...— тянет Саша.

— Раз закон есть, то в чем же дело?

— Земля навечно закреплена за колхозами и совхозами, кто захочет ее отдавать? — поясняет Саша.— Какой директор совхоза? Если он раздаст землю, то сам никому не будет нужен. А он пока хозяин.

— Да и того крестьянина, что был до революции, давно уже нет,— прихожу я на помощь Саше.— Крестьянина вообще у нас нет, есть наемный сельскохозяйственный рабочий. Он задавлен нищетой, ни во что не верит и давно уже разучился трудиться. Зарплата гарантированная, работай не работай — все равно получишь свои гроши. Уже три поколения не трудятся на себя, а все на дядю. Были годы, когда ничего не получали за свой труд, за палочки работали.

— Ничего не понимаю,— мотает головой хозяин дома,— какой дядя, какие палочки...

Саше приходится объяснять, что такое палочки.

— Семьдесят лет работали ради светлого коммунистического будущего,— продолжаю я,— которое не наступило и никогда не наступит.

Иван Терентьевич заступается за коммунизм: гуманная и великая идея. Жизнь при капитализме трудна и бездуховна, нет идеала. Остаются только семья и Бог. Все остальное — работа ради денег.

— Ну вот видите, а тут ни Бога, ни работы ради денег,— вставляю я.

— Ладно, пусть так,— настаивает Иван Терентьевич,— но на себя-то люди станут работать.

— И на себя уже не хотят. Изменилась психология. Сдвиг по социализму. Как вам объяснить? Вот такой пример, — вспоминаю я. — Недавно я был в городе Ростове-Великом, там у меня старые друзья художники по финифти. Пришел на фабрику «Ростовская финифть». Сидит художник Саша Хаунов и расписывает заготовку величиною с ладонь. Я его спрашиваю, сколько будет стоить его работа. «Двести двадцать рублей». — «Сколько ты получишь за нее?» — «Двадцать». Тогда я говорю: «Ребята, что вы здесь сидите?! Вы члены Союза художников. Идите домой. Делайте то же самое дома. И будете получать двести рублей, а двадцать рублей платить налога». И что, вы думаете, они мне ответили? Они сказали: «Понимаешь, неудобно перед коллективом. Мы здесь по 20—25 лет работаем. Нам квартиры дали. Как мы оставим фабрику? Это наш родной дом».

— Каков приход в вашей церкви? — стараюсь я перевести разговор на другую тему.

— Небольшой, — отвечает Николай Николаевич-старший, — но мы отслуживаем все службы, в субботу батюшка служит вечерню, в воскресенье — литургию. И все праздники, которые положены по церковному календарю, тоже служатся. Батюшка у нас болгарин, русского нет, а храм у нас святого апостола Андрея Первозванного. Престольный праздник по-старому 1-го, по-новому — 13 декабря. Мы даем к этим дням в греческие газеты знать, что у нас праздник, приглашаем патриарха вселенского. Если сам не может приехать, то кого-нибудь присылает.

— Патриарх находится в Стамбуле? — Мы и этого не знаем.

— Патриарх Дмитрий здесь. На вашей стороне Золотого Рога, где вы сейчас стоите. Его патриаршая церковь святого Георгия. Там

три урны, то есть три гробницы святых, и потом там его патриаршие хоромы.

— Сколько же всего у него православных храмов?

— Храмов много. Греческих храмов очень много здесь. Как ни странно, все эти храмы теперь реставрируются. Раньше не имели права гвоздика забить, мол, пускай заглухают, пускай рушатся, а теперь турки хотят прийти в соглашение с Европой и войти в европейский круг, поэтому стараются делать христианам всякие поблажки. Разрешили патриархии строить патриаршее здание, которое сорок пять лет тому назад было сожжено, сгорело, и они не давали разрешения на восстановление. Теперь дали. Два года, как окончилось строительство, и было открытие. Здание сверху крыто, как старинные русские дома, деревянной облицовкой. (Я думаю, Усов имел в виду дранку или лемех, но он не всегда находил нужное слово.)

— Значит, греческих церквей много, а русская православная одна?

— Русских православных три церкви: святого апостола Андрея Первозванного, святого Пантелеймона тоже наша и пророка Ильи. Храм пророка Ильи закрыт, поскольку там тридцать лет нет священника. За зданием мы смотрим. В церкви святого Пантелеймона мы служим два раза в год: в престольный праздник и на первый день пасхалий. Так что она всегда открыта. Если с Афона приезжают монахи, то у них там есть свои комнаты монастырские, целый этаж подворья. Они там остаются, у них и вода и кухня, все есть, они там и живут, пока здесь. Наши церкви принадлежат Афону. Но так как Афон — греческое имущество, то даже непосредственные домохозяева нашего подворья — греки.

— Как так? — недоумевает Саша.

— А вот так. Сами подворья и скиты вроде бы русские, но имущество... Даже Андреевский скит перешел к грекам. Каким образом? Монахи наши в свое время повымирали, и потом русские долго думали, к кому присоединиться: к Московскому патриарху или же к Константинопольскому. Они все равно ведь принадлежат Нью-Йорку. Пока думали-гадали, никого не осталось. Когда последний монах вымер, греки наложили замок и закрыли скит. Все, что было ценного — библиотеку, все иконы, — вывезли. Но теперь, кажется, будет возрождение. Недавно был архиепископ Лавр из Нью-Йорка, он говорил: если греки будут требовать деньги за подворье, не давайте. Мы сейчас 75 процентов денег, которые от жильцов дома собираем, отдаем грекам, а 25 процентов остаются на наши расходы. Этим только храм и живет. Видно, опять со временем хотят открыть у нас монастырь и подворье для богомольцев. Говорят, и из России они пойдут.

— Но сколько же все-таки человек у вас в приходе? — На мой вопрос он так и не ответил.

— По большим праздникам собирается человек 60—70. Это с гостями, с греками.

— А на обычной службе?

— Человек десять наберется. Все приходят. Больше у нас русских нет.

— Десять русских православных людей на весь Стамбул? — изумляется Саша.— На семь миллионов жителей?!

— Больше нету.

— И среди этих семи миллионов мы совершенно случайно встречаем троих из них?! — поражаюсь я.

— Промысл Божий.

— Почему же так мало?! Я читал, что в Стамбуле в 1885 году турок-мусульман было меньше, чем христиан — греков, армян, болгар, различных протестантов и католиков,— говорю я после паузы.

— В восемьдесят третьем году был греческий погром, последние русские уехали. А в свое время у нас хор церковный был из 52 человек, и все три храма битком набиты. Внизу ждали, чтобы подняться по лестнице и приложиться. Дирижировал знаменитый Масленников.

— Это в какое время?

— Примерно лет тридцать тому назад. Русских много было... Кто приехал с революции, кто после нее эвакуировался. Потом молодые разъехались, старики перемерли. Из новых никто не приезжал. После великой войны никого не было. Нет. Если кто и приезжал, то считал, что лучше жить в христианской стране, чем здесь. Но русские всегда друг другу помогали. И раньше, и потом.

Был у меня еще один заготовленный вопрос:

— А где хоронили русских?

— У нас есть греческое кладбище, и там как бы свое место. Для русских. Своя часовня маленькая. Однако мой папа, скажем, похоронен на болгарском кладбище. Там русских не принимали, потому что у них у самих мало места, но так как папа мой был церковным человеком, то его приняли. Там наша семейная могила. Сейчас русских мало, совсем нет. Когда мне было лет 20—25, мы нанимали катер и со всеми закусками, с бочонком пива по островам ездили, кутили. Но вся эта молодежь повыезжала. Никого не осталось.

Николай Николаевич говорил об этом без особой грусти, спокойно, как человек, следующий предначертаниям судьбы, согласный с ней и не желающий ничего изменять.

— Кто в Европу уехал, кто в Америку, кто в Канаду, даже в Австралию. Моя сестра с мужем, оба врачи, уехали и обосновались в США.

— Вот почему я скоро поеду в Россию,— заговорил молчавший до сих пор Валентин. Он хоть и молод, лет тридцати, наверное, не больше, но уже глава фирмы «EMIKON», производящей электронные аппараты.— Поеду жениться на русской девушке. У нас в Стамбуле ни одной русской девушки не осталось.

Мы с Сашей оживились:

— О, это у нас запросто!

— Приедете, сразу позвоните, мы вам подыщем.

— Не в Москве,— улыбается Валентин.— Я буду искать невесту на Дону, среди казачек.

Оказалось, никто из наших знакомых в России не был. Эмма с родителями давно уже перебралась в ФРГ, где и познакомилась с Колей. После свадьбы они уезжают жить в Мюнхен.

— Это ведь только теперь мы можем с вами вот так сидеть и разговаривать,— говорит Ольга Викентьевна, подливая нам чаю.— Года два назад мы бы никогда не подошли к вам.

Наговорившись досыта, где-то уже в двенадцатом часу ночи поехали в церковь. Кривые улочки так круты, что нужно все время нажимать на тормоз. Но для Валентина эти спуски привычны. Уверенно покрутив баранку своего «мерседеса», он останавливает машину в проулке у высокого жилого дома.

Выйдя из машины, я оглядываюсь, но не вижу никакой церкви. Ни купола, ни луковки, ни креста. Начинаем подниматься по лестнице построенного, видимо, в прошлом веке дома. Второй этаж, третий, четвертый, пятый... Николай Николаевич останавливается отдышаться. Он хоть и родился уже в Стамбуле, но все ж идет шестьдесят четвертый годок. Чугунное литье лестничной ограды, дубовые перила, широкие пролеты лестницы, площадка — шестой этаж. Налево резная деревянная дверь с крестами на створках, возле нее доска с расписанием служб, прокатанный на ксероксе листок с молитвой и листок со стихами под названием «Святое Евангелие». Молитву я позже прочитал, она пришлась мне по душе. Особенно последняя фраза: «...научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть и любить».

Стихи на целую страницу, приведу только первое четверостишие:

Когда тебя коснется искушенье
И овладеть тобой готово зло,
Иди тогда, спеши в уединенье
И перед образом склони свое чело...

Николай Николаевич открывает ключом таинственную дверь, мы крестимся вслед за ним и входим в большой храм. Он с куполом, с цилиндрическими сводами, с иконостасом и царскими вратами, с обширным алтарем и клиросом. Купол, своды, стены в росписях, множество икон. Прикладываемся, как и церковный староста, к иконе на аналое, затем я покупаю у Николая Николаевича свечку и ставлю перед образом Божьей Матери. Саша свой единственный доллар опускает в ящик с надписью: «На содержание храма». Усов и Валентин предусмотрительно оставляют нас одних, и мы молимся как умеем, разойдясь в разные стороны — я у аналоя, Саша за клиросом.

Хозяева возвращаются, открывается дверь, что напротив царских врат, и мы выходим на окружающий храм балкон-гульбище. Отсюда, с высоты шестого этажа, видны огни города, отражающиеся в воде Золотого Рога, море света на том берегу. Внизу, на земле, виден купол Пантелеймоновской церкви, креста и луковки храма пророка Ильи не видать. Обе эти церкви стоят в окружении высоких домов. Не мудрено, что жители района Каракей их не видят, они скрыты от взора со всех сторон. Также не заметишь с земли, с улицы, на крыше шестиэтажного дома храма святого апостола Андрея Первозванного. Слышать звона колоколов этого храма жители Стамбула также не могли: колокола висят на лестнице шестого этажа. Только недавно во время звона стали открывать двери и окна на этой лестнице — после греческих погромов звонить в колокола было опасно. Раньше, видимо, колокола висели на окружающем храм гульбище.

Церковь Андрея Первозванного на крыше шестиэтажного дома — не случайное убежище русских православных людей. Она так и была задумана, так и строилась, как домовая церковь-подворье. Дом заселен сейчас уже не монахами, а случайными жильцами и бедными, бездомными. Тут же располагается Комитет помощи бедным, основанный еще врангелевцами.

— Хочу сделать вам маленький подарок,— сказал Николай Николаевич и повел нас на клирос. Там он подошел к одной из стен и открыл ее, как дверцу большого шкафа. На стене и на обратной стороне двери стояли иконы.— Возьмите себе что хотите, что по душе.

Саша оробел:

— Как? Мы... нам! Как можно!..

— Берите, берите, пожалуйста, это наш подарок.

Мне тоже стало неловко, но я ободрил своего молодого друга:

— Выбирайте, Саша, раз подарок. Это ведь от души.

Он взял себе образ святого великомученика и победоносца Георгия, а я — преподобной Марии Египетской. Об этой святой Саша как раз рассказывал мне в Фивах неделю назад. Все как-то странно совпадало в этот вечер. Чудесная встреча с Усовыми и фотография Саши в турецкой газете; преподобная Мария Египетская, прожившая 47 лет в покаянии в пустыне, и мы с Сашей, только что побывавшие в пустыне Сахаре; предки Усовых в Карсе и Муравьев-Карский... И вот это — возвращение русских икон на Родину. Мы только и слышим о вывозе русских икон за границу и таможенных задержаниях, а тут — на̀ тебе пожалуйста — возвращение.

Пока я еще не могу поверить в чудо, не готов. Сознание мое ломается, преображается с трудом. Вот и идея провидения, свойственная не только христианам, но и всем религиям,— от античных представлений о судьбе, роке, фатуме до современных ислама или буддизма с их предначертанностью будущего, — эта идея не принимается пока моей душой. Но тогда что же означает этот вечер в Стамбуле?..



ВИКТОР ПОСОШКОВ



СКРОМНЫЙ ГОНОРАР ЗА ВИД С КРЫШИ

РАССКАЗ

Пришло, слава Тебе, время летописцев! Тысячи кропотливых людей, склонив гранитные лбы, шебуршат бумагой, нанося на нее самые заметные и наиболее выдающиеся события нашей эпохи. Каждый мало-мальски вредный элемент взят на гусиное перо. Святым уже уготована ниша в бесконечной пещере Вечности. Никто из великих не забыт и ничто из великого не забыто. Таков порядок вещей.

А мне почему-то хочется, чтобы свет общественного внимания упал и на Эдика Усова, личность ничем не примечательную, рядовую, можно сказать, живущую в стороне от столбовой дороги Истории, но тем не менее подверженную всем ее извивам и поворотам. Бесполезно спорить, достоин он или нет подобной почести, проще рассказать без прикрас все, что о нем известно, избавившись от ненужных эмоций и не давая никаких авансов на глубокие теоретические выводы, могущие вытечь из недр текста. В конце концов автор стоит на тех позициях, что тот, кому надо, сам великолепно во всем разберется. Как отвечал один его (автора) знакомый, сопалатник по больничным мытарствам (хохол, кстати), когда его спрашивали, дает ли он, наконец, согласие на операцию: «Дурных нема».

На этой оптимистической ноте закончим вступление и перейдем к сути.

ПОСОШКОВ Виктор Иванович родился в 1952 году в Москве, по образованию инженер-физик. Автор книг «Неподвижная точка», «Вадхызский марафон», «Знак внимания», «Супер», выходивших в различных столичных издательствах. Член СП СССР.

Эдуард Усов, молодой человек с притушенным чувством социально-бытовой неустроенности, жил, а точнее — существовал, в старом районе Москвы, который издревле назывался Стромынкой. Его дом располагался в самой непосредственной близости от тюрьмы с ласковым именем «Матросская тишина» и психушки, носившей точно такое же прозвище. Ребенком Эдик бегал с пацанами смотреть на психов и зеков, и в этом увлекательно-зрелищном развлечении детство прошло так скоротечно, что не успел он оглянуться, как закончил школу, а потом, как и всякий немудрящий юноша, — технический вуз, получил диплом инженера и зарплату в сто двадцать рублей, на которую мог сходить два-три раза в ресторан, после чего с полным основанием клянчить деньги у родителей до следующей получки. Вот такое у него было развеселое житье-бытье вплоть до женитьбы.

Женился он по недоразумению, но о содеянном не шибко жалел. Правда, когда жена за первым пацаном родила второго, а затем еще и девочку, он возмутился: «Кроликов разводить — и то советуются, а ты?! Чего это без спросу себе позволяешь?..»

Родители поддерживали молодых из последних сил. Однако время берет свое — оба стали немощными, хворыми, бесполезными, оба сели на шею собесу, а посему сбросили со своей сына и его многодетное семейство, печалились этим и, чтобы не быть обузой, завели себе отдельный холодильник, из которого Эдикова жена поворовывала маргарин и творог — словом, то, чего нельзя пересчитать количественно, хотя однажды покусилась сдуру и на яйца тоже, что привело к маленькой междоусобице, закончившейся, слава Богу, без рукоприкладства.

Погавшись за деньгой, Эдик перешел на работу в так называемый «почтовый ящик», то есть учреждение, имеющее своим адресом лишь номер почтового ящика, который даже не всем работающим положено было знать. Там он окончательно потух и потерял энтузиазм. Главным делом для него стало — прийти вовремя на работу, сдать листок учета времени табельщице и пробыть на территории до семнадцати сорока пяти. Изредка заведующий лабораторией поручал ему кое-что, и тогда Усов это кое-что кое-как делал, но поскольку все это чрезвычайно секретно, об этом лучше не распространяться.

Самые ловкие заводили дружбу с охранниками, следившими за входом-выходом. За известную сумму денег ловкачи ставили себе в пропуск штампик, пятиконечную звездочку — символ свободного прохождения через турникет в любое время, и тогда, отметившись утром, они убегали в город и проводили день либо в безумной погоне за товарами повышенного спроса, либо в неоригинальных развлечениях телесного характера, а потом усталые, но довольные являлись на вечернюю поверку, заключающуюся в том, чтобы собственноручно сдать пропуск на ночное хранение, ибо, если в ячейке обнаруживалась вдруг зияющая пустота, неприятности были гарантированы.

Впрочем, рано или поздно эти фиктивные звездочки засекались, и их обладатели с позором и клеймом неблагонадежности навеки изгонялись из организации, поэтому — а отчасти еще и потому, что в городе Эдику абсолютно нечем было заняться, — Усов, отвергнув бесчестную сделку с охранниками, предпочел добровольную отсидку в отведенных ему судьбой чертогах.

Конечно, он не был удовлетворен своим положением прикованного к секретной галере раба, но что было делать, если с его плебейским образованием инженера лучшего (в смысле зарплаты) не найти? Он терпел. Симулировал заинтересованность всеми происходящими в коллективе процессами. Органично вливался и безымянным винтиком крепил обороноспособность страны. Незаметно старел, но не мудрел. Бросал курить и, не выдержав срока, вновь начинал травить себя никотином. Ничего крупного в жизни не происходило, дети росли, жена становилась сварливее, родители — дряхлее, менялись генсеки и вместе с ними лозунги и призывы, Союз преображался на глазах, но Эдик, однажды потерявший веру в гражданский ренессанс, по-прежнему был сторонним наблюдателем перемен, едва-едва успевающим за почти непредсказуемым ходом событий.

А события развивались по ту сторону забора и номерного учреждения икс дробь игрек почти не касались. И наоборот — то, что происходило в пределах «почтового ящика», оказывало пренебрежимо малое влияние на внешний мир. Таким образом, обоюдная замкнутость двух миров порождала взаимное непонимание людей, обитающих там, что и приводило порой к щекотливым, с оттенком смешного, недоразумениям и всяческим безрассудствам, возникающим на почве соприкосновения этих двух разделенных субстанций.

Так случилось и в день празднования Левкой Бауловым, старшим лаборантом, своего рождения. Под пиджаком, за ремнем брюк именинник ухитрился пронести на территорию шесть бутылок водки, что, конечно, немало, но для оравы в пять хорошо пьющих мужиков и восемь не менее пьющих дородных баб. что слону дробина. Естественно, разгоряченные и далеко не удовлетворенные коллеги едва дождались конца рабочего дня, а выйдя с территории, настропалились продолжать начатое. По дороге в шашлычную потерялись четверо («Дезертировали», — сказал Баулов). Осталось девять. Среди них Эдик Усов. Раньше он тоже имел обыкновение «теряться», но в конце концов уяснил, что это ничего не дает, кроме отчуждения коллектива, а это в конечном счете означает, что в случае чего за тебя не встанут горой, не защитят, не вызволят из лап администрации, которая только и ищет, кого бы сцапать, над кем бы поизмываться. Поэтому Эдик был строго внутри коллектива. Куда все, туда и он. А поскольку в шашлычной была складчина, он скрепя сердце внес в общий котел последние семь рублей.

. И снова пили за здоровье именинника, рвали зубами непрожаренный шашлык, обливались соусом, глазели друг на друга, не вполне понимая, зачем они вместе, что их всех объединяет, кроме застолья и отсутствия будущего, и беспричинный идиотический смех старшего инженера Лемзакова вкупе со слезами кем-то обиженной дурнушки Ясинской воспринимались Эдиком как знаки неясной беды, которая неминуемо нависла над ними. «А ведь жизнь-то проходит», — подумалось вдруг ему ни с того ни с сего. От этой мысли Эдику стало тесно, душно, он принялся с силой освобождать себе место, но не смог, зажатый со всех сторон коллегами, он задыхался и тоже чуть было не заплакал — хорошо, кто-то предложил пойти покурить, и все как по приказу встали из-за стола и гурьбой перешли в курительную.

Эдик остался. «Нет ничего проще, чем бездумно повторять за другими их действия», — сказал он себе. Он был в тоске. Ему хотелось перечить. Бунтовать против коллектива. Может быть, даже глумиться над ним — и если он, когда коллеги вернулись, отказался от этого, то из опасения, что могут побить: здоровый, как бык, Кустиков свирепо рыскал по залу красными, налитыми кровью глазами. Он мог свалить одним ударом кулака, и сейчас, на взводе, ему ничего не стоило ответить на Эдиковы колкости элементарным физическим превосходством.

— Закажем еще? — предложил кто-то.

— Обязательно!

— Я пустой, — сказал, хлопнув себя по карману, Эдик и пошел курить. Он услышал, как Лемзаков обозвал его жмотом, Ясинская заступилась:

— Может, у него и вправду нет денег? Может, он жене все отдает?

А Левка Баулов с гусарской лихостью взялся внести за него долю.

От злости на себя и своих товарищей его трясло. Будто они не знают, что у него трое детей! Да, он отдает жене всю зарплату, ну и что? Он же не напрашивается, не хотят поить его в долг, пусть, он уйдет, он не гордый... В жизни каждого, пожалуй, бывает такая пора, что сам себе кажешься противен, а если в этот период еще и приятели ведут себя не надлежащим образом, совсем дело дрянь. Дали бы сейчас в руки Эдику пистолет, он бы точно застрелился. Но судьба была к нему благосклонна и вместо оружия подкинула двух смешных девиц, тоже подшофе и тоже с сигаретами в зубах. Они стояли рядом и стряхивали пепел в ту же лохань, что и Эдик.

Одна девица тощая, как швабра, а другая наоборот — пухленькая, розовощекая, игривая. Тощая, видимо, продолжая начатый ранее спор, сказала:

— Уж не знаю, кому нравятся эти толстые коровы! Ни виду, ни грации...

— Тощая корова тоже далеко не лань, — невозмутимо ответила пухленькая.

Эдик не выдержал, засмеялся. Понравился ему такой ответ. А девицы, найдя его смех приглашением к знакомству, с дерзкой беспардонностью развернулись к Эдику лицом и подключили к своему разговору. Не желая никого обидеть и чувствуя себя в шкуре Париса, Эдик лавировал меж двух огней, как опытный боевой корабль, сражающийся с двумя противниками. Оставшись непотопленным, он выиграл бой. Тощую звали Люсей, ее подружку — Вероникой. Без чванства, они прямо заявили Эдику, что намерены продолжить вечер у Люськи, захватив по дороге ее друга (дав, таким образом, понять, что Эдику разрешается поухаживать за Вероникой), поэтому, если он хочет, они готовы присоединить его к своему небольшому коллективу.

— Но я не готов, — мрачнея, сказал он и выразительно потер палец о палец, что на языке жестов означало отсутствие денег.

— Ерунда, — успокоила Люська, — у моего хахаля бабок навалом! Поедем! Ты нормальный мужик, нам с Вероникой такие нравятся.

Не то чтобы она польстила Эдику этой фразой, просто ему захотелось щелкнуть коллег по носу, доказать, что он не лыком шит, хоть и не такой богатый, как некоторые. И он согласился.

Вложив, сколько сумел, злорадного торжества, Эдик распрощался с товарищами по работе, сказал, что у него поменялись планы. Девиц он показывать не стал, чтобы мужики не засмеяли, но намекнул, что уходит не один. Известие произвело на коллектив неизгладимое впечатление, только Лемзаков попытался воткнуть шпильку:

— Так ты же гол как сокол! — но, услышав в ответ: «Любовь не купишь!» — присмирел и стал нашептывать что-то вкрадчиво на ухо Ясинской, которая заметно расстроилась.

«Почему меня дурнушки так любят? — размышлял Эдик, выходя из шашлычной с двумя девицами под руки и осознавая, что и нынешние дамы тоже не первый сорт. — Что они находят во мне?»

Вопрос этот не имел сколько-нибудь разумного объяснения, и Эдик удовлетворился постановкой задачи, решив, что ответ когда-нибудь придет сам собой.

Садясь в такси, он подумал, что решился на это авантюрное продолжение скорее из желания досадить осточертевшим коллегам, чем из тяги к рискованным ситуациям. Как бы то ни было, а отступать поздно. И, травя анекдот за анекдотом, Эдик боялся себе сознаться, что отчаянно трусит — кто его знает, чем закончится это приключение? Одно успокаивало — денег при себе нет, так что отпадала добрая половина поводов к тому, чтобы сделать с ним что-то нехорошее.

Опасения окончательно рассеялись после того, как на Остоженке к ним в машину подсел Люськин хахаль. Им оказался человечек, к которому точнее всего подошло бы прозвище Замухрышка. Маленький, рябенький, сутуленький, с очками в пол-лица, каким-то чудом удерживающимися на крохотном носике-крючке. Правда, гонору в шплинте было хоть отбавляй! Обе женщины повиновались малейшему его слову. Они хотели шампанского, заморыш кявкнул: «Коньяк!» — и те сразу же отступились. Ясно — почему. Небось думали, что этот финансовый туз от щедрот душевных может и им по мильону отвалить! «Давай, давай, старайтесь», — трунил Эдик над женщинами, не высказывая, впрочем, этого вслух. Зачем дразнить гусей?

В Люськиной квартире царил многолетний бедлам. Это была не неприбранная квартира, а запущенная до стадии неисправимости. Хозяйка смахнула на пол зимние полусапожки, стоявшие на столе как беспримерное надругательство над порядком, и утыкала освобожденное пространство бутылками и стаканами. На закуску были взяты шоколад и яблоки.

— Начнем, — категорически сказал замухрышка и умело разлил по стаканам. — За нас!

Эдик отвык от незнакомых компаний и с удовольствием отдал инициативу компаньону. А тот рад стараться! Еще больше заважничал, закурносился. Можно подумать, бабы ценили его не из-за денег! По коже Эдика гусеницей полз зуд неприязни. Коньяк уже не брал его, и он не без сарказма следил за тем, как кривеет замухрышка.

Хахаль достал из кармана «Кент», небрежно щелкнул импортной зажигалкой, запыхал.

— Завтра сгоняю в комик, — сказал он между двумя затяжками. — За магнитофоном. А то Лизка приедет, а я ее маг раздолбашил!

— Лизка — дочь, — с готовностью пояснила Люська. — Девица форсистая. За маг может душу вышибить.

— Это точно, — подтвердил замухрышка.

— А зачем, — встрял, скрипя стулом, Эдик, — раздолбашил?

Замухрышка дернул щекой — не важно, мол, — но потом все-таки сознался:

— Да жена, чтоб ей пусто было, достала! Вчера устал, спать пораньше лег, а она с соседом на кухне устроилась и давай водку хлестать да музыку вовсю крутить... Я один раз вошел, выключил, другой. «Завязывай», — говорю. А она ни в какую! Ну я тогда взял маг и в окно выбросил.

— Разбился? — встрепенулся Эдик, относившийся к своему старенькому «Парусу», подаренному родственниками на свадьбу, как к неприкосновенной святыне.

— Вдребезги, — похоже, он гордился этим разудалым поступком.

— Конечно, обидно, — снова пояснила Люська, — когда мужик с утра до вечера за прилавком вкалывает, а баба его деньги с соседом просаживает.

— Денег не жалко, — гордо заявил замухрышка, — уважения хочется!

И с этими словами по-хозяйски откупорил вторую бутылку.

— Семейка у моей дурынды та еще, — сказал он, уставясь на Эдика липким, как варенье, взглядом. — Осенью тесть из деревни приедет. Опять, наверное, средства на лечение сосать начнет.

— На какое лечение?

— А черт его разберет, какое! Он в деревне на самогон налегает, а сюда приедет — здесь у него болит, там не в порядке. А медицинские кооперативы дорогие. Я все думаю — уж лучше б он там, в деревне, загнулся! Мне б его похороны дешевле встали...

Подруги засмеялись, будто он сморозил что-то смешное, а Эдик лишь криво ухмыльнулся. Гангстер, да и только!

— А если б твоя жена с соседом телевизор смотрели, — поинтересовался он, — выбросил бы?

— Не моргнув глазом!

— А видеомагнитофон?

— А че? Подумаешь! Я за день могу на видюшник сделать... Если подфартит.

Вот от этих слов Эдика и проняло: мать честная, есть же, оказывается, богатые люди! И ведь не какой-нибудь кавказец или узбек, торгующий фруктами на рынке, а свой, москаль, да еще рахитичной наружности, будто в детстве этот подпольный миллионер существенно недоедал.

Вслед за этими мыслями пришли другие: за какой такой подвиг ему подобное счастье ниспослано в смысле денег? Чем он лучше других? И все ведь знают, что жулик, но поди докажи! Все у него, должно быть, схвачено, везде, даже в ОБХСС, свои люди имеются, с которыми он в доле, от любого сможет откупиться. Даже завидно! Эдик поскучнел и впал в глубокую депрессию, которую женщины сочли за опьянение коньяком, Вероника так и сказала:

— Смотри-ка, как на него коньяк наехал!

А на самом деле на Эдика наехала зависть, лютая зависть и бешеное желание достичь того же богатства, что и замухрышка.

Только воровать Эдик не желал. Ловчить — пожалуйста. Крутиться, тереться, бегать, соображать, пристраиваться — все, что угодно, лишь бы за это не посадили. Как-никак он вырос на Стромынке и на зеков насмотрелся вволю...

«Бизнес — вот чем надо заниматься! — осенило его тем вечером. — Хватит валять дурака, жопо-часы отсиживать. Организовать свое дельце, придумать что-нибудь клевое, неожиданное, доходное и посвятить этому всего себя, без остатка и жалости. А службу бросить. Ну ее. Сейчас не те времена, чтобы за казенное место держаться, пенсию себе высиживать, как курица яйца. Сейчас такая жизнь пошла, что до пенсии можно и не дотянуть — окочуришься скорее, чем достигнешь почтенного возраста пенсионера. Так что нужно срочно менять курс, пока еще есть силы и желание».

И так эта идея Эдика зацепила, что он, прежде преисполненный в отношении ядреной женщины Вероники отваги, загорелся теперь немедля бежать домой, чтобы с женой поделиться новыми мыслями. Короче говоря, остыл Эдик от гулянки, посмурнел и стал от компании воротить нос.

А «завод», между прочим, был уже приличный, все изрядно захмелели и стали по-разному проявлять свои чудачества: замухрысистый миллионер пачки денег туда-сюда из кармана в карман перекладывает (то ли наличность проверяет, то ли для того, чтобы народ подразнить), Люська в щеку уперлась и какую-то песню затянула, а Вероника совсем обмякла и обезоружилась, смотрит на Эдика блудливыми глазками и пытается внушить ему мысль, что, если он решится, она долго сопротивляться не намерена... Одним словом, ситуация такова, что просто так не уйдешь, не отпустит эта шатия-братия. И тогда Эдик меняет тактику и вновь становится заинтересованным лицом. Пощекотав у Вероники за ушком, он шепчет ей, что пора, мол, и на покой. Сколько можно кирять? Надо спать укладываться, не за горами суровые трудовые будни.

— Лично мне завтра на работу, киска... Надо проспаться. Народная мудрость гласит: чем лучше вечером, тем хуже утром.

Вероника плотоядно хохочет, в нетерпении облизывает свои толстые, накрашенные губы и, перебросившись парой слов с подругой (видимо, они договаривались, кому где устраиваться на ночлег), тащит Эдика за собой, куда-то через коридор, в сумрачный закуток, в котором стоит наготове заваленное тряпьем убогое ложе — нелепо широкая кровать, смердящая подвалом. Эдик морщится, но, изобразив на лице страсть, лихо снимает через голову свитер.

— Ну, ты давай в душ первая, а я за тобой, — уступив по-джентельменски очередь даме, говорит он. — Чистота — залог здоровья!

Исполняя для пущей соблазнительности танец живота, Вероника шлет Эдику воздушный поцелуй и скрывается в ванной.

Тотчас Усов натягивает свитер, осторожно выглядывает в коридор и, убедившись, что никого нет, опрометью кидается к наружной двери. «На волю, в пампасы!» — поет внутри него разудалый пьяный голос...

Эдик выбежал на улицу, унося с собой новое знание и новые жизненные установки. Теперь все будет по-другому. Он больше не будет плыть по течению. Он будет энергичными гребками передвигаться туда, куда захочет. А хочет он жить богато, чтобы не считать, как нищий на паперти, мелочь, чтобы дарить жене на Восьмое марта французские духи, а не рублевую веточку сникшей, осыпающейся мимозы, да и деток приобуть-приодеть получше не мешало бы... Ветер омывал его горячую голову и, врываясь в уши, подобострастно нашептывал: «Все будет так... Все будет так...»

В доме, однако, Эдика приняли холодно, старуха мать заворчала, заругалась глухими словами брани, сквозь которые виднелись редкие сполохи неискоренимой любви к непутевому сыну, а жена, на мгновение явив мужу зареванное лицо, заперлась в комнате и не поддавалась ни на какие уговоры и посулы.

— Киска, открой, — умолял Эдик, уютно расположившись под бесчувственной дверью, поколачивая в нее костяшкой пальца (чтобы не разбудить детей) и постепенно теряя приподнятое состояние духа, вызванное осознанием важности принятого им накануне решения. — Ну же... Мне надо тебе что-то сказать...

Но Киска никак не могла взять в толк, что нынче у Эдика не экстраординарный кутеж — по крайней мере ни одна из предыдущих гулянок не надоумила его заиметь собственный бизнес, и поэтому она, как обычно, погасила ночник и не производила ни звука. Вскоре утихомирился и Эдик. Он заснул сидя, упершись затылком в косяк, а старуха мать осторожно накрыла его неподвижное тело пледом — не дай Бог простудится!

Проснувшись рано утром, Эдик нашел себя в неудобной и оскорбительной для бизнесмена позе. Вчерашний сумбурный день вспомнился как один большой кошмар. Образ богатого замухрышки вызывал тошноту, и Эдик, с трудом подняв закостеневшее тело, перенес себя в ванну, где сунулся под кран, под холодную воду, и стал одновременно пить, умываться и освежать голову. С похмелья он всегда чувствовал себя неважно.

Он услышал доносившийся с кухни приглушенный разговор. Ясно, что говорили о нем, поэтому Эдик, с трудом оторвавшись от крана, на цыпочках подкрался к кухне, чтобы послушать.

— ...Закодировать бы его на годик, а там видно будет.

— Да как ты его закодируешь, ежели он не захочет!

— А уговорить... Ты с ним поговори, как мужчина с мужчиной. Так, мол, и так, и я тоже с тобой за компанию сяду...

— Ишь, чего захотела, — со смехом закашлялся отец. — Вон ты для чего! Последнее жизненное удовольствие у меня отнять хочешь...

— Да и тебе пора угомониться, старый хрен!

— А я что, много пью, что ли?

— Много не много, а для твоего возраста достаточно.

— Ну, конечно... Меня Ворошилов приучил. Перед атакой сто граммов давали, ты же знаешь...

На этих словах Эдик вошел. Про ворошиловские сто граммов он слышал уже не один раз.

— Кого это вы хотите закодировать? — спросил блудный сын с виноватой полуулыбкой-полугримасой. — И что значит «закодиро-

вать»? — Он был немало удивлен тем, что его необразованные родители употребили этот научный термин.

— А то и значит, — сердито сказал отец, настроенный задать гулене перцу, — что слишком часто за воротник закладываешь! А раз сам не можешь бросить, мы с матерью решили отдать тебя на лечение.

— На какое еще лечение? — возмутился Эдик. — Вы что, сбрендили? Я же не алкаш какой-нибудь. У меня запоев не бывает — выпил, разрядился, теперь могу неделю в рот ни капли не брать.

— Да это не совсем лечение, — заюлила мать, выставляя на стол завтрак. — Одно слово только... Довженко такой есть, в Феодосии. По желанию может закодировать. Хочешь — на год, хочешь — на два, хочешь — на всю жизнь.

— Гипноз, что ли?

— Навроде того...

— Ты, мать, главное скажи. Если после того, как тебя закодируют, ты до срока выпьешь — хоть грамульку, — считай себя покойником!

Эдика передернуло, точно от холода. Ничего себе — заявочка!

— Нет, дорогие родители, кодируйтесь сами, а мне пока и так неплохо.

Возмущенно и прожорливо Эдик расправился с завтраком и, так и не увидев жены, которая, должно быть, ждала, когда он уйдет, отправился на службу. В голове горящим сухим хворостом трещала вчерашняя попойка, во рту ощущалась горечь, но было внутри него и еще что-то, приятное, как целительный бальзам, растекавшееся блаженным теплом по неотдохнувшему ноющему телу. Вчерашняя идея заняться наконец-то стоящим делом — вот что согревало давешнего кутилу. На пути к месту службы Эдик, преодолевая тупость еще не вполне оклемавшегося сознания, начал обмозговывать варианты своего обогащения.

Итак, что он умеет? На чем ему лучше всего сосредоточиться? В детстве он неплохо играл в шахматы, был чемпионом двора и окрестностей и, как знать, если бы он попал в хорошие руки, мог бы дорасти до мастера, а уж мастер не пропадет — в парке Горького эти ребята, играя по трешке в блиц, такие деньжата заколачивают — ой-ё-ёй... Но это уже упущенная возможность, надо смотреть правде в глаза. В тридцать пять лет заново не научишься такому хитрому делу, как шахматы. Кооператив? Делать какую-нибудь каку и продавать ее на Арбате? Ему однажды предлагал один художник заняться картинами. Эдик сказал: «Да я и рисовать не умею». А он: «И не надо. Я тебе трафареток наделаю, будешь с них передирать и раскрашивать. Тыщу в месяц гарантирую!» В принципе это мысль, но есть в этом что-то непотребное, низкое... Зависимость от трафареток, которые изготовляет для тебя другой, — не лучший способ достичь экономической самостоятельности.

Можно, конечно, заняться разведением рыбок, выращиванием тюльпанов к Восьмому марта, испечением тортов... Эдик догадывался, какие барыши сулят эти занятия, и все же отклонял их одно за другим, ибо в конечном итоге предстояло бы торговать продуктами труда или как-то обеспечивать торговлю, а именно этого он боялся, именно это презирал всеми возвышенными чувствами своей покамест еще гордой натуры. Быть торгашом он не желал ни за какие коврижки.

Так и не придя к какому бы то ни было решению, он получил у охранника свой пропуск, пробежался вдоль унылого, с колючей проволокой поверху забора до табельщицы и едва успел под ее бдительным оком отбить на листке учета время (его вновь позабавило, с каким алчным нетерпением табельщица, усатая тетка с щедро татуированными руками, ждала, когда же истекут последние минуты и можно будет приступить к сбору объяснительных записок с опоздав-

ших...), и уже не торопясь закурив папироску, вразвалочку потопал к двухэтажному флигельку, где располагалась его лаборатория.

Весь лабораторский люд торчал в курилке. Левка Баулов взахлеб рассказывал о своем вчерашнем приключении. Его слушали, временами разражаясь громовым хохотом. «Я бы тоже мог кое-чего порассказать», — ревностно подумал Эдик, приветственно поднимая руку, но не останавливаясь вместе со всеми, а проходя к своему рабочему месту. В досужей болтовне в курилке он потерял уже столько лет, что хватило бы с гаком до конца дней. «Бежать, бежать отсюда, — думал Эдик. — Найти собственный бизнес и положить на стол начальника заявление...»

До обеда он просидел в позе роденовского мыслителя, вставая лишь затем, чтобы попить чайку, который без конца затевали женщины, оторванные от дома и изнывавшие от невозможности направить свое усердие на благоустройство родного очага. Эдик пил стакан за стаканом, жажда постепенно проходила, последствия вчерашнего разгула сказывались все меньше и меньше. По опыту прежних попоек Эдик знал, что тарелка хорошего борща окончательно завершит нелегкий процесс возвращения организма в норму, и потому следил краем глаза за циферблатом настенных часов... Как вдруг — когда до обеда оставалось каких-то десять минут — гнусным фальцетом завыла сирена. Тревога! По форме номер один! Это означало, как явствовало из инструкции, одно из двух — либо на запретную территорию проник враг, либо, что еще хуже, началась война...

Все повскакали со своих мест, посыпали на улицу. Кто-то уже расстегивал на ходу противогаз. Через полуоткрытую дверь кабинета Эдик увидел, как заведующий лихорадочно бросает в сейф бумаги. Возгласы «что такое?» и «не знаем...» перелетали из уст в уста. А сирена выла, как ошпаренная, и не думала смолкать.

Догнав Левку Баулова, Эдик побежал рядом с ним.

— Что случилось-то? — спросил он вчерашнего именинника, между двумя затяжными пыхами.

— Хрен его знает! — Левка тоже задыхался: сказывалось выпитое за сутки спиртное. — Может, учебное... А может... началось...

«Только этого не хватало, — в сердцах подумал Эдик. — Накануне решающих перемен...» Справа от него споткнулся очкарик Вербицкий и растянулся во весь рост. Через него с нервическим смехом стали перепрыгивать бежавшие следом, а Лемзаков, которого Вербицкий сильно раскритиковал на последнем научном семинаре, изловчился и смазал ему туфлей по ягодице. Вербицкий взвыл, потом проворно вскочил и понесся дальше.

Режимная организация, в которой имел честь работать Эдуард Усов, была обнесена высоченным забором и по занимаемой территории равнялась семи Кембриджам. Но был внутри нее этакий канал, также обзаборенный, представлявший собой длинную, с выходом наружу кишку, в которую гладко въезжали поезда метрополитена для мелкого и текущего ремонта. Поезда сновали туда-сюда по этому каналу регулярно. В один прекрасный момент разогнавшийся поезд не смог затормозить и, порушив заграждения, нагло внедрился разбитой мордой в секретную территорию, лишив тем самым спокойствия уже готовившихся к обеду сотрудников.

Все это вскоре выяснилось, и переполох улегся. Вооруженные охранники, встав полукольцом, блокировали образовавшуюся брешь (чтоб ни-ни!), и пока каменщики спешно заделывали пробоину, а электрики приводили в порядок систему сигнализации, пальцы автоматчиков бдительно лежали на курке...

В столовой, уставляя поднос закусками, Эдик делился с Бауловым свежими впечатлениями:

— Как тебе этот скандал в благородном доме?

— Начальник первого отдела, говорят, схватил инфаркт!

— А ты что думаешь? По его карьере едва-едва не прокатился состав...

— Ей-богу, жаль,— сказал Баулов, определяя, сам не зная того, дальнейшую судьбу своего приятеля, — что вся эта паника так и осталась незапечатленной! Потомки лишились прелюбопытнейших фотодокументов эпохи.

Рука Эдика, потянувшаяся к борщу, дрогнула. Фотодокументы. Фото... Как он раньше не сообразил! Ведь он же был когда-то заядлым фотолюбителем. Он отснял тысячи кадров, сделал множество слайдов и уже вплотную занялся цветными оттисками, когда засосавший семейный быт вынудил его бросить это хобби и заняться пеленками. По инерции он еще заснял своих чад в образах упитанных, жизнерадостных голышей, от которых, казалось, пахнет материнским молоком, но потом и вовсе закинул аппарат вместе со всеми оптическими насадками и приспособлениями на антресоль и напрочь позабыл про него.

Почему бы не сделать карьеру частного фотографа, учитывая общественную значимость и непреходящий народный интерес к этому ремеслу? Хорошие фотопортреты стоят изрядную сумму. Можно ходить по детским садам, школам, пионерским лагерям, можно увековечивать конференции, слеты, туристические поездки — да все что угодно! Людям так нравится смотреть на свое банальное изображение, что они готовы платить приличные бабки (тут Эдик незаметно для себя перешел на блатной жаргон), лишь бы с ними навеки была их неувядаемая физиономия. Отрадный факт. Он, Эдик, будет предоставлять им такую возможность. Разумеется, не бескорыстно.

За какое-то мгновение ему стало ясно, что фотодело — это то, на чем он мог бы сколотить кое-какой капиталец, причем на первых порах совсем необязательно резко бросать службу, она нисколько не помешает, ибо как говорится: солдат спит — служба идет, только теперь он будет не спать, а фотографировать, иными словами: технарь спит — фото идет, и это замечательно, гениально... Повеселев, Эдик в два счета расправился с обедом, чему Баулов, обычно заканчивавший еду первым, был немало удивлен.

Остаток дня вся лаборатория завороженно следила за изощренным словесным поединком заведующего с Вербицким, которые излагали каждый свою методику подачи материала физики в школе. Оба сходились на том, что нынешний учебник никуда не годится, и предлагали другие логически выстроенные пути, но в запале едко высмеивали друг друга (Вербицкий вообще по натуре был язвой) и, находя ошибки, безжалостно низвергали противника с временного пьедестала. Эдик тоже слушал эту болтовню, и если прежде подобные диспуты были приятным времяпрепровождением, то сейчас вызывали в нем глухое раздражение. «Бездельники... Прожигатели жизни... Разогнать бы эту контору к чертям собачьим, хотел бы я посмотреть, о чем бы вы тогда спорили...» — думал он, превозмогая сильное желание сказать об этом вслух.

На этот раз, должно быть, под знаком недавней тревоги оба так старались, что перешли всякую меру. Заведующий то и дело прикладывал ко рту платок, чтобы вытереть выступавшую на губах пену, а Вербицкий, нахально сверкая стеклами очков, наотмашь бичевал несчастного начальника и выставлял на всеобщее посмешище пробелы в его образовании. Глядя на этот дуэт, Эдик думал, что с удовольствием бы отщелкал пару кадров и потом подарил обоим спорщикам их искаженные в гневе физиономии.

Когда Вербицкий воскликнул: «Да вы, оказывается, ни шиша не понимаете в физике!» — отчетливо повеяло бурей. Заведующий окаменел и уже нешуточно уставился на зарвавшегося подчиненного.

— Я, может быть, и не понимаю физики, — сказал он с нажимом

на оскорбительный для него глагол, — но чувствую ее. А вот вы, молодой человек, не чувствуете, вижу, никаких границ! А посему нам вообще больше не о чем разговаривать...

Установилась такая тонкая тишина, что стало слышно, как за стеной с тупым упрямством стучал пинг-понговый шарик — это, сдвинув столы и взяв вместо ракеток книжки, развлекались великовозрастные сотрудники смежной лаборатории.

— Уволит, — шепнул Баулов на ухо Эдику, предвосхищая дальнейшую судьбу одного из спорщиков.

Но Вербицкий, видимо, считал иначе.

— Разрешите с вами полгода не здороваться, — не без достоинства сказал он заведующему и, учтиво кивнув, вышел из комнаты.

Эта ссора еще больше укрепила Эдика в убеждении, что здесь, в этой организации, нечего ловить, надо стремиться к индивидуальному духовному развитию, а коллективы, подобные тому, в котором он работал, только развращают личность, делают ее стадным существом, исповедующим единственную идеологию — прозябание. Глазом не успеешь моргнуть, а уже крепко-накрепко привязан к сиюминутным традициям своего коллектива, как-то: псевдонаучные диспуты, чаи с тортами, походы в ресторан, если есть хоть какой-нибудь мало-мальски подходящий повод, экскурсии по Золотому кольцу (непременно всей кодлой) и два-три производственных романа, в которых действующие лица меняются от случая к случаю сообразно сложившимся условиям и обстоятельствам. Все это Эдику было слишком хорошо известно, ибо он потерял тут свыше десяти лет жизни. Промелькнули как один месяц. Но ничего, еще не вечер!

За полчаса до конца рабочего дня у выхода, как всегда, топтался народ: охранники кочевряжились и не выпускали, а люди, спешащие домой, безропотно ждали той минуты — нет, даже не минуты, а секунды, — когда турникеты откроются и можно будет изо всех сил рвануть на волю. Эдик органично влился в толпу. Рядом со скучающим видом переминался с ноги на ногу Вербицкий.

Эдик подошел к нему, дружески улыбнулся:

— Здорово ты начальника срезал!

— А, подумаешь, — безразлично пожал он плечами. — Сейчас не те времена. Так просто он меня не сожрет. — Он помолчал и удивленно добавил: — А что, я должен потакать его серости?

— Наверное, нет, — сказал Эдик, проникаясь радостным чувством оттого, что это больше нисколечко его не волнует. Мысленно он уже ушел из лаборатории, поэтому какая разница, кто будет пресмыкаться перед начальником, а кто с ним воевать? Сами как-нибудь разберутся, не маленькие. — Сколько там осталось до конца?

— Девять минут. — Вербицкий вздохнул. — Опаздываю, черт побери.

— Куда это?

— Да-а... На собрание нашей секции.

— Что за секция?

— Да так... Демократическая, — произнес Вербицкий, проницательно заглядывая Усову в глаза. — Хочешь, могу тебя пригласить как-нибудь.

— Как-нибудь пригласи, — успел ответить Эдик, и в это мгновение вся толпа пришла в движение и стала сужаться до нитки, которая потянулась через проходную.

Извергнутые из секретного чрева люди быстро растекались по улицам, наполняли собой троллейбусные остановки, занимали очереди за съестным и вечерними газетами. Эдик шел вместе с ними. Он улыбался, потому что сделал свой выбор и теперь ему было легко. Маленькая досада от того, что он не может сейчас же заехать в фотомагазин и накупить пленок, реактивов и бумаги, не могла испортить ему настроения. Подумаешь! Купит завтра. Помирится с Киской, распи-

шет ей поярче открывающиеся перспективы и займет рубликов двадцать. А эти двадцать обернутся сотней, из которой он вернет Киске долг и пустит остальные в дело. И — пошла писать губерния... «Ка́к же! Держи карман шире, — Кискиным голосом сказал кто-то внутри Эдика. — Мечтать не вредно».

Пожалуй, многим рано или поздно приходит в голову, что комедия под названием жизнь не удалась. Энная часть этих многих решается на крутые перемены. И лишь малая толика из них добивается на этом скользком пути определенных успехов... Что касается Эдика, то он бойко приступил к реализации своего плана, и лишь ряд сдерживающих факторов и непредвиденных обстоятельств мешал тому, чтобы он стал миллионером сразу. Пришел, скажем, Эдик в детсад, где находился на попечении его второй отпрыск, сделал групповой портрет с дамами-воспитательницами, распространил среди желающих фотокарточки и получил за это такую порцию восторженных похвал и сердечных благодарностей, что о столь прозаической материи, как деньги, не могло быть и речи.

В школу к старшему он пойти не рискнул.

«Так уж устроен наш человек, — думал он, чтобы найти хоть какое-то объяснение этому проколу, — что в голый энтузиазм верит больше, чем в корыстные интересы».

Родственники как с его, так и с Кискиной стороны тоже норовили запечатлеться на дармовщину. Зато соседи раскошелились. И наслали после участкового инспектора, который пришел якобы познакомиться, а на самом деле для того, чтобы пронюхать, на какую ногу поставлено предприятие и есть ли у Эдика патент. Патента, естественно, никакого не было, но наличие трех детей смягчило сердце участкового, который, уходя, сказал:

— Вы с соседями того... поосторожней! Стучат, понимаешь, как дятлы. Было б на кого — а то на вас, многодетных... И-эх, люди!

Как бы то ни было, а Эдик переживал ответственный период жизни. Он неистово стремился к своему предназначению. Прежде он ломал голову над тем, чем бы наполнить день, теперь, когда он одним махом наполнил жизнь, все словно встало на свои места, суета стала осмысленной, пьянки с коллегами прекратились (то есть, разумеется, не сами пьянки, а участие в них Эдика), и самое главное — сотню-другую он все-таки прирабатывал, что на первых порах было совсем неплохо.

Старикам родителям возрождение былого увлечения сына пришлось явно по душе. О том, чтобы его «закодировать», они больше не заикались. Но, вероятно, с целью припугнуть как-то за чаем поведали молодым сногсшибательную историю о двух друзьях-полковниках, свидевшихся после долгой разлуки. Один из них был «закодирован» самим Довженко, а второй, не зная этого, принес на встречу коньяк. Первый пить наотрез отказался. «Что мне, жить надоело!» — смеясь, сказал он. Поняв, что его не уломать ни за что на свете, пьющий полковник стал потягивать сей напиток в одиночку, оставшись, однако, втайне раздосадованным неожиданным чудачеством своего товарища. И когда «закодированный» на минуту отлучился, взял да капнул ему в кофе чуть-чуть коньяку. Поделился, одним словом.

— То ли испытать его хотел, то ли по злобе — кто же его поймет, — рассказывала мать тем скучноватым, но решительным тоном, который в подобных «страшных» историях необходим, чтобы не возникло эмоционального пережима. — И уехал, стало быть, к себе. А через неделю звонит оттуда, чтоб посмеяться над «закодированным»: дескать, как я тебя надул, — а того уж схоронили... Во как! Жена тому сказала: «Наутро ослеп, а к вечеру преставился». И не знает отчего: другой-то полковник ей не сознался! И тоже ведь маялся, маялся, бедолага, что человека сгубил, а вскорости застрелился. Не смог с грехом на душе жить...

— А как же Довженко может? Не один же, наверно, такой случай после его «лечения».

— Так он расписку с «кодируемых» берет: так, мол, и так, о последствиях предупрежден, всю ответственность беру на себя, — пояснил отец. — Без расписки он не будет.

— И без денег тоже?

— Это само собой... Говорят, сеанс триста рублев с носа стоит.

— Ого!

— А ты думал? Пьянка — дело такое... прилипчивое. Все одно пропьешь больше, уж лучше врачу отдать. Може, взаправду отвадит... — Старик скептически захихикал.

На работе ничего существенного, однако, не происходило. Хотя до заявления об уходе было еще далеко, коллеги чутьем стаи чувствовали, что Эдик отходит от них. Лемзаков предлагал даже (шутливым, впрочем, тоном) устроить «суд чести», и Кустиков, в прошлом культурист, а ныне оплывший жиром бугай, с готовностью поддержал эту затею, и как знать, чем бы все закончилось, если бы не вмешательство Левки Баулова и Ясинской, вступившихся за Усова больше из личных симпатий, чем из соображений абстрактной гуманности.

— Он, конечно, ренегат, — прокуренным голосом сказала Ясинская, пряча за стеклами очков тайную улыбку, — помните, как бросил, гад, нас тогда в шашлычной... Но судить... Это вообще... Глупо!

С Вербицким же Эдик сошелся короче. Тот, выполняя обещанное, упорно не здоровался с начальником, который поначалу негодовал, затем — недоумевал, а в конце концов присмирел и был даже на грани того, чтобы попросить у строптивого подчиненного (если бы, конечно, они остались с глазу на глаз) прощения. Он очень страдал без вошедших уже в привычку диспутов по проблемам школьной физики, его «конька», а никто, кроме Вербицкого, не соображал в этом предмете в должной степени. Поэтому завлаб всячески давал понять, что снова готов к схватке, когда его оппонент пожелает. Но тот молчал...

Как-то Вербицкий разоткровенничался с Эдиком, рассказал о своей демократической секции. Эдик не вдохновился. Собрания, митинги, выпуск полулегальной газеты, всякие обращения, голодовки — все это казалось ему атрибутами какой-то другой жизни, которой также следовало бы посвятить всего себя. Дважды за столь короткий срок менять ориентиры Эдик счел неприличным. Но когда Вербицкий пригласил его на манифестацию, он согласился, так как подумал о том, что сделанные там кадры могут заинтересовать прессу... или на худой конец какую-нибудь фотовыставку.

Они договорились о встрече.

— Только не опаздывай, — предупредил Вербицкий, — а то могут не пустить.

— Кто посмеет? — с грозным пафосом вопросил Эдик.

Вербицкий лишь загадочно усмехнулся.

Он все-таки опоздал на полчаса и, как следствие, не попал на Пушкинскую площадь, которую со всех сторон уже окружила цепочка исполненных суровой значительности милиционеров. Он попытался объяснить, что ему позарез надо, его ждут, но тот, кому он говорил, с каким-то строгим удивлением смотрел на него и, качая головой, увещевал:

— Идите-ка отсюда, и чем быстрее, тем лучше... Сказано — не пустим, значит, не пустим! А дружков ваших сейчас всех повяжут. Сами потом спасибо скажете, что в историю не попали...

Не настаивая, Эдик отошел. Милиционер покосился на его фото-

аппарат. Чтобы не дразнить гусей, Усов отошел еще дальше, затерялся в толпе, зашел за угол дома, во двор. Досада, смешанная с чувством полной безопасности, которой наверняка не было бы, окажись он внутри кольца, а не снаружи, подзуживала его к неясным действиям, заставляла лихорадочно искать способ, каким можно проникнуть на площадь и запечатлеть готовившуюся заваруху. Прикинуться журналистом? Не тот случай, когда журналисту обрадуются. Скорее наоборот, они-то как раз менее всего здесь желательны. Сказать, что у него назначено свидание с девушкой? Если-де они не встретятся, то уже не встретятся никогда, наша судьба в ваших руках, товарищи... Да кому это интересно! У них инструкция, приказ. Их не проймешь.

Эдик задумчиво брел вдоль дома. Все входы-выходы на площадь перекрыты, и эту блокаду не разорвать, разве что перелететь по воздуху... Он поднял голову. Лестница! В детстве он лазил по такой на чердак. А один парень — его имени Усов не помнил — однажды сорвался и покалечился. Эдик огляделся. Двор был пуст, если не считать пары старух, сидевших на лавочке у дальнего подъезда, и мамаши с коляской, уткнувшейся в книгу... Эх, была не была!

По узкой железной лестнице, пахнувшей после недавнего дождя ржавчиной, Эдик взобрался на крышу. Он не думал, что может упасть, и когда, наконец, посмотрел вниз, ему стало нехорошо — спина вмиг похолодела и сделалась волглой. К счастью, последние ступени были преодолены, Эдик уже стоял по ту сторону невысокого парапета и держался за него рукой. Фотоаппарат, перекинутый через плечо, точно портупея, казался тяжкой ношей. Сердце пугливо металось в грудной клетке, а глаза никак не могли привыкнуть к необычному ракурсу. Отсюда видят птицы. Смелее, молодой человек! Пересеки крышу, и вся площадь будет у тебя как на ладони.

Эдик отдышался и, проделав определенный путь, достиг угла, выходившего на пересечение бульвара и улицы Горького. Встав на закраину крыши, он вытянул шею, чтобы получше рассмотреть то, что творилось в это время на земле. От людей, запрудивших площадь, было черным-черно. Сверху бурление толпы походило на некое варево, которое помешивают ложкой. Пристыкованные друг к другу автобусы и военные грузовики определяли границы этого котла. Эдик торопливо расчехлил фотоаппарат, проверил выдержку, навел на резкость. Кадры должны получиться замечательные. Сверху было отлично видно, что дело принимает нешуточный оборот. Люди в черных беретах, с пластиковыми щитами в руках теснили демонстрантов. Над головами мелькали дубинки, вразумляли. Люди не поддавались, защищались локтями, размахивали трехцветными знаменами, разворачивали плакаты с надписями, которые Эдик не мог прочесть. Рычал громкоговоритель, стояли свист, ругань, улюлюканье, скрежет.

Наконец, демонстранты принялись что-то скандировать, и это вызвало немедленную ответную реакцию блюстителей порядка: черные береты пошли в атаку. Кому-то заломили руки, кого-то потащили внутрь автобуса, кому-то дали под дых... Эдик в упоении щелкал затвором фотоаппарата. «Только бы получилось», — думал он. В нем проснулся азарт фотографа. Рев и вопли усилились. В одном месте котел вдруг прохудился, и струйка людей проворно вытекла, растеклась в разные стороны. Пересекая наискось улицу, с десяток милиционеров помчались затыкать течь.

Эдик снимал все это, едва успевая перематывать кадры. От страха ему казалось, что там происходит самое настоящее избиение, что людям не дают разбежаться, их молотят, месят как тесто, а потом разрезают месиво на куски и по частям засовывают в разверстые двери автобусов. Кто-то полез на памятник Пушкину, его ухватили за ноги, сдернули и поволокли по земле. Человек кричал что есть мочи. Эдик направил на него объектив и сделал кадр. Мысль, что он, слава Богу, не внизу, не покидала фотографа. «А Вербицкий сейчас там, с ними», — подумал Эдик с оттенком восхищения, но отнюдь не зависти. Он не завидовал им, этим отчаянным головам, а если до конца быть честным, то не понимал. Чего они добиваются? Зачем добровольно пошли на эту выходку? Что хотят доказать сим мазохистским эпатажем? В свои тридцать пять лет Эдик мало интересовался внутренней политикой; новости из-за рубежа полностью потрафляли его гражданским чувствам; он пылал праведным негодованием по поводу апартеида в Южной Африке и диктаторского режима на Гаити, а вот что касается внутреннего положения страны и происходящих в ней процессов, то тут Эдик тушевался и дальше анекдотов, рассказываемых в салонах, не шел. Он перенял подобное поведение у отца, а того воспитала эпоха товарища Сталина. Поэтому сейчас, фотографируя с крыши дома избиение демонстрантов, Эдик чувствовал себя чуть ли не на верху политической смелости. Он тоже как бы участвовал в этой акции, пусть и не достанутся ему синяки да шишки, не говоря уж о прочих неприятностях административного характера... Он отснял более половины ленты, когда ему показалось, что его засекли. Офицер внутренних войск показывает на него рукой. Призывает двух бойцов, что-то энергично говорит им. Они поднимают кверху головы... Эдик отпрянул от края крыши, пригнулся, побежал к лестнице. Второпях потерял крышечку, закрывающую объектив. Поднимать не стал — промедление подобно гибели. Рискуя сорваться, он стал проворно спускаться по лестнице. Два раза ноги соскальзывали со ступенек, и он повисал на руках. При этом пальцы до боли стискивали железный прут, а ремешок фотоаппарата висельной петлей обвивал горло и душил...

Поймав ногой землю, Эдик нервно оглядел двор. Те же старушки и мамаша с коляской. Не дожидаясь, когда сюда придут черные береты, Эдик пулей полетел в направлении, противоположном тому, откуда они могли появиться. Он бежал во весь дух, петляя дворами и переулками, запутывал следы, словно заяц, преследуемый гончими. Боялся оглянуться. «Если догонят, выброшу фотоаппарат, скажу — не мой», — на ходу обдумывал он варианты спасения. Фотоаппарат было жалко, загубленную жизнь — еще жальче. Только выскочив на улицу Герцена, он понял, что пронесло. Бежать уже не было сил, ноги были как ватные и заплетались.

Жизнь между тем шла своим чередом, люди семенили по улице как ни в чем не бывало. Под розовой маркизой продавец соков, привычно не доливая по двадцать миллиграммов, обслуживал желающих испробовать настой шиповника. Эдик выпил стаканчик, подумал: «И зачем я хотел выбросить фотоаппарат? Достаточно было засветить пленку... — Он был недоволен собственной трусостью, отметившей его смелый поступок каиновой печатью. — Интересно, что там с Вербицким?.. Надо сегодня же проявить пленку... Ну и куда я пристрою эти снимки?» С полным разбродом мыслей Эдик отправился домой. В Сокольниках, чтобы «добить» пленку, сделал несколько кадров пожарной каланчи, стадиона и больницы имени Остроумова (которую, с позволения сказать, построил Бахрушин). Стало заметно темнее, он прибавил выдержку. Снова собирался пойти дождь. Эдик не взял зонт, поэтому заспешил под крышу родного очага. Успел — первые капли упали, когда он уже входил в подъезд.

Поздним вечером проявленный черный целлулоид уже висел под потолком в ванной, рядом с сохнувшими ползунками дочери. «Неплохо получилось, — заключил Эдик, разглядывая вызванные из небытия сценки разгрома несанкционированного митинга, — профессионально...»

Он позвонил Вербицкому, но того не оказалось дома. Голос, сказавший это, был изысканно вежлив и спокоен. И все же смутная тревога тотчас вошла в Эдика и овладела всем его существом. «Напрасно позвонил, — в холодном поту думал он. — Могли засечь. Если Вербицкого сцапали, могли взять под контроль и его телефон... А у меня

пленка... Сжечь? Спрятать?» На всякий случай он скрутил пленку в трубочку и засунул на балконе в щель между шкафом и стенкой. Сразу стало спокойнее. Он не должен рисковать семьей Выгонят с работы с волчьим билетом — куда деваться? Пока на фотопортретах много заработать не удается. И вообще. Черт его знает, чем закончится перестройка. Ребята шутят — перестрелкой. А вдруг правда? Лучше пока не светиться. Трое детей — шутка ли?..

Жена ночью потянулась к нему, но Эдик мягко убедил, что не совсем здоров. Он даже не попытался пойти Киске навстречу, так как чувствовал, что сегодня ни на что не способен. Он лежал бесполым, вспотевшим существом с одной-единственной мыслью в голове — как бы сделать так, чтобы подороже продать эти снимки и не попасться? Ему грезилось, что там, на балконе, в щели, сокрыт изрядный капиталец. Но вот как его добыть? Этого пока еще Эдик не знал.

Оказывается, Вербицкий тоже счастливо избежал пленения, получив, однако, красноречивый удар дубинкой промеж лопаток. Он поведал Эдику, как это ему удалось, продемонстрировал розовый рубец от резинового «демократизатора», как окрестили в народе инструмент урезонивания толпы, и стал с терпеливой вежливостью слушать Эдикову историю. При слове «фотокарточки» глаза его загорелись огнем священной мести.

— Неужели тебе удалось заснять? Великолепно! Замечательно! Они боялись этого больше всего, потому и огородили площадь автобусами... Нужно срочно передать снимки надежным людям.

— Это кому? — насторожился Эдик.

Вербицкий путано намекнул на некие авторитетные силы не вполне социалистического происхождения... А поскольку прежде чем открыться, он посмотрел, не подслушивает ли кто, и снизил на два тона голос, Эдик окончательно понял, что тот имеет в виду иностранных — западных — корреспондентов.

Поступая на работу, оба дали подписку о том, что не будут «контактировать» с иностранцами и если, паче чаяния, оный контакт все же произойдет, они немедленно сообщат об этом в первый отдел. Поэтому Эдик поинтересовался, как обойти этот щекотливый момент, на что Вербицкий издал звук, похожий на рыгание, чем безмерно удивил Усова, считавшего его человеком высоких этических норм.

— Да пошли они... сам знаешь куда! Мы же не военную тайну продаем! Мне эта игра в шпионов во где, — Вербицкий чиркнул пальцем по горлу. — Сталинское наследие. Лично я, убей меня мокрой галошей, не знаю, хоть и работаю здесь двенадцать лет, ни одной мало-мальски значимой государственной тайны!

— Это понятно, — сказал Эдик, знавший не больше секретов, чем его коллега. — Я о другом. Вдруг засекут — неприятностей не оберешься. Поди потом докажи, что ты передал снимки митинга, а не ракеты!

— Кто боится, тот трус,— презрительно изрек Вербицкий.

Эдик был задет за живое. Легко ему, холостяку, говорить такое, он, может, оттого и ушел в политику, что ему дома делать нечего, а он, Эдик, имеет определенные обязательства, он не может позволить увлечь себя, пусть даже демократам. В душе он, разумеется, тоже демократ, сейчас все демократы. Однако ж на площадь выходят далеко не все. А он рисковал, на крышу лазил! Как он смеет бросать подобные упреки — уж не потому ли, что ему по хребту врезали?! Тоже мне, герой...

— В общем, думай, — сказал Вербицкий. — Надумаешь — скажи.

Поражаясь скрытной расположенности Вербицкого к деструктивным действиям, Эдик маялся весь рабочий день. Ему представлялось, что он вновь стоит на узкой головокружительной ступеньке лестницы, заманчиво было сделать еще один шаг, но вот куда — вверх ли, вниз ли? Одинаково трудно было и согласиться, и не согласиться. Не хотелось быть ни подлецом, ни болваном, и он смутно чувствовал, что ввязался не в свое дело. Но как бы то ни было, а пленка уже существует, и в его власти обнародовать ее или хранить до лучших времен. К концу дня чаша весов склонилась в пользу гласности, и Эдик решился передать негатив Вербицкому — пусть сам «контактирует». С гешефтом, по всей видимости, ничего не получится.

— Почему это не получится? — удивился Вербицкий, когда Эдик, смущаясь, поделился с ним своими сокровенными мыслями. — Если они это опубликуют, гонорар твой.

— В валюте? — ужаснулся-обрадовался фотограф.

— А как же!

Голова Эдика закружилась, как будто он сошел с карусели, на которой провел несколько сеансов кряду, но на ногах он тем не менее устоял, хотя и с большим трудом. Иметь валюту было для него соразмерно с полетом на Марс, получением новой квартиры, признанием его мессией и прочими почти невероятными событиями. Зелененькие доллары он видел только по телевизору, в телепередаче «Человек и закон», в которой демонстрировалось изъятое у преступников. «Вот и меня возьмут, наверно, с долларами», — пророчески подумалось ему. Но желание з а р а б о т а т ь валюту, эти дьявольские бумажки, оказалось сильнее криминальных страхов, и вечером того же дня Эдик передал Вербицкому завернутую в фольгу трубочку, чувствуя себя при этом не то Пеньковским, не то Кимом Филби, не то безымянным идиотом, сующим по собственной инициативе голову в петлю.

Никогда еще папа Эдик не был так предупредительно добр со своими чадами, никогда еще так не боготворил Киску и не почитал родителей, как в тот вечер, когда детище его шального поступка перекочевало в карман меченного дубинкой демократа. Он баюкал на руках младшенькую, играл в кубики со средним и читал на ночь сказку старшему. Мимоходом срывая поцелуи Киски («Ну тебя», — обмирая от счастья, отмахивалась жена), он ставил чайник для заключительной церемонии семейного чаепития, справлялся о здоровье у отца и усаживал мать на почетное место в красном углу кухни. Вероятно, так вел бы себя с близкими человек, решившийся втайне от них на самый крайний шаг — самоубийство. В сущности, Эдик полагал, что именно это он уже и сделал, поэтому, изумляясь собственной живучести, суетился и конвульсивно производил свои последние свободные движения.

Не удивительно, что жена принюхивалась к нему и пыталась по блеску глаз определить, сколько он принял. Он бы и на самом деле с удовольствием сейчас махнул, но поскольку заранее спиртным не запасся, единственное, что ему оставалось, это разыгрывать ублаженного жизнью мужчину, а чем уж он так ублажен, пусть гадают...

Ночь прошла в любви и обрывочных, как речь безумца, сновидениях. Наутро он с неохотой встал и отправился на работу, как на каторгу. Был крайне удивлен, что на проходной его не заарестовали, зато бдительное око усатой табельщицы показалось ему чересчур пристальным. Он чувствовал себя так, будто держится рукой за громоотвод, зная, что вот-вот разразится гроза. И когда его отозвал в сторону Вербицкий и передал некий конверт, Эдик почти ничего не соображал и трясся как в лихорадке.

— Уже?

— У них без бюрократии!

Эдик облизнул пересохшие губы:

— Доллары?

Вербицкий усмехнулся и отрицательно покачал головой:

— Марки. Выйдет в «Ди Цайте».

— С фамилией?

— Да без, без, — брезгливо поморщился Вербицкий. — Чего ты так трусишь? Знаешь пословицу: сделал дело — гуляй смело.

— Знаю. — Эдик вздохнул. — Снявши голову по волосам не плачут.

Вербицкий хлопнул его по плечу и весело рассмеялся.

В детстве у него тоже были марки — почтовые. Самые любимые из них — треугольные, из Бурунди. Потом все это сокровище куда-то запропастилось, лежит сейчас где-нибудь на антресоли, в углу, в стар採еньком прохудившемся портфельчике, с которым он ходил в школу. Нынешние марки он запрятал более основательно; под козырьком балкона пришлось даже проковырять выемку, мини-пещерку, закрывающуюся куском штукатурки, в ней-то и захоронено богатство.

Нет, он уже не ожидал со дня на день ареста и обыска, просто так требовал закон осторожности. Никому из домашних он не сказал ни слова. Киска, может быть, и поняла бы как надо, а для стариков, выросших под мудрым идейным руководством товарища Сталина, его рассказ был бы непосильным психологическим потрясением. Эдик берег их чувства.

С тех пор как он получил свой первый иностранный гонорар, скромный гонорар за вид с крыши, как условно именовал он для себя, минуло две недели. Эдик держался от Вербицкого подальше (из соображений конспирации), снова примкнул к «обществу прожигателей жизни» и один раз даже принял участие в пировании по поводу первой пятницы месяца, правда, вовремя «дезертировал», помог случай — в шашлычную вошли Вероника с Люськой, и Эдик, спрятавшись за друзей, дождался удобного момента и убежал. Вот так ему повезло, а то бы снова нажрался как свинья... Ну что за жизнь?

Если бы он знал, что делать с марками, он бы не дал себе такого послабления. Наличие валюты, которую непонятно как реализовывать, выматывало ему все нервы. Неслыханное самоедство!

Ходили разговоры, что скоро в валютном магазине не надо будет объяснять, откуда у тебя средства. Такая тенденция уже наметилась, но пока этого еще нет, и Эдик Усов, как работник некой секретной фирмы, подвергал себя большой опасности, храня марки, наличие которых в глазах первого отдела оправдать невозможно иначе, как продажей пособникам империализма важной государственной тайны...

Пешком Эдик идет по Стромынке и чувствует свое полное ничтожество. Никакая мысль не осеняет его, никакая идея не помогает выбраться из кабалы, в которую он попал, родившись в этих пенатах. Вся жизнь — сплошная неурядица, шараханье и беспокойство. «В Бога поверить, что ли? — неожиданно думает он. — Так поди ж поверь, когда тебе с детства вдолбили, что нет Его и быть не может...»

На груди у Эдика фотоаппарат, всегда готовый произвести увековечивающий выстрел. Может быть, сделанные снимки переживут своего творца. И в этой банальности, в этой отнюдь неутешительной констатации Эдик находит себе хоть какое-то оправдание. «И неволя поневоле хитрости научит», — напевает он внутренним, никому не слышным голосом.

Обрывает песню только тогда, когда вдруг видит Люськиного хахаля. Замухрышка вышмыгивает из такси, закуривает и прогулочным шагом двигает Эдику навстречу. Но взгляд у него отстраненный, пустой. «Не узнает», — торжествует Эдик и в ту же секунду понимает, что подпольного миллионера ему послала сама судьба. — Привет! — радостно восклицает он, когда они поравнялись.

— Сколько лет, сколько зим! Как Люси?

Тот без энтузиазма здоровается. На лице недоумение — откуда, мол, меня знаешь? Эдик, как может, объясняет, кто он, напоминает про тот безымянный вечер.

— Кстати, как магнитофон? Купил?

— Двухкассетник... А ты, помнится, тогда крепко обидел Веронику!

— Да понимаешь, — с ходу придумывает Эдик, — не хотел подвергать бедную девочку опасности... Я тогда анализы еще не получил. — Он подмигивает, делает объясняющие жесты, и Люськин хахаль мигом понимает, про что речь.

— А она приперлась к нам в одной комбинашке, — хохочет он, — злая, как мегера. «Сбежал от меня, — говорит, — инженеришка, сволочь!» Я уж был готов ее утешить, да Люська не дала. Ревнивая, зараза...

— Бабы — они все такие, собственницы, — говорит Эдик и, словно внезапно вспомнив, роняет: — Слушай, тебе западногерманские марки нужны?

— Марки всем нужны, — прекратив смех, осторожно замечает замухрышка.

— Ну так у меня есть четыре сотни. Возьмешь?

— А ты часом не провокатор? Свалился, как снег на голову, предлагаешь подсудную сделку... Откуда я знаю, что ты за птица?

Замухрышка с подозрением осматривает Эдика, начиная с ботинок, очки-телескопы едва не сваливаются с кнопочного носа.

— Да что ты, — обижается Эдик, — разве я похож на мента?

В общем, они договариваются о новой встрече, потому что Люськин хахаль сейчас не готов, у него другие дела, и душевно расстаются. «Ловко я провернул это дельце», — сам себе удивляется Эдик...

Он вошел во двор, не испытывая никаких чувств, кроме облегчения. С таким же настроем он возвращался иной раз, отработав на подшефной овощной базе, зная, что теперь не пошлют целый месяц. Катастрофы не предвиделось, поэтому он даже растерялся, когда заметил возле своего подъезда милицейскую машину и небольшую кучку людей из местных.

Испуганно сжалось сердце. Эдик еще не знал, что собрало толпу, но чутье подсказывало, что тому может быть причиной его клад, сокрытый на балконе. Ибо люди, задрав головы, с огромным интересом изучали что-то на небесах.

Стараясь не привлекать к себе внимания, он подошел к дяде Толе, пенсионеру с первого этажа, тронул его за локоть:

— Что случилось, дядя Толь?

— Хе! Чудеса да и только! Седня гляжу — купюры на мостовой валяются. Поднял — не советские. А тут как раз Валерка, наш участковый идет... Я к нему. Говорю: «Глянь, Валер, какая оказия!» Передаю так ему, значит, купюры, а сверху, как листики, еще полетели. И ворона в клюве такие же тащит... Мать честная! Наверно, кто-то где-то схоронил, а эта бестия нашла и разбазарила. Ну вот мы счас и гадаем, кого же это она обчистила, а? Не иначе как сорок шестую квартиру, они ведь в загранку ездили.

Чтобы не выдать своего волнения, Эдик юркнул в подъезд. Внутри пространства, занимаемого его телом, царила легкая щекотка. Взлет радости закончился так же быстро, как и начался, и теперь на взбаламученную душу ложилось нечто среднее между му́кой и блаженством. «Приятней всего оказаться жертвой глупой случайности», — подумалось ему, когда он входил в квартиру. В самом деле, что можно сделать против судьбы, начертанной звездами? Ничего. Абсолютно ничего. Ну тогда и стараться нечего!

С этой мыслью он вошел в квартиру, где ему тут же бросился на шею младший сын:

— Папа, папа! Ленка обкакалась!

— Этого еще не хватало, — сказал Эдик, осознавая что-то странное и утешительное в этом обыкновенном известии.

ПРОЗА



АЛЕКСАНДР ТРАПЕЗНИКОВ



УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

РАССКАЗ

Посвящается Н. О.

Ну кто, кто мог подумать, что он окажется вором? Сильный, мужественный, красивый, интеллигентный, чем-то напоминающий американского киноактера Майкла Дугласа, нежно любящий и так же нежно обманывающий... Говорят, сейчас он купил машину. Немудрено, коли один мой перстень стоил без малого три тысячи. Что же говорить о рисунке Корина — ему цены нет. Цена, конечно, нашлась; возможно, в долларах. И плывет мой Корин куда-нибудь в Америку, прощай. Прощай и ты, любезный мой друг, моя горькая и сладкая печаль. Я думаю о тебе с такой ненавистью, что мне хочется встретиться с тобой вновь.

Я прожила с ним полгода. Краешек лета, осень, зима. Вот только весны не было, не долетели. Ну и хорошо, ну и пусть. Не люблю, когда тает снег, и очумелые прохожие перепрыгивают через черные лужи, и наступает пора мыть окна. А просыпается не только природа,

ТРАПЕЗНИКОВ Александр Анатольевич родился в 1953 году в Хабаровске. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института. Работал в издательстве «Просвещение», газете «Советский спорт», во МХАТе.
Первая публикация вышла в журнале «Литературная учеба» в 1984 году. Выпустил сборники рассказов и повестей «Встречи» (1986), «Комментатор Троянской войны» (1988). Являясь специалистом в области восточных видов единоборств, выпустил в свет книгу «Бороться, чтобы побеждать!» (1990).

просыпается дремлющий в нас зверь и рвется на волю, охваченный адским огнем, имя которому — любовь. Неплохо сказано? Плохо. Потому что любовь может быть и сжигающим огнем, и ночной звездой, и тихой рекой, и просто взглядом, брошенным в пропасть.

Когда я с ним встретилась, я уже не жила с мужем. Я его выгнала, отправила к родителям, пусть очухается. Пусть подумает о смысле жизни, сидя у родительского камелька. Слишком он ко мне привык и перестал замечать, и конечно же вообразил, что мне осталась в жизни одна услада — гладить ему брюки и стирать рубашки. Нет, я не против, я люблю ухаживать за мужчиной. Я люблю готовить изысканную пищу, могу одна сделать в квартире ремонт и все такое прочее. Я не белоручка, хотя всем друзьям известна как светская женщина. Но муж как-то подзабыл, что я еще и художница, и в свои тридцать четыре года мое имя известно не только в России, но и на Западе. И выставки были, и от заказов отбоя нет. Но Бог с ним, с мужем, речь не о нем. Уехал и уехал, осталась лишь его копия — маленький Петенька, который, как я подозреваю, не только искренне любит меня, но так же искренне сообщает отцу все, что я делаю. Играет в разведчика. Интересно, откуда у десятилетнего мальчишки такой опыт двурушничества?

И вот представьте, я встречаю Олега. Профессионального сердцееда, милягу-парня с проницательными, жесткими глазами. Любопытно, но мы работаем в одной сфере; он скульптор-монументалист. Правда, без мастерской. И, как я полагаю, без особых средств к существованию. Боже мой, видели бы вы, что творится в его квартире! Там даже боком нельзя протиснуться сквозь разный хлам, коробки, ящики, какие-то деревяшки, и все это он называл «творческой атмосферой». Лишь в глубине комнаты, около окна, девственным островком белела кушетка, до которой и добраться-то было не просто, если не знать потайных троп. Но мы все-таки добрались. Я несколько раз предлагала ему все выбросить и навести порядок, но он только отмахивался. А потом с моего благоволения перебрался ко мне. И я ему дала ключи, и он познакомился с Петенькой, и стал регулярно питаться три раза в день. Странные существа эти мужчины: когда они сыты и ухожены, они как-то глупеют. Как домашние коты, которые не знают, чем бы заняться от скуки и не дать ли деру через балкон на ближайшую свалку. И наоборот: всякий бездомный кот стремится заполучить себе хозяйку, чтобы все равно через какое-то время сбежать на крышу. Пакостники они, эти коты.

Кажется, я все сделала для Олега. Даже предоставила ему свою мастерскую на Арбате. Устроила на работу к одному очень известному скульптору. Познакомила с нужными людьми. Вывела его в свет. А потом... Началось все с духов, которые он мне подарил на день рождения. После Нового года они исчезли. До этого у нас произошла небольшая ссора, а утром флакончика уже не было. Когда я спросила, не забрал ли он свой подарок обратно, он только засмеялся и покачал головой. Ладно, Бог с ним, с «Пуазоном», в конце концов я часто бываю такой рассеянной, что вполне могла положить его в какую-нибудь кастрюльку. Как-то раз я даже закрыла своего любимого одноглазого кота в холодильнике, что не помешало ему приятно провести время среди подружек-сосисок. Но потом исчез перстень, и тут уж я могу поклясться, что он всю жизнь лежал в шкатулке. Это был мужской перстень, память об отце. Кому в этом доме мог понадобиться мужской перстень? Только ему, Олегу. Но это было слишком серьезным обвинением, я еще не могла до конца поверить, что он — вор. Я стала смотреть на него другими глазами, более пристально, глубже, без идиотской любовной пелены. Я подметила, что он довольно неряшлив, скрытен, часто при разговоре отводит глаза. Что ему вообще не хватает культуры. Он не знает элементарных вещей, ни истории, ни литературы, да и в живописи-то плавает, путая Моне с Мане.

Может быть, он вовсе не тот, за кого себя выдает? Может быть, он не скульптор, а диплом им украден или куплен у кого-то? Может быть, он вообще убийца?..

Но мне не стало страшно — во мне забурлила моя испанская кровь (мой отец был из репрессированных испанцев, но о нем — особо). Я устроила Олегу ловушку. Как-то раз я сказала, что пойду в гости к подруге, а вернулась через десять минут: осторожно открыла дверь и на цыпочках прокралась в комнату. Он стоял ко мне спиной и, мурлыча себе под нос, копался в ящиках моего стола.

— Молодой человек, — насмешливо сказала я, — самое ценное в этой квартире — рисунок Павла Дмитриевича Корина.

— Я знаю, — спокойно отреагировал он (даже не дрогнул). — Дойдет очередь и до Корина. А что случилось? Подруги не оказалось дома?

— Представь себе: ее ограбили, и квартира переполнена милиционерами с собаками, — хотелось посмотреть на выражение его лица. — А что ты искал в ящиках?

— Сигареты, — невозмутимо ответил он. — У тебя случайно нет с собой?

Я бросила ему пачку.

— Спасибо, — сказал он. — Жаль подружку. Но я здесь ни при чем. Ведь ты, кажется, подозреваешь меня во всех смертных грехах? И в Улофа Пальме не я стрелял. И колодцы в гражданскую войну тоже не я отравлял.

Я повернулась и ушла на кухню. Что с ним говорить? Мы уже были чужие, мы уже почти ненавидели друг друга. Отчего так произошло? И отчего было так хорошо и прекрасно прежде?

А потом пропал и рисунок Корина — до сих пор жалею, что не отвезла его матери, ведь это была наша семейная реликвия. Тут уж я устроила настоящую истерику, швыряла в Олега все, что попадалось под руку; колотила посуду, казалось, еще немного, и я превращусь в ведьму, вылечу в окно и начну крушить ближайшие здания. Я расцарапала ему лицо и вышвырнула все его вещи с балкона. Петенька заперся в ванной, а он бросил ключи на пол и сказал, что ноги его больше не будет в моей квартире.

— Как же ты догадалась, что это я взял и перстень, и рисунок? — добавил он на прощанье и хлопнул дверью.

Когда он вышел из подъезда, я высунулась из окна и швырнула ему в голову горшок с цветами. Жаль, не попала...

Я сделала так, что его уволили с работы и отказали от всех приличных домов. Мои друзья-художники грозились набить ему морду, вытащить Олега из его логова и гнать до Можайска. Но в милицию я заявлять не стала. Сама не знаю почему. Сама не знаю.

2

Да, я сказал так и про рисунок, и про перстень, потому что был зол на нее. Взбалмошная, сумасшедшая женщина, бестия. Маленькая мегера. Для полноты счастья не хватало, чтобы она заколола меня каким-нибудь испанским кинжалом. Но я не брал этих вещей. Скорее поверю в то, что она сама их спрятала, чтобы была причина для разрыва. К тому все и шло. Стоило уйти раньше, до Нового года, да как уйдешь? Всегда надеешься, что именно ты держишь в руках нить счастья, ты волен выпустить ее или держать еще крепче. А ведь и в ее руках та же нить, вот и выхватываем друг у друга, пока не разорвем пополам. Можно, конечно, связать обрывки, но за одним узелком пойдут другие, до тех пор, пока и вязать-то будет нечего. Грустно и нелепо, противоестественно; и верить-то не хочется, что так все произошло. Так сложилось.

Когда во время той бурной сцены я держал Милену за руки, а она вырывалась, бодалась, кусалась и вообще поливала меня огненными стрелами, я проклял тот день, когда впервые увидел ее. А потом пожалел. Как проклинать то, что послужило началом хоть нескольким месяцам сумасшедшей любви? Любовь и должна быть безумной, отрешенной от всего реального, земного, устремляться к вечным звездам, в космос, к иным мирам, и дальше, дальше, до невозможности понять это. У нас было всего несколько месяцев, но, может быть, этого и достаточно, и больше не полагалось по каким-то там неземным законам? У других нет и того, что было отпущено нам. Не будет больше и у нас. Не будет нашего венчания в церкви, не будет детей и не будет старости, нежной друг к другу. Исчезну и я, и ты, мы уже исчезли, так и не осознав что́ сожгло нас. Маленькая, белокурая хозяйка, понимаешь ли ты, что мы наделали?

Она устроила меня месить глину к нашему великому скульптору и думала, что осчастливила этим на всю жизнь. Так ей хотелось показать свои неограниченные возможности. Но я почти не появлялся на этой работе. Да и мастерская ее была мне не нужна, как и ее связи. У нее вообще завышенная самооценка, какая-то неуправляемая тяга благодетельствовать. А я живу и работаю иначе. Я все делаю в десять раз медленнее, да и то, что сделаю, часто ломаю. Милена думала, что у меня нет заказов. Чепуха, только в прошлом году на горизонте несколько раз возникал один назойливый узбек и предлагал оформить его виллу: барельеф, фонтаны и все такое прочее, а заодно укрепить и домашний зиндан для строптивых слуг. Предлагал двадцать пять тысяч. Правда, первым опробовать зиндан, наверное, пришлось бы мне. Я отказался. Мне вообще не хочется работать на эту проклятую систему: ни разукрашивать дворцы советским нуворишам, ни оформлять Дома пионеров с фигурками Павлика Морозова. Как-нибудь перебьюсь.

У нас с Миленой в жилах течет разная кровь. Взять хотя бы гороскопы. Она обезьянка, я — змея, змий. Удав. Я люблю лежать в тени, созерцать, а иногда гипнотизировать обезьян, помните, как у Киплинга? А она — с легкостью перескакивает с дерева на дерево, верещит, лакомится вкусными плодами и дразнит остальной животный мир. Жизнь для Милены — сплошное удовольствие; она и сексуальна так же, как молодая обезьянка. Ей даже все равно где жить. Она не задумывается об этом. Париж ли, Нью-Йорк, Амстердам — везде у нее друзья, все ее зовут в гости. Просто пожить или навсегда. Как-то раз она сказала мне, что рано или поздно уедет. И то ли в шутку, то ли всерьез предложила махнуть за рубеж вместе. Эмигрировать. Но я, наверное, по-другому воспитан, или у меня мозги устроены иным образом, или я старомоден, а скорее всего просто не смогу оторвать корней и пересадиться на чужую почву — здесь мои предки, в России, здесь и дух мой. Не буду бить себя в грудь и кричать, какой я патриот, но судьбе угодно было, чтобы я родился русским, а не англичанином, так какого черта я должен насиловать душу? Я с глубоким почтением отношусь к другим народам, но здесь — свое, родное, близкое, пусть даже смертельно больное. А в Париж, конечно, слетал бы, посмотрел, что там и как.

Может быть, именно с этого началось наше отчуждение с Миленой? А эти нелепые обвинения в краже просто повод? После того как ты спросила про перстень и стала следить за мной, мне передалось твое напряжение и какое-то ожидание конца. Оставалось поставить последнюю точку. Неужели нельзя было просто поговорить по-человечески? Я хорошо помню, как ты несколько раз намекнула мне, что отправляешься в гости к подруге, чтобы я, дескать, основательно пошуровал в твоих ящиках в твое отсутствие. Что я и изобразил. Потом я слышал, как ты тихонько отпираешь дверь (кстати, она предательски заскрипела на весь дом) и крадешься в комнату. Я чуть не расхохотался, когда ты поймала меня на месте преступления. Я хотел тебя позлить. А неужели ты думаешь, что я мог посягнуть на рисунок Ко-

рина? Я ведь не варвар, милая, я такой же художник, как и ты. Что касается духов... Тут ты сама виновата. Мне было гораздо больнее. Я просто вылил их в раковину, после той новогодней ночи.

Мы пошли встречать Новый год к друзьям Милены — они жили на три этажа выше. Было там человек шесть или семь, и уже вовсю гремела модная «ламбада». Эта латиноамериканская мелодия пропиталась, должно быть, во всех московских домах. Нас встретили, накормили, напоили, и мы пошли танцевать. Милена была неотразима, и мне даже нравилось, что за ней ухаживали все присутствующие брюки. А уж ей-то было каково, ей — обезьянке. Но, видно, она перестаралась. Потому что настроение у меня стало портиться и я хватил лишку. Впрочем, и она тоже. А может, и все остальные, не помню. Помню только, что от нее не отходил один усатый, он прямо прилип к ней как лейкопластырь и все время что-то шептал на ухо, а она смеялась, и они то и дело уходили на кухню. Я же все подливал и говорил какие-то умные речи, которые слушал заснувший за столом хозяин квартиры.

Позже, через два дня, я подумал: неужели несколько бокалов вина обладают такой чудовищной силой, что могут вывернуть наизнанку отношения двух любящих сердец, могут поднять со дна все темное, проявить тайные желания, вплоть до элементарной похоти? Или просто алкоголь катализирует наши чувства, которые и чувствами-то назвать нельзя, до того они мерзки и отвратительны. Вместо любви — разврат, вместо слов — мычание, вместо дружбы — убийство.

Когда я вошел на кухню, они уже вовсю целовались. И я вернулся в комнату и выпил еще. А потом они куда-то исчезли, ушли по-английски. Я посидел еще немножко, чувствуя, что изменить ничего не в силах: есть ситуации, когда в крепости верности остается всего один защитник из двух, и теперь все зависит от него. Но вино, вино... Обезьяны, обезьяны... Я спустился на три этажа ниже и всунул ключ в замочную скважину. Дверь не открывалась — она была заперта изнутри, на задвижку. Лишь с той стороны громко мяукал кот, словно хотел сообщить мне что-то очень важное.

3

Я прекрасно слышала, как он возится с замком и пытается открыть дверь, и представила его перекошенное от злости лицо. Ничего, пусть как следует померзнет на улице, — подумала я. Я была одна, сидела у окна и курила. Назло Олегу я всю ночь танцевала с этим усатым тараканом, но у меня и в мыслях не было пригласить его к себе в постель. А делала я это потому, что увидела, как Олег целуется на кухне с хозяйкой квартиры, и вообще он вел себя безобразно. Танцевал то с одной, то с другой, а на меня даже не обращал внимания, словно он пришел сюда с манекеном и прислонил его к стенке, чтобы не мешал. Я и не предполагала, что он такой дамский угодник. У него, по-моему, вообще слабовато с нравственными принципами и чересчур хорошо обстоит дело с самовлюбленностью.

Он говорит, что любит Россию, здесь его Куликово поле. Слова, одни слова и ничего больше. Как можно любить то, что искажено, словно в кривом зеркале, любить обман, неправду? Если уж говорить откровенно, настоящая Россия сохранилась там — в рассеянных по всему свету очагах русской культуры, среди покинувших страну в разные годы соотечественников, в сохраненных ими традициях, в унесенной с собой вере, памяти, надежде на возрождение; среди колонистов Австралии, старообрядцев Бразилии, потомков русских дворян во Франции, Бельгии, Италии. Здесь — только территория с перекрытым в семнадцатом году кислородным шлангом; там — прошлое России и ее будущее. Святое место превратилось в мерзость запустения,

что уж тут поделаешь: катастрофа, о которой все время твердили большевики, свершилась!

Я не верю, что Олег искренне надеется на возрождение. Почему же тогда он так далек от христианства, от православия? Не ходит в церковь, не знает ни одной молитвы, а когда я пыталась просветить его, только отшучивался. Ему милее всякая восточная бурда, всякие дурацкие йоги и гороскопы, всякие даосы и прочая хиромантия. Он мистик. Ему бы в пещерах Индостана жить, а не в России. Еще святой Феодосий говорил: «Нет иной Веры лучшей, чем наша чистая, Святая, Православная Вера». И без этой веры никакого возрождения России не будет. Пора бы это Олегу понять и зарубить на своем носу. Но, боюсь, атеистические гены поведут его не в ту сторону. Нас по-разному воспитывали: у него перед глазами стояла пентаграмма, у меня — крест; его учили ненавидеть врагов, меня — любить их; он изучал Ленина, я — Евангелие. Когда нас еще не было на свете, мой отец сидел в лагерях, а его — отправлял туда таких, как мой отец.

Когда я узнала об этом — о том, что его отец, оказывается, старый чекист, — я чуть не свалилась со стула. Это было в начале декабря, как раз перед моим днем рождения. Ничего себе, подарочек, — подумала я. Надо же: дочь репрессированного врага народа и сын старого энкаведешника лежат в одной койке. Как это называть — братание? перемирие? отпущение грехов?.. А может быть, назвать эту картину так: «Дети палача и жертвы исправляют ошибки отцов»?

Умом я понимала, что ты здесь ни при чем, — не мы выбираем своих родителей, но всей душой я словно ощетинилась против тебя, хотя и видела твою растерянность. Я понимала, что тебе стоило признаться, какой нравственный барьер пришлось преодолеть. Я даже отдала должное твоей честности, ведь ты вполне мог скрыть сей факт от меня. А вообще-то, все это выглядело, как финальная сцена Дона Жуана с женой убитого им командора. Мне оставалось только упасть в обморок, а я рассмеялась, и не могла остановиться до тех пор, пока не выбила из твоих рук протянутый тобой стакан воды. Ты достал платок и вытер лицо, а потом поцеловал меня, и я не оттолкнула тебя, как хотела это сделать, как хотела, чтобы ты ушел, исчез, потому что ты не знаешь, кем был для меня мой отец, и потому что мне почему-то казалось, что именно они сидели напротив друг друга в три часа ночи, в комнатке с зарешеченным окном, только один из них — в тени, а другой — под ярким светом лампы.

— Что же теперь будет? — спросила я. — Выходит, я предала отца...

— Почему? Из-за меня?

— Я обещала ему даже не прикасаться к тем, кто служил силам Зла.

— Но меня ведь ты к этим силам не причисляешь? — сказал он. — Я рожден в другое время.

— Все равно, — сказала я. — Мне теперь все равно...

У меня было такое ощущение, что где-то в комнате, за моей спиной стоит мой умерший отец, чувствовала его снисходительно-холодный взгляд: так он смотрел на меня в детстве, когда я совершала какой-нибудь проступок. Я знала, какую ненависть он испытывал ко всему, что сломало ему жизнь. Отец будто вернулся сюда, перешагнул незримую границу, отделяющую бытие от смерти, и теперь своим присутствием предостерегал меня от неверного шага. Но что я могла сделать? Проститься с Олегом? Переступить через кровь наших отцов? А Олег молчал, и это было лучшее, что он мог тогда сделать.

Собственно говоря, будь отец живой, мне бы не пришлось долго раздумывать. Конечно, я бы осталась с отцом. Моя любовь к нему была сильнее, чем то чувство, что связывало нас с Олегом. Здесь нет сравнений. Будь отец живой, я бы оставалась с ним всегда, я бы ходила за ним по пятам, я бы оберегала его, ухаживала и кормила,

я бы смотрела ему в глаза и слушала его мягкий, низкий голос. Отец не только подарил мне жизнь, но и научил понимать ее, а на это способен не каждый родитель. Боже, какой дурочкой я бы сейчас была, если бы слушала школьных учителей, читала глупые советские книжки и верила в это ругательное слово — коммунизм. Отец оградил меня от напирающей со всех сторон лжи, он привил мне главное, с чего должно начинаться воспитание,— инакомыслие по отношению к неправде. В детстве он называл меня «принцессой», и произносил это с неизменным почтением, и добился того, что я поверила в его слова. Он брал меня с собой в церковь, к своим друзьям, в дальние поездки. Я ходила с ним в рестораны, ездила на этюды, училась у него рисовать, он даже выбрал мне профессию — я стала художницей. До сих пор я не встретила более благородного и доброго лица. Будь отец живой, он был бы истинным королем, а я у него — любимой принцессой, и никакое горе не тронуло бы нас своим крылом. Будь отец живой...

Но он был далеко, и я, наверное, опять совершила ошибку. Я не рассталась с Олегом — ведь грехи отцов не ложатся на плечи сыновей? И пожалела об этом, потому что через неделю он мне открылся с неожиданной стороны: в нем, должно быть, заговорила чекистская кровь. Он ударил моего сына, можно сказать, избил его — это была отвратительная сцена. Петенька прибежал ко мне на кухню, из носа шла кровь, а следом пришел Олег с искаженным, бледным лицом. Я даже не стала слушать его объяснения, а тотчас же позвонила мужу, чтобы он приехал и разобрался. И Олег — такой сильный и мужественный, такой храбрый защитник униженных и оскорбленных — струсил, бежал. Удрал, как испуганный заяц. Где же твоя смелость, дружок? Что же ты покинул свое поле, несчастный ты воин? Или ты не читал рыцарских романов? Витязь ты мой в кошачьей шкуре...

4

Ты совсем запустила ребенка и даже не видела, во что он у тебя превращается. Я просто щелкнул эту маленькую ябеду по лбу, просто щелкнул, совсем не сильно, но ты, со своим богатым воображением, изобразила меня каким-то Квазимодо, мучителем, исчадием ада. Как же — поднять руку на беззащитного ребенка! А между тем ему давно полагалась хорошая порка, этому твоему Петеньке, смазливому мальчугану с хитрыми и порочными глазками. Я случайно услышал, как он разговаривает по телефону с отцом и жалуется на то, как мы оба издеваемся над ним, чуть ли не морим голодом; меня он называл «противный дядька», а тебя — «злая мамка». Я даже представить себе не мог, что такая чушь может прийти в голову десятилетнему мальчишке. Ведь все это время я старался делать ему только добро. Но тут уж у меня лопнуло терпение, и я щелкнул его по лбу. А дальше — видимо, от волнения — у него пошла носом кровь; ты прекрасно знаешь, как часто это у него случалось. Может быть, он специально расковырял себе пальцем в носу — очень на него похоже. Но ты даже не захотела меня выслушать. Ты сидела как богиня Возмездия и кусала губы, прижимая голову хныкающего Петеньки к груди, и я представляю, какую радость испытывал твой муж, дождавшись наконец-то твоего звонка. Почему ты не сказала ему, что я ударил Петеньку твоим мольбертом или не оторвал ему ухо? Чего уж церемониться. А мужа твоего я не стал дожидаться и решил уйти — ради тебя. Что же нам драку устраивать в твоей квартире, мебель переворачивать? Стреляться с трех шагов мыльными пузырями? У меня был бы секундантом твой одноглазый кот, у него — Петенька. Да он ведь и не приехал, не удосужился.

Между прочим с мужем Милены я познакомился раньше, еще в ноябре. И произошло это так. Однажды Милена получила письмо — обыкновенный конверт без обратного адреса. Самое смешное (впрочем, тогда мне было не до смеха) пряталось внутри конверта. Некая девушка, обращаясь к Милене, писала, что ей двадцать лет, что зовут ее Алла и что уже два года она любит меня, и мы встречаемся, и скоро у нее будет ребенок, и вообще мы должны пожениться, и конечно же я выберу ее, а не такую старую женщину, как она, Милена, с которой я сошелся временно и со скуки, и не надо большого ума, чтобы понять это, а на прощанье она желает Милене счастья в личной жизни, но только без меня. Вот такое письмо на розовой бумаге. Милена прочитала его дважды, потом молча сунула мне под нос. А затем бросила скомканный конверт на пол и заперлась в комнате. И мне стоило больших трудов достучаться до Милены и убедить, что все это — глупейший розыгрыш кого-нибудь из наших развеселых друзей.

Я убедил Милену, но не себя. Потому что здесь пахло не шуткой, а чем-то более серьезным; да так глупо не станет шутить и самый последний идиот. Чтобы выяснить, кто это написал, надо было прежде всего понять — кому была бы выгодна наша ссора? Конечно, никакой Аллы не существовало в природе, но кто-то ведь прятался за этим именем? Кому-то очень хотелось убедить Милену в моей любовной связи с молоденькой девушкой. И мне почему-то захотелось поближе познакомиться с личностью мужа. Милена не была с ним разведена, и, судя по ее словам, ему бы очень хотелось восстановить статус-кво, перебраться обратно к удобной во всех отношениях жене. Через день, когда Милены не было дома, я немножко порылся в старом хламе и раскопал несколько пожелтевших студенческих конспектов ее мужа. Хотя письмо было написано явно измененным почерком — буквы ложились влево, а не вправо, как обычно, — меня привлекла схожесть трех согласных: Р, Т, Н. В письме они писались по-разному — почти везде по-печатному, но в двух-трех случаях с характерным хвостиком — так же, как и в конспектах. Очевидно, автор письма не всегда мог удержаться от привычного написания этих букв, кстати, наиболее часто встречающихся в словах. Р, Т, Н я обвел красным карандашом в письме и конспекте и готов был поспорить об их идентичности. Теперь мне оставалось только познакомиться с самим автором, беременной девушкой по имени Алла.

Когда я приехал к нему домой и позвонил в квартиру, дверь открыл розовощекий толстяк моего возраста. Этого изнеженного искусствоведа можно было бы при желании свалить одним толчком, я ведь в отличие от него работаю с глиной, а не с бумагой. Но выглядел он так испуганно, что планы мои изменились.

— Здравствуй, Алла, — сказал я. — Так на каком ты сейчас месяце? Судя по животу — на последнем.

— Что вам угодно? — спросил он, несколько утратив розовощекость.

— Спокойно, товарищ муж, — я сжал его локоть, чтобы он не успел ретироваться в квартиру, и показал письмо. — Классная работа, а?

Глазки его забегали, и он как-то обмяк, словно проколотый мячик.

— Н-не понимаю, — выдавил он из себя.

— Нехорошо писать подметные письма, — я еще сильнее сжал его локоть. — Это чревато неприятными последствиями. Можно ушибиться.

— Но я... просто шутка... Что вы себе позволяете? — он слабо вырывался, то хмуря брови, то жалко улыбаясь. — Ну написал, а что? Подумаешь, дел... И хватит об этом, и все. Мне пора, пустите.

— Значит, так, — я отпустил его локоть, — отныне вы прекращаете свою раскольническую деятельность и оставляете нас в покое. В

противном случае вынужден буду принять самые строгие меры, вплоть до физического воздействия. Я понятно выражаюсь?

— Понятно, — он проворно шмыгнул назад в квартиру и захлопнул дверь. «Нас не запугаешь!» — донесся до меня его голос.

Я покачал головой. Как Милена могла жить с этим куском теста? Есть ли у нее глаза? Дело не только в муже, взять ее друзей, с которыми мне пришлось общаться: это же какой-то паноптикум выродившихся богемных себялюбцев, ходячий фотоальбом комнатных гениев. Я их терпеть не мог, а после того, как один из них предложил мне хорошенько подзаработать — намалевать серию предвыборных плакатов, вообще стал уклоняться от встреч с ними. Дело не в том, что меня оскорбило это предложение, просто я не собирался поддерживать тех, кто на всех углах кричал о демократии, зазывая на помощь богатого дядюшку из-за океана. Что им Россия? Они распродадут ее по частям, по кускам. Сейчас они толпами хлынули из партии, а ведь в самый застойный период из кожи лезли вон, чтобы пробраться в нее. Жили себе припеваючи и похваливали систему. Быстренько поменяли плюс на минус. Как же можно им верить? Впрочем, наш народ всегда верил тем, кто громче кричит, кто больше обещает. Надежда-то умирает последней... Эти новоявленные радетели за всеобщее счастье прекрасно понимают, что прежде всего надо захватить власть, пусть даже для этого придется разогреть толпу воинственным кличем о грозящей опасности и натравить ее на какую-нибудь другую толпу, пусть порежут друг друга, ничего, в стране еще много народа. Безумцы, так ничего и не понявшие в тысячелетней истории России. Неужели снова будет война, кровь, смерть? Будет ли когда-нибудь утешение в покое?..

Как ты взвилась, когда узнала, кто был моим отцом. Но я не сказал тебе одного, не хотел. Ты уже заранее увидела в нем врага. Но пока не примирятся мертвые, не будет мира и между живыми. Я не сказал тебе, что мой отец покончил с собой в пятьдесят девятом году, не выдержал. Русскому человеку свойственно брать на себя вину тех, кто припеваючи живет и сейчас. А он был порядочный и честный человек — это подтвердят все его друзья, и немало людей он спас, рискуя собственной жизнью. Но, осудив себя, он сделал шаг к примирению с твоим отцом и — кто знает? — возможно, теперь они вместе глядят на нас, на всех нас, как на ссорящихся детей, улыбаясь и недоумевая, как мы не утешимся той жизнью, что пока еще есть. И не могут поведать нам ту тайну, которая уже открыта им.

В октябре я должен был на неделю уехать в Смоленск, где похоронен мой отец и где живет моя мать. В эти дни собираются все наши родственники, чтобы почтить память об отце. Но я не мог, тогда еще не мог сказать Милене, зачем я еду. А Милена сделала все, чтобы я почувствовал какую-то вину перед ней. Я не мог понять, почему она так болезненно это восприняла? Словно я бросал ее, исчезал навсегда.

— Если ты любишь меня, ты останешься,— сказала она.— Поедешь в другой раз.

— Но почему? Что произойдет? — пробовал я объяснить. — В конце концов я езжу на родину раз в году. Меня ждут. И мать, и сестра.

— Ничего страшного, подождут.

— Но я должен ехать.

— А я? Что буду делать я?

— А ты будешь рисовать и нарисуешь самым черным цветом мой отъезд в Смоленск, — я все еще хотел отшутиться, но она упрямо стояла на своем: это был какой-то каприз, прихоть и даже в самом ее голосе слышались капризные нотки.

— Нет, — сказала она. — Я хочу, чтобы ты остался. Задержись. Ради меня. Хотя бы на три дня. А потом поезжай.

— Это невозможно, — мне казалось, что смысл ее слов иной, она словно говорила мне: я — самый близкий теперь для тебя человек, будь со мной, здесь, а там — только звуки и отблески прошлого, лишь колыхающееся пламя свечи. Что ж, этого следовало ожидать, потому что даже к собственной матери она относилась со снисхождением, а не с любовью. А как бы она взвилась, если бы узнала, что я еду поклониться могиле отца? Наше противодействие, достигнув пика, закончилось неожиданно.

— Хорошо, поезжай, — спокойно сказала она. — Я найду чем заняться.

Милена проводила меня на вокзал, но расстались мы прохладно. Я видел, как она шла по перрону в своей кокетливой вязаной шапочке, маленькая и независимая, и все встречные уступали ей дорогу. В поезде я все время думал о ней, курил, и какая-то пугающая пустота неслась за окнами вагона; а вернувшись, я застал тебя такой потерянной, что у меня сжалось сердце, и ты накричала на меня, потом заплакала и повторяла, чтобы я никогда больше, «слышишь?», никогда не оставлял тебя одну, никогда. И я обещал, что теперь всегда буду рядом с тобой. Что бы ни случилось.

5

Когда он уехал в Смоленск, я провела страшную неделю — я не находила себе места, у меня все валилось из рук. Я думала, что сойду с ума. Мне казалось, что я больше никогда его не увижу, что он разобьется в этом проклятом поезде или его убьют какие-нибудь пьяные хулиганы. Я плакала днем и ночью; наверное, у меня совсем сдали нервы. Мы были знакомы с ним только три месяца, а я уже не могла расстаться с ним даже на три дня.

А ведь сначала я решила ему в отместку закатить грандиозную пирушку со своими друзьями. Я обзвонила всех, сходила на рынок и накупила гору продуктов, зелени, мяса, приготовила массу всевозможных салатов, плов, жареную индейку, пирог с рыбой, испекла торт, — на сто человек. Соседа (влюбленного в меня лет пятнадцать) послала в винный магазин, и он притащил на своих могучих плечах ящик грузинского вина «Псоу», за что заслужил невинный поцелуй. А когда все это изобилие расположилось на столе, я надела свое лучшее платье, купленное в Париже, и удобно устроилась в кресле. Но пока я ждала гостей, что-то со мной произошло. Я вдруг почувствовала, что никого не хочу видеть, кроме тебя, никого. Что весь этот королевский ужин приготовлен для тебя, и именно ты должен сидеть во главе стола, а не какой-нибудь полуголодный обормот, а я должна наливать вино в твой бокал. Почему ты уехал?

И я сидела, слушала, как звонят и стучат в дверь, как трезвонит телефон и бросают камешки в окно, но никому не открыла и никого не впустила в свой дом. Я откусила яблоко и выпила бокал «Псоу», провела рукой по лицу и поняла, что уже давно плачу, а остановиться нет сил. Я вспомнила себя маленькой, и отца, и заплакала еще сильней. Я так одинока, если бы ты знал. И самое грустное, что таких одиноких на нашей земле миллионы людей, а может быть, и все. И ты одинок, и мой муж, и Петенька, только он еще не догадывается об этом. И праздничная пирушка, если бы она началась, все равно закончилась бы одиночеством. На короткое время мы сливаемся с родственными душами, а потом кто-то предает, кто-то уходит, кто-то умирает; а мы с тобой, как два комочка тополиного пуха, кружимся около друг друга, пока нас не отнесет в разные стороны налетевший ветер, и две нежные души продолжат свой полет.

Накануне твоего отъезда ты сказал: «Выходи за меня замуж»... Странно, а я не была удивлена, я будто ждала этого. Мы сидели в полутемной комнате, был вечер, и на столе горела свеча, и было

какое-то умиротворение во всем — и в нас самих. Мы смотрели на пламя и были здесь, и далеко отсюда, словно унесенные в море путешественники, очнувшиеся среди водной глади. На земле ли, нет? Казалось, куда — спешить? Не лучше ли довериться воле волн? И нужен ли берег — нам? Не прошло и трех месяцев нашей близости, трех месяцев, в которых не было ничего плохого, ничего горького, только люооовь. Мы же ничего не знали друг о друге, кроме одного: как до этого мы умудрялись существовать порознь? Не смешно ли? Я ответила: «Давай подождем...» Не потому, что так берегу свою независимость, нет. Любой женщине хочется прилепиться к мужу, потому что «будут два одной плотью», как сказано в Евангелии. Хочется укрыться за ним, и верить в него, и оберегать, и делить все поровну. И идти следом, защищая спину. И я такая же. Я была бы тебе самой верной из всех преданных жен, самой любящей из всех любивших на этой земле. Мы могли бы обвенчаться в церкви — в Елоховском соборе — вместо этой ужасной регистрации, где ставят какое-то клеймо на сердце; я сшила бы подвенечное платье, и мы были бы самой прекрасной парой. Ты и я.

Я ответила так потому, что казалось, все — впереди. Так думают все влюбленные, начиная с Адама и Евы, пока в их маленький и чистый мир не вползает змея. А сейчас я часто вспоминаю одну легенду, которую мне рассказывал в детстве отец. В каком народе она родилась — не имеет значения,— в России, Испании или на Аравийском полуострове... На берегу озера жили счастливые мужчина и женщина, и с ними их юный сын. Они ушли от людей, потому что мальчик мог видеть на много лет вперед, но не замечал того, что его окружало. Молчаливый и задумчивый, тихо сидел он на крыльце и встречал возвращавшегося с охоты отца глубоким, как бездна, взглядом. Однажды в грозу в окно их дома кто-то постучал.

— Не открывайте дверь, — сказал вдруг мальчик.

— Нет, это путник, — возразил отец. — Он устал и продрог.

— Тогда уберите со стола воду и хлеб, — сказал сын.

— Нет, — ответила мать, — он голоден.

Отворилась дверь, и мужчина с женщиной удивленно вскрикнули, а сын хранил горестное молчание. На пороге стояла прекрасная девочка, и была она обнажена, лишь золотые и серебряные браслеты украшали ее тело, словно сверкающая чешуя. А глаза ее были прозрачны и холодны. Когда же она вошла, острой иглой кольнуло сердце у всех троих, но только на миг.

«Какое прелестное созданье», — подумал отец.

«Какие драгоценные украшения», — подумала мать.

«Какое несчастье», — подумал сын.

И случилось так, что они приютили ее и оставили у себя жить, не спрашивая, кем послана она в их мир.

Прошло несколько лет, и дети выросли. Мужчина уже не ходил на охоту, а женщина не занималась хозяйством, потому что на проданные драгоценности был построен новый большой дом, в котором слуги исполняли любое желание хозяев. И все готовились к тому дню, когда юноша и девушка должны были пожениться. Но не было между ними ни любви, ни желания. Другая любовь зрела рядом. Уже давно мужчину охватывал жар при мысли о ней, этой девушке, и он завидовал сыну, и ненавидел жену, и проклинал себя, а она словно манила его, затягивала прохладой прозрачных глаз. А женщина совсем помутнела от роскоши и достатка, и лишь покрикивала на слуг да слушала заморских райских птиц. Сын же все чаще и чаще удалялся один в лес и в отчаянье падал на землю, потому что с того самого дня, как в дом их ступила ночная гостья, он перестал видеть будущее и все явное стало для него тайной. Однажды он услышал подле себя шорох, а подняв голову, увидел ее.

— Уходи, — сказал он, — покинь наш дом. Пусть все будет как прежде, когда мы были счастливы одни, втроем. Я видел Свет, и мне этого было достаточно. Родители мои смотрелись друг в друга, и большего им было не надо. Зачем ты пришла?

Сияя под солнечными лучами, она произнесла:

— Я разбудила вас. Вы лишь получите то, что всегда желали. Женщине достанутся все земные блага и утехи, мужчине — не изведанная им любовь, а тебе... Нельзя владеть истиной и жить среди живых, отныне ты будешь только стремиться к ней, только мечтать. Смотри — я выправила вас.

— Я убью тебя, — сказал юноша.

— Это невозможно. Ведь я не существую.

— Но ты здесь.

— Вот видишь — еще одна тайна для тебя.

Юноша выхватил меч, но сталь лишь рассекла воздух, а где-то неподалеку раздался ее серебристый смех.

— Утешься, — крикнула она, — эту грань тебе переступить пока не под силу.

И меч еще раз сверкнул на солнце и вонзился в обнаженную, юношескую грудь... Много дней мужчина и женщина и их слуги искали сына и девушку, но так и не нашли. Вскоре мужчина покинул дом, не сказав никому ни слова. Разбежались слуги, прихватив с собой хозяйское добро. А женщина осталась одна, безумно вглядываясь через открытое окно на дорогу. И каждый день на крыльцо приползала большая змея, словно возвращаясь в потерянный ею мир.

6

Мне кажется, Милена никогда не вышла бы за меня замуж, и предложение мое восприняла равнодушно, попросту отмахнулась от него; и больше я к этой теме не возвращался. Быть может, она права, скоропалительный брак — плохой багаж на длинном пути, это удел совсем юных сердец. Да и все последующие события показали, насколько мы разные люди. Пусть это не выглядит кощунственно, но мы как две половинки России, разделенные временем и судьбой; мы тянемся друг к другу и пытаемся соединиться, слиться воедино, дополнить себя, а не любить украдкой, но между нами — пропасть, и мы оба можем сорваться в нее. Да, меня лишили веры в Бога, но не смогли стереть память, не вытравили христианские заповеди. Убили, но не до конца. Я еще на границе жизни и смерти, как и ты, Милена. И я знаю — пройдет безумное поколение, идущее за нами, — и дети наших детей будут похожи на наших предков, милосердных, добрых и человеколюбивых.

Когда мы так нелепо разошлись, что-то надломилось во мне. Я говорил себе: «Забудь. Ничего страшного не произошло. Просто закончилась одна сказка и начинается другая». Но я мог повторять это сто сотен раз — безрезультатно. Я мог даже завести полдюжины любовниц и называть каждую, как Робинзон Крузо, днем недели, но и они не отвлекли бы моих мыслей от нее, Милены. Впрочем, я и оказался выброшенным на необитаемый остров, жаль только, что этот чертов корабль не затонул вместе со мной. Я проводил дни и ночи в своей квартире в окружении пустых и полных бутылок, иногда спускаясь в винный магазин напротив для пополнения запасов, и чувствовал, что меня там уже принимают за своего, родного. По-моему, я ничего не ел в это время. Можно почерпнуть достаточно калорий и в отечественном портвейне. Однажды — было ли это утром или вечером — в дверь позвонили, и, должно быть, мучили звонок долго, потому что я очнулся в кресле со стаканом в руке и не смог сразу сообразить, что это за переливчатая трель наполняет комнату. «Это Милена», — подумал я и пошел открывать, запнувшись по дороге о гипсовую голову, полную окурков. Голова, как футбольный мячик, отлете-

ла к стенке и раскололась. Но на пороге стояла не Милена, а сосед.

— У тебя такой вид, — сказал он, — будто ты пьешь целую неделю.

— Две, — ответил я. — Проходи.

Он брезгливо отказался от отличного розового портвейна, и я не стал его уговаривать, очень нужно. Потом сосед положил на стол небольшую коробку, открыл ее и достал пистолет.

— Вот, — сказал он. — Испанского производства. И к нему две обоймы. Всего за семьсот.

— Беру, — сказал я. — Может, все-таки выпьешь?

— Только не эту гадость, — и он достал из кармана бутылку виски.

У него был с собой, очевидно, не только оружейный, но и винный магазинчик. А если покопаться, то нашлись бы и товары тяжелой индустрии.

— Деньги сразу, — сообщил он. — А то еще застрелишься, с кого я тогда возьму долг?

Он пил виски, а я портвейн, он клялся мне в верной дружбе, а я — ему, а потом мы подрались, но слегка, для профилактики: что-то он такое загнул насчет женщин. А когда я проснулся, на столике, дулом ко мне лежал пистолет, и мне уже гораздо меньше хотелось покончить с собой, чем тогда, вечером, когда ушел мой сосед. И почему-то мне вспомнилось раннее сентябрьское утро, озеро, окруженное соснами, и лодка, в которой два человека: я и Милена. Вокруг ни души, и только в четырех километрах от берега в покосившемся домике живет старый карельский дед, у которого мы остановились. Озеро называется Паюламмет и в нем полно рыбы. А по берегам — грибы, а на солнечных полянах — брусника, и мы с жадностью горожан набрасываемся на нее и горстями отправляем в рот. В озере играют рыбы, и наконец-то восходит солнце, словно приближающийся с востока пожар. У нас одна удочка на двоих, и мы пытаемся что-то поймать, но у нас ничего не выходит: ни я, ни ты не рыбаки. Ты достаешь термос, и мы пьем обжигающий крепкий кофе, а сосны отражаются в воде в полный рост, преломляясь лишь на гранитных глыбах. Такое ощущение, что сейчас нам откроется какая-то тайна, за разгадку которой можно заплатить жизнь. Я забрасываю удочку в последний раз и вытаскиваю огромного окуня; леска натягивается, готовая оборваться, и я веду его к лодке, дрожат руки, а ты что-то кричишь в азарте, и вот он уже сверкает чешуей на солнце, но — все равно срывается с крючка и исчезает в темной от ила воде. «Давай прыгнем за ним», — говорю я. Вода такая теплая и чистая, что действительно хочется искупаться. Мы раздеваемся, сбрасываем всю одежду, и кажется, что девственная природа становится нам еще ближе, и мы всей кожей слышим ее ровное дыхание и переступаем черту между суетой и покоем. Мы прыгаем в воду одновременно, а лодка чуть не переворачивается, и тут ты говоришь, фыркая, как игривая русалка: «Знаешь, а ведь я совсем не умею плавать». «Чепуха, — отвечаю я. — Самое смешное, что я тоже не умею этого делать». И смеясь, мы хватаемся за борт лодки, которую медленно сносит к берегу...

7

А помнишь, как в августе мы ходили по ночам в Крылатское и катались там на роликовых коньках, словно молодые идиоты? Это ты придумал, будто нам нечем было ночью заняться. Но все равно это было здорово. Мы мчались по крутым дорожкам, два очумелых от счастья и скорости кретина, а запоздалый прохожий крутил у виска пальцем. А что думали на далеких звездах, глядя на нас? Нет, не шальное озорство это было, а освобождение. Я словно сбросила с себя какую-то тяжелую и тесную одежду; я летела, зажмурив глаза, потому что

ты был рядом — я в самом деле летела. Ты уверял, что старый фигурист, но как-то раз мы так с тобой кувырнулись, что протащились по асфальту добрых двадцать метров. Мы набрали полный букет ушибов, синяков и шишек, как еще вообще не убились... И прихрамывая, постанывая, поддерживая друг друга, добрались до моего дома. Ну не идиоты? И главное, той же ночью не удержались от любви. Да нас, наверное, не остановили бы и более серьезные переломы. Даже смещение позвонков. По крайней мере мы бы постарались.

Но это было потом, а сначала ты первый раз увидел меня на пляже, на Оленьих прудах, в Сокольниках. Стояла дикая жара, я только что вернулась из Болгарии, загорев, как мулатка, и мы с сыном сидели под деревом на травке: он читал, а я вязала какую-то ерунду. Ты подошел и бросил свою сумку рядом с моей. Потом, не говоря ни слова, повернулся и пошел к воде.

— Можно прилечь у ваших ног? — услышала я твой голос.

— Как вам угодно, — почему-то ответила я, хотя хотела сказать совершенно другое. И ты растянулся на траве и притворился спящим, но из-за полуопущенных ресниц смотрел на меня.

— Перестаньте глазеть, — сказала я.

Ты вздохнул и отвернулся.

— Говорили же мне, не ходи ты на этот пляж, — сказал ты.

— Что вы там бормочете?

— Так, про себя. Теперь уж я никак не могу уйти. Вот влип. Лучше бы я пошел в картинную галерею.

— У вас когда начинаются процедуры, надолго отпустили?

— Да вы не пугайтесь, я совершенно нормальный человек. Можно я буду смотреть на вас, когда разговариваю?

— Ладно, — согласилась я, — валяйте.

— Конечно, встретились — поболтали — разошлись. Завтра вы меня уже и не вспомните.

— Да и сегодня вечером, пожалуй.

Петенька уже давно не читал, а прислушивался к нашему разговору. И я подумала, что пора и собираться домой.

— Мне пора, сударь. Вы были очень любезны, что скрасили мой досуг.

— Какие пустяки. Позвольте пригласить вас отужинать со мной в девятнадцать ноль-ноль в ресторане «Берлин». Дело в том, что у меня сегодня день рождения, я заказал столик, но пригласить некого — все разъехались... Лето, знаете ли, пора отпусков...

— Увы, — сказала я, — у меня иные планы на вечер. Но все равно, примите мои поздравления.

— Я приму их только в девятнадцать ноль-ноль, — сказал ты.

И я ушла, помахав тебе ручкой. Но, как видишь, — недалеко.

В ресторане ты сидел напротив меня, а что мы говорили — я не помню, да это уже было и не важно...

А теперь за окном идет снег, и напротив меня сидит старый кот и смотрит грустным, зеленым глазом, и я осталась одна. Нет, не одна. Со мной Петенька и муж, вернувшийся ко мне «в утешение». Семья воссоединилась, возрадуемся! Муж тихонько ходит по кухне и пытается что-то приготовить. Господи, ну почему, почему мне все время хочется называть его Олегом?..

8

...Перстень Петенька носил в школьном портфеле, в пенале. Он еще не решил, что с ним поделать — то ли выбросить, то ли выменять на что-нибудь полезное. А рисунок Корина он изорвал и выбросил в мусорную кучу. Главного он добился: дядьку выгнали, а папа вернулся домой. И теперь каждую Божью ночь он засыпал со счастливой улыбкой.

Август—сентябрь 1990 г

ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ



ДРУГОЙ ПРИВИДЕЛСЯ МНЕ СВЕТ

Стужа

Колюче-острый, тонкий, синий,
Неистребимой тенью крыл
Неодолимо цепкий иней
Необозримо всё покрыл.

Не из-за пастбища примчала,
Не из-за озера пришла,
Не с высоты на землю пала —
Из темных пор земли взошла!

* * *

Чтобы в избе теплее стало,
Был должен печку затопить.
А перед тем — в избу немало
Поленьев звонких наносить.

А перед тем — в снегу искристом
Поленьев звонких нарубить.
А перед тем — в лесу смолистом
Дров огненосных напилить...

Теперь звенящими дровами
Давно я печку не топлю.
Теперь хрустящими утрами
Давно поленьев не рублю.

Да и дрова пилой не режу —
Другой привиделся мне свет.
Да и за ними в лес не езжу.
Да ведь его и вовсе нет!

— Свободой вдруг отяготился?
Не сам ли к ней всю жизнь
стремился?
Да и о лесе, друг, молчи.
Не сам ли сжег его в печи?

* * *

— Ну, кто бесплодно там судачит —
Тревожит тени прошлых лет?
Злодейства не было. А значит,
И виноватых — тоже нет.

— Ну, как же не было, коль было?
И вот его страшнейший след.
— Так было, значит? Ладно. Было!
Но виноватых
Все же
Нет!

Кулак

— Своих овец ты мирно пас.
И нес лугам свой мирный сказ.
При чем же тут враждебный класс?
Тут есть какая-то неясность...
— А это все и есть как раз
Для нас — смертельная опасность.

Новая песня

— Так нечаянно душу тревожа,
Разливается, горько-грустна.
Небурлива, равнинно-родна.
— Чем нова этой песни волна?
— Так глубинно, глубинно похожа
На старинную
Песню
Она!

* * *

Валки налево и направо.
Как будто волны на лугу.
А я, а я за скирдоправа
Стою с граблями на стогу.

Волной клубясь и наплывая,
И темной тучей подступая —
И с головою накрывая —
Трава шуметь не устает.

И на глазах, как бы взбухая,
Мой стог растет, растет, растет.

И вот почти что с облаками
Уже сравнялся высотой.
И вот, высокий, под ногами
Зашевелился, как живой.

Все выше, выше я взлетаю,
Все у́же башню возвожу.
Но вот кидают мне вожжу —
На землю твердую ступаю!
И в синь небесную гляжу!
И взлет свой тяжкий продолжаю!

* * *

— Но как назвать его поэтом?
Он этим счастьем обделен.
Поет закаты и рассветы.
Совсем не знает жизни он.

— В реке живой огонь потушен,
Затравенела поля гладь,
Отец расстрелян, дом разрушен.
О чем ему еще писать?

КАЗАНЦЕВ Василий Иванович родился в 1935 году в Томской области. Окончил Томский университет. Автор поэтических книг «Дочь», «Прощание с первой любовью», «Таина» и других. Член СП СССР. Живет в подмосковном городе Реутово.



ПОЭЗИЯ

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ



НЕ ПРОЖИТЬ БЕЗ РОССИИ

* * *

Что запомнилось? —
Запах рабочей воды.
Исходящий от спящей, но долгой,
испитой, но бессмертной, как дух, Красоты,
распростертой в долине — над Волгой.

А еще вспоминаю «нарпит», винегрет,
на причальной террасе буфет старомодный,
возведенный купцами за дымкою лет,
и — буфетчица с доброю мордой.

И бедовую, взор окунавшую в грусть,
воровато-прелестную деву... и знаки
приглашенья назад, в непорочную Русь,
в допетровские, медом пропахшие мраки.

...Кинешемские звоны, летящие вдаль,
кинешемские улочки, пьющие Волгу.
Что осталось? —
Осталась большая печаль.
И любовь, о которой потом.
Втихомолку.

ГОРБОВСКИЙ Глеб Яковлевич родился в 1931 году в Ленинграде. Автор нескольких книг стихотворений и прозы, в том числе «Поиски тепла», «Возвращение в дом», «Черты лица» и других. Член СП СССР. Живет в Ленинграде.

Могила Павла Флоренского

Там воздухи текут и журавли,
там слезы зреют, свет плывет
с востока...
Где это, где? —
в пределах всей земли.
Там, где возник он по веленью Бога.

Прозрачные озера, валуны,
душистая прохлада белой ночи...
Где это, где? —
на севере страны.
Там, где страдал он, камня одиноче.

Степной ковыль, лед вечной
мерзлоты,
тайга, суглинок или мох болотный.
Где это, где? —
внутри людской среды.
Там, где исчез он, став средой
природной.

Этап кандальный, снежная крупа.
Владыка в рубище... Но почему —
красивый?!
Что это, что? —
великая судьба.
А где могила? — Родина, Россия.

Могила Ильи Муромца

Занесло стерню жнивья
белым снегом...
Был ли Муромец Илья
человеком?
Обвела сыр-бор заря
опояской...
Или, трезво говоря,—
был он... сказкой?
Было, было! Шум ветвей,
голос вьюги,
и разбойник Соловей
пел в округе!
Верю, верю, цвел во мгле
взором синим
в Карачарове селе
добрый сидень.
...Слышишь, дышит тишина
мощно, мудро?
А могила... где она?
Город Муром,
снегом крытые поля,
пух погоста?..
Просто — русская земля,
память просто.

Памяти П. А. Столыпина

Что знали мы о нем? Чем славен в жизни он?
Что муж сей — изобрел «столыпинский вагон»? —
железную тюрьму на чугуне колес?
Что пышных не имел на голове волос?
...А то, что он лихой не миновал судьбы?
Как царь, хотел поднять Россию на дыбы?
Снять нищету, как слой? Чтоб Китеж, как Париж?
Чтоб лапти с ног долой? Долой солому с крыш?
Чтоб треснул, как сухарь, заплесневелый быт?
Спросите у себя, за что он был убит?
За то, что взмыл, орел?
(Шум славы — шум дождя...)
За то, что приобрел авторитет вождя?
А может, сатане, гуляке-Октябрю,
развесить помешал кровавую зарю?

Без России

Ночью двое вороватых
подшофе — в поту, в росе —
пограничный, полосатый
столб вкопали на шоссе.

Получилось криво, худо —
торопились; как смогли...
Пусть на миг, но отчий хутор
от России — отсекли!

...Утром — шум. Скандал, тревога.
Дыбом деды и отцы!
И — напрасно. Слава Богу:
отсекли — и молодцы.

Отделились, и прекрасно.
Отвалили, и привет.
Поясню, кому не ясно:
подневольной воли нет.

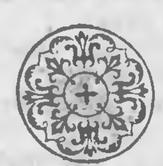
Ну, а мы, хоть голы-босы,
проживем без них не зря:
для услады есть березы,
для волнений — синь-моря.

Хлеба нету? Эка жалость!
Колосились бы умы.
Оклемаемся, пожалуй,
от друзей, как от чумы.

Право слово, хоть жестоко:
иногда, чтоб вновь дружить,
очень нужно — одиноко,
без приятелей пожить.

...Матерясь, с утра бригада
столб корчует фронтовой.
Без России, как без мата,
не прожить, хоть волком вой!

Без России? Эка диво!
А попробуй: как без слез...
Без кровавой, шелудивой,
в белом венчике из роз!



ПРОЗА



ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

БАРБАРОССА

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ

16. ПО СИГНАЛУ «ДОРТМУНД»

Еще в начале 1939 года, в канун появления в Москве Риббентропа, всем нашим военным вменялось в обязанность читать роман Николая Шпанова «Первый удар»; товарищ Сталин, бдительно следивший за идейным развитием советской литературы, горячо рекомендовал эту книгу своим полководцам; интересно — что же именно нравилось ему в этой книге? Придется мне процитировать:

«Германия нападение на СССР начнет после обеда, а точнее в 17 часов. Через одну минуту после пересечения фашистскими самолетами советской границы их встретят наши истребители. В 17.30 фашистские самолеты уже с позором будут изгнаны из воздушного пространства СССР. В 19 часов советские ВВС, выполняя сталинский приказ «бить врага малой кровью и на его территории», нанесут воздушный удар по фашистской Германии. Немецкие рабочие под советскими бомбами будут петь «Интернационал» и будут бастовать».

Вот оно как! Даже погибая под нашими бомбами, немцы все-таки не забудут хором исполнить «Интернационал»...

Всего 18 дней не дотянул до войны с Россией император Вильгельм II: он скончался 4 июня 1941 года, уверенный, что в походе на Восток его преемнику повезет больше, нежели повезло ему, кайзеру. После того как появилось это глупейшее «Сообщение ТАСС», генерал Кейтель срочно оповестил вермахт приказом: «Намерение к войне с Россией *можно уже не маскировать...*» Все генералы Гитлера восприняли это спокойно, один только Гейнц Гудериан что-то еще долго ворчал относительно того, что, мол, мы еще не знаем о количестве русских танков. Но «быстроходный Гейнц» был сразу высмеян его коллегами и даже... даже был назван «паникером»!

20 июня гестапо провело аресты немцев, которые, симпатизируя России, бывали гостями в советском посольстве.

— Когда начнутся операции на Востоке,— предсказывал Гитлер,— мир затаит дыхание и никаких комментариев не последует. Рузвельт не расстается с насосом даже во сне, подкачивая воздух в Англию, чтобы этот островок не затонул от моих бомбежек. Но моя решительная победа над Россией заставит Черчилля смириться перед моими требованиями. А в сорок втором году мы принудим Вашингтон к нейтралитету или же спустим Рузвельта с лестницы Белого дома заодно с его инвалидной коляской...

В западных районах СССР было замечено оживление спекуляции среди жителей, лишь недавно получивших советские паспорта; уже не таясь, люди говорили о близости войны. Они спешили истратить советские деньги: магазины разом опустели — ни продуктов, ни тканей,

---

Продолжение. Начало в №№ 2, 3 за 1991 год.

ни обуви, ни спичек... 18 июня нашу границу перешел гитлеровский солдат, молодой парень, и добровольно сдался пограничникам.

— Почему вы это сделали? — спросили его в штабе.

— Недавно я здорово выпил и дал офицеру в морду. Мне грозил трибунал, вот и решил спасаться у вас. Могу повторить уже сказанное пограничникам: ждите нападения. Разве вы сами не слышите по ночам шум танковых моторов?

— Чем вы можете доказать свои слова?

— Ничем!— ответил перебежчик.— Договоримся так: если я обманул вас, 22 июня можете меня расстрелять.

Об этом было доложено наверх. А сверху обозвали всех чуть ли не трусами и всем дали хорошую вздрючку:

— Не поддавайтесь на провокации! И так ясно, что ваш фриц налакался шнапсу, дал кому-то в рожу, теперь у него огузник трясется, вот и намолол со страху... Откуда мы что знаем? Может, и этот солдат подослан нарочно, чтобы проверить нашу реакцию на бдительность? Пакт о ненападении заключен, и нет поводов для тревоги.

Паулюс спланировал нападение в трех генеральных направлениях: «Север» (ленинградское), «Центр» (московское) и «Юг» (киевское). Три мощные группировки, подобно глубоким клиньям, должны сразу же расчленить Красную Армию на части, которые потом удобнее громить по флангам. 21 июня в 13.00 по берлинскому времени армии вторжения получили долгожданный сигнал «Дортмунд», означавший, что уже ничто не в силах отменить вероломное нападение. Часы в кабинетах генштаба отщелкивали последние роковые минуты...

— Что за таблетку ты проглотил, Фриди? — обеспокоилась жена Паулюса.— Разве у тебя болит голова?

— Я принял лишь первитин, дорогая Коко.

— Это вредно для нервной системы, Фриди.

— Знаю. Но первитин позволит не спать несколько суток. Ближайшие дни вряд ли я буду ночевать дома...

«Мерседес» Паулюса ловко вписался в общий поток машин, выруливающих на Унтер-ден-Линден. Когда миновали советское посольство, шофер спросил генерала:

— Правда ли, что у них сервиз из серебра сразу на пятьсот персон? В казармах болтали, что Геринг ходит туда пить русскую водку и заедать ее крабами.

— Правда. Но теперь я не завидую московским дипломатам. Им предстоит пережить весьма грустные минуты...

Машина вырвалась на прямую — в Цоссен! Конечно, кому же еще, как не ему, Паулюсу, теперь проследить за осуществлением своих грандиозных планов? Так архитектор, создавший проект ансамбля, потом ревностно наблюдает за каменщиками и малярами. День 21 июня (день «Х-1» по терминологии генштаба) начался для Паулюса звонком из канцелярии Риббентропа, звонил статс-секретарь Вейцзеккер.

— Информация,— оповестил он.— Русский посол настаивает на личной встрече с Риббентропом, у него на руках вербальная нота. Там, в Москве, подсчитали, что за два последних месяца наши самолеты 180 раз нарушили их границу.

— Что вы отвечаете? — спросил Паулюс.

— Русские зенитного огня не открывали, а потому не могут предъявить нам обломки наших самолетов. Это первое. Второе. Сегодня невыносимо жаркий день, я говорю, что Риббентроп уехал в Ванзее купаться. Кажется, Молотов в Москве тоже начинает теребить за галстук нашего посла, графа Шуленбурга... Кремль уже начал терять спокойствие!

Паулюс тут же переключился на Хойзингера:

— Когда проходит на Берлин московский экспресс?

— За два часа до отметки «икс-ноль»... через Брест.

— Выпустит ли свой поезд Москва, как всегда?

— Не знаю. Но мы его пропустим. Как всегда...

Весь день 21 июня прошел в хлопотах, уточнениях, нервотрепке. Первитин уже сделал из Паулюса железного робота, способного не ведать усталости, сохраняя небывалую бодрость.

Ближе к ночи опять стал названивать Вейцзеккер:

— Русские просто ломятся в министерство. Я был вынужден принять их посла, но прервал чтение им протеста, сказав, что великая Германия *сама* может предъявить СССР подобные обвинения... Сообщите об этом Гальдеру.

— Конечно. Утром русские всё узнают.

— Да. Посольство уже блокировано агентами гестапо. Ему оставлена лишь односторонняя связь: мы еще можем звонить русским по телефонам, они же — никуда... Если у них и есть резидент в Берлине, то связь с ними прервана!

Паулюс вышел на провод с войсками на Буге:

— Уточните обстановку на исходных рубежах.

Последовал обстоятельный доклад:

— В Бресте закончились последние киносеансы, с вокзала слышится, как Москва транслирует вечерний концерт. Кажется, Верди или Пуччини. Вся полоса границы очень ярко освещена. За рекою Мухавец, что южнее Бреста, горит дом — сигнал нашей агентуры о готовности сразу же начать истребление советских офицеров, когда они станут выбегать из домов по тревоге. Отсюда мы хорошо видим этот пожар. В «икс-ноль» наши люди отключат электроэнергию от Брестской крепости, перережут все телефонные провода.

Паулюс выслушал и велел сообщить о проходе московского поезда. Вскоре же в Цоссен поступило извещение:

— Только что в Германию проследовал через Брест московский пассажирский состав. Через оконные занавески видно, как женщины укладывают детей, вагон-ресторан еще работает. Вывод определенный: русские ни о чем не догадываются.

В эту ночь, ночь нападения Германии на нашу страну, из СССР в Германию проследовали 22 громадных эшелона с хлебом и металлом...

В это время Буг переплыл ефрейтор Альфред Лискофф, и, сдавшись нашим пограничникам, он сказал:

— Нет, я не коммунист. Я простой честный немец и уважаю вашу страну. Передайте своему командованию, что в три часа войска вермахта перейдут границу. Запишите мою фамилию правильно и не забудьте поставить цифру «1». Я буду первый военнопленный в этой войне, которая еще не началась...

Возле Одессы сдался пограничникам румынский офицер по фамилии Бадая, который деловито сообщил на допросе:

— Я своим солдатам всегда говорил, что с Гитлером нам лучше не связываться и чтобы все расходились по домам...

22 июня. День «Х + 1». Ночное время: 03.15.
Мирная страна вздрогнула от нестерпимой боли.
Начиналась война. Великая. Отечественная!

> Мы знаем, что ныне лежит на весах
> И что совершается ныне.
> Час мужества пробил на наших часах,
> И мужество нас не покинет...

. . . .

В ночь перед нападением во дворе германского посольства пылал костер— немцы сжигали секретные документы. За 15 минут до нападения Берлин указал Шуленбургу известить Молотова о начале воен-

ных действий, что посол и сделал в шестом часу утра. Начинался воскресный день, москвичи мирно досматривали утренние сны...

— Спят,— сказал Хильгер,— и ничего не изменилось, только у ворот посольства стали шляться милиционеры.

— Включите радио,— указал Шуленбург...

Война уже громыхала по русской земле, уже выли от боли раненые, уже горели дома и деревни, а дикторша московского радиовещания вела урок утренней гимнастики:

— Вдохните глубже... та-а-ак. Теперь поднимем левую ногу. Пятка правой остается на упоре. Опускаем правую руку. Прыжок! Еще прыжок... выше, выше, выше! Дышите глубже.

Рушились бомбы на города, дома, погребая в своих руинах тысячи тысяч, уже раздавался первый бабий вой над «невинно убиенными», а Москва как ни в чем не бывало до полудня транслировала музыку.

Шуленбург пребывал в полном отчаянии:

— В чем дело? Неужели скрывают войну от Сталина...

Сталин о начале войны узнал — от Молотова.

— Пограничный инцидент? — не поверил Сталин.

— Нет, война...

Все видели, как от лица отхлынула краска, Сталин кулем опустился на стул. Все молчали, и он молчал. («Гитлер обманул Сталина, а Сталин обманул самого... Сталина!» — именно так было заявлено потом на Нюрнбергском процессе.)

— Надо задержать немца,— произнес он.

— Маршал Тимошенко уже отдал приказ по западным округам, чтобы противника не только задержали — уничтожить его!

— И... уничтожить,— как попугай, повторил Сталин.

Из Генштаба прибыл генерал Ватутин с докладом: германская армия наступает по всему фронту — от и до, от моря и до моря, рано утром немцы уже отбомбились по городам, список которых слишком велик, бои идут на советской земле. Сталин сразу сделался меньше ростом, словно пришибленный сверху чем-то тяжелым, а слова его были самые похабные:

— Великий Ленин завещал нам великое пролетарское государство, а вы (он не сказал «я»!) — все вы про...ли его!

Всего несколько часов назад Лаврентий Берия отдал приказ «растереть в лагерную пыль» арестованных им разведчиков, которые докладывали, что нападение свершится сегодня, а теперь что он мог сказать в утешение своему грузинскому другу? Что мог сказать трусливый Калинин? Подлейший Каганович? Палач и карьерист Маленков? Ничем не могли они утешить своего сюзерена и потому молчали. Сказал сам Сталин:

— Я ухожу... отказываюсь. Мне больше ничего не нужно. Вы тут сами нагадили, сами и разбирайтесь.

Берия гортанно выкрикнул что-то по-грузински.

Сталин махнул рукой и уехал, чтобы скрыться на загородной даче. Тут все члены Политбюро разом заговорили, что вот, мол, хорошо ему, взял да уехал, а мы тут теперь давай разбирайся, где лево, где право, кто виноват, кто прав. Сообща решили тоже ехать на дачу, вернуть машиниста к рычагам правления, чтобы тянул воз дальше. При виде своих приспешников, гуртом входящих к нему, Сталина аж затрясло от страха — вот сейчас всей кучей навалятся, свяжут, как цуцика, и потащут в Бутырки, а сами начнут делить — кому стул, кому кресло, кому престол. Но члены Политбюро чуть не падали ниц перед ним, взывая вернуться на государственный Парнас, и тут Сталин ожил, обрел прежний вид, стал возвещать:

— Нельзя,— сказал он,— чтобы народ узнал то, о чем докладывал Ватутин... паника начнется! Лучше скрыть...

Какой уже час шла война, а народ так и не был о ней оповещен.

Обращаться к народу по радио Сталин не желал, потому что теперь ему пришлось бы говорить совсем не то, что говорил он еще вчера и все внимали ему — с трепетом.

— Вон Вячеслав,— показал Сталин на Молотова,— это он лизался тут с Риббентропом... пусть и оправдывается!

Во все времена русские цари, если начиналась война, сами обращались с монаршими манифестами, объясняя народу, кто войну начал и ради чего эта война ведется. Но это — цари, а вот генеральный секретарь партии решил пересидеть эти дни в кустах, не высовываться. В полдень (только в полдень!) Молотов обратился к народу по радио, называя слушателей «граждане и гражданки», будто он прокурор, а перед ним сидят подсудимые, ожидающие удара мечом Фемиды. Молотов сказал, что Гитлер обрушил бомбы на наши спящие города, «причем убито и ранено более двухсот человек...» Нагло врал! Откуда эти двести человек, если весь запад страны полыхал в огне и замертво полегли в первых боях уже сотни тысяч!.. В этот же день по радио прозвучали слова, ставшие почти государственным гимном:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!..

Но многое в этом дне осталось и неизвестным для нас!

Немало и сомнительного. Вслед за Сталиным наши историки хором твердили, что договор с Германией был очень выгоден для СССР, ибо за эти два года (1939—1941) наша страна как следует подготовилась к отражению нападения. Верить этому наглейшему вранью нельзя! За эти два года ничего не было сделано для того, чтобы подготовить мощный контрудар по агрессору.

Сталин успехи вермахта объяснял внезапностью и вероломностью нападения. Это для народа начало войны казалось внезапным. Но Сталина-то ведь каждый день извещали о замыслах Гитлера,— значит, для него война и не могла быть внезапной. Не было и «вероломства», ибо глупо было бы требовать от Гитлера, чтобы он заранее предупредил Сталина о своем нескромном желании немножечко потревожить его величие своими панцер-дивизиями... Наконец, скажу последнее и самое постыдное: наша великая держава, вступая в эту войну, совсем НЕ ИМЕЛА СОЮЗНИКОВ,— результат «гениальной» дальновидности самого Сталина и его прихлебателя Молотова.

Правда, был у нас один союзник — очень надежный.

Это монгольский деятель Хорлогийн Чойбалсан.

Замечательный союзник!

...В первый день войны до Мехлиса прорвался с фронта звонок телефона — кто-то из генералов кричал, что его атакуют.

— Словам не верю,— отвечал Мехлис.— Составьте подробное донесение по форме, и тогда все будет ясно...

Дожили! Там его, бедного, немцы уже лупят во всю ивановскую, он уже не знает куда деваться, а товарищ Мехлис советует разложить лист бумаги, обмакнуть перышко в чернила и, проставив дату, подробно описать, как его здесь убивают...

17. БЛИЦКРИГ

Спору нет, вермахт был подготовлен отлично. Границу взломали отборной техникой отборные же войска под руководством отборных полководцев — Вильгельма фон Лееба, Теодора фон Бока и Герда фон Рундштедта, которые сами и возглавили три удара по трем главным направлениям...

Броня танков, еще в ночной росе, была гулкой.

— Все люки и щели — на герметизацию!

— Исполнено, камарад. Форсаж?

— Да. Полный... полный газ, Франц!

Танки-амфибии (которыми Гитлер так долго пугал Англию) с полного разбега погружались в вязкую тину реки и, перевертывая на дне коряги, выкатывались на советский берег, сразу громя все живое. Брест, подобный огнедышащему вулкану, остался далеко позади. В мембраны — голос генерала Гота:

— Теперь забудьте о флангах, которыми займется пехота. Захват пространства — главное! Не бойтесь отрываться от полевых частей, берите переправы... марш, панцер, марш!

— Мост,— доложил водитель танка.

— Берем,— отвечал фельдфебель.

— Коровы... полно коров с телятами.

— Прямо,— указал фельдфебель,— на мост.

Солнце еще всходило, из деревень гнали первое стадо. Меланхоличные буренки, позванивая бубенцами, мелко рысили за пегими важными быками. Впереди шел босой старик-пастух, его внучек играл на дудочке. Их глаза, застывшие в ужасе, только на краткое мгновение мелькнули в узком триплексе танка, людской вопль не проник через броню.

— Давлю,— ликующе сообщил водитель...

Танк системы T-IV (образцовый танк вермахта) покатил через мост, прыгая по раздавленным тушам, которые расползались под ним, буксовал в мешанине сала и крови. Весь красный и жирный, с ошметками мяса на броне, танк переполз на другой берег. Доложили Готу:

— Мост взят. Переправа обеспечена.

— Удерживайте до подхода мотопехоты.

Откинули люк, вылезли. Переговаривались:

— Не думал я побывать в России.

— Кому курить? У меня пачка белградских.

— Дерьмо! У меня лучше.

— Кницлер, чего ты там возишься?

— Тут между траками застряли бычьи рога.

— Так выдерни их. Вместе с черепом.

— Этим и занимаюсь, камарад.

— Русские! — закричал водитель.— Вон они, вон...

Вдоль лесной опушки перебегали красноармейцы с винтовками, сумки противогазов прыгали за их спинами.

— Всем вниз. Люк! Пулемет. Быстро...

Пулемет, проглатывая обойму, отбрасывал в парусиновый мешок опустошенные гильзы. Русские скрылись в лесу, и лес принял их в себя и растворил их в себе. Стало тихо.

— А где же их танки? — вдруг спросил фельдфебель.

Танков, увы, не было. Народ был потрясен, и, чтобы успокоить людей, Москва намекала в печати, что передовой рабочий класс Германии возмущен нашествием на первое в мире социалистическое государство и скоро, мол, пролетариат ответит Гитлеру революцией. Политруки перед боем по-прежнему твердили о классовой солидарности трудящихся всего мира, и на фронте не однажды бывали случаи, когда боец вставал из окопа, крича дружески:

— Эй, геноссе... я — арбайтер... не стреляй!

Ответом была длинная очередь из черного шмайсера.

Такова сила и мощь великой «пролетарской солидарности», о которой так много у нас болтали... Вот и доболтались!

. . . .

Ровно в 11 часов дня 22 июня Гальдер записал в дневнике:

«Паулюс сообщил мне о заявлении статс-секретаря Вейцзеккера. Англия, узнав о нашем нападении на Россию, сначала почувствует облегчение и будет радоваться распылению наших сил. Однако при быстром продвижении германской армии ее настроение быстро омрачится, так как в случае разгрома России наши позиции в Европе крайне усилятся.

Он отложил перо:

— Итак, кости брошены на стол, начинаем игру.

— Большую игру,— подчеркнул Паулюс.

— Да, какой еще никогда не вела Германия, но еще никогда Германия и не была сильна так, как сейчас...

Упругие танковые колонны (Манштейна, Гудериана, Клейста, Гота и Гёпнера) железными «метелками» гусениц расчищали дорогу армиям Лееба, Бока и Рундштедта. Против этой быстро несущейся лавины Москва определила три главных направления обороны, которые доверила прославленным маршалам — Ворошилову (против Лееба), Тимошенко (против Бока) и Буденному (против Рундштедта). В ставке Гитлера понимали, что Сталин желает использовать высокий авторитет героев гражданской войны...

В состоянии эйфории Гитлер объявил, что теперь Красная Армия — это чья-то нелепая шутка!

— Сталин, очевидно, решил, что ему предстоит новая «оборона Царицына», как в девятнадцатом году, поэтому он и пугает меня своими кавалеристами... Но где же их танки?

Кейтель с Йодлем — неразлучны. Но Кейтель побаивался авторитета Йодля, уже готовя ему всякие пакости, хотя внешне они казались большими друзьями и оба с одинаковым неудовольствием видели, что их иногда опережает Хойзингер.

Вот и сейчас он торопливо выступил с готовым ответом:

— Мой фюрер, наши T-IV протыкают русские танки снарядами насквозь, словно это коробки для обуви. Их броня всего пятнадцать миллиметров, они ходят на легком бензине, и потому от первого попадания вспыхивают — как шведские спички.

(Хойзингер имел в виду наши старые БТ-7, Т-26 и Т-28, известные по парадам на Красной площади.) Гитлер спросил:

— А где же их новейшие на тяжелом топливе? Не меня ли вы пугали танками заводов Сталинграда и Челябинска?

— Кёстринг, сидя в Москве, что-то напутал.

— Гальдер, дайте ему как следует по мозгам.

— С удовольствием это сделаю,— обещал Гальдер, не простивший Кёстрингу «контору по скупке мебели...»

...Прощай, милый Цоссен, где по вечерам так сладко пахло резедой и левкоями! В канун войны ОКВ отыскало глухое урочище в дремучем прусском лесу. Сюда согнали пленных офицеров-поляков, началось строительство ставки Гитлера, которую он пожелал назвать «Вольфшанце» (что значит «Убежище волка»). Бетон и колючая проволока, минные заграждения и сигнализация обеспечивали Гитлеру непроницаемость тайны, в которой он собирался выиграть войну. Поляки закончили работу, их отвели в лес и уничтожили, чтобы сохранить тайну. Над личным бункером Гитлера была уложена такая броневая плита, которую не расколет никакая сатанинская сила. На поверхности земли в «Вольфшанце» остались блоки штабов и казино, казармы охраны и служебные постройки, крыши которых маскировали кусты и даже деревья. Все остальное упряталось в глубину. Подземные помещения напоминали железнодорожные вагоны класса «люкс», с коридорами и дверями, ведущими в отдельные кабинеты-купе. Всюду сверкали кафель и никель, каждому генеральштеблеру — ванна с душем и собственным унитазом. Паулюс теперь общался с Берлином по телефону, жена порадовала его благополучной беременностью дочери.

— Поцелуй за меня нашу баронессу Кутченбах! — отвечал Паулюс; перед Гальдером он уже не скрывал своей тоски и тревоги: — Когда же выберемся из этого бурелома?

— После седьмого ноября, когда доставим удовольствие Сталину, устроив парад вермахта на его Красной площади...

Успех вермахта обозначился сразу и очень решительно. На шестой день войны немцы уже вошли в Минск, одиннадцать советских дивизий оказались в тылу противника, сражаясь с «перевернутым» фронтом. В наружном блоке № 18, где царствовали Кейтель с Йодлем (и где фюрер с Геббельсом спасались от духоты подземного бункера), Паулюс обратил внимание Гитлера на все возрастающее сопротивление Красной Армии, а широкоротый Геббельс откровенно смеялся:

— Что вы, Паулюс? Они же бегут...

— Да. Но, отступая, они дерутся не за свои жизни, а лишь за выигрыш времени. Наконец, есть такие участки фронта, где наши войска топчутся на месте, их продвижение начинается лишь тогда, когда русские сами оставляют позиции...

Гитлер выслушал молча. Подумал и ответил:

— Ах, Паулюс! Что в этом удивительного? Бродячий и ободранный кот, который питается на помойках, всегда более стоек в жизни, нежели благовоспитанная овчарка. Но разве же кот может быть ценнее породистой собаки?

Свои требования к генералам вермахта Гитлер уже оформил тезисом: «Для нас более важно уничтожить живую силу противника, нежели продвинуться на восток». Исходя из этого, он и рассуждал — как всегда напористо:

— Я все время пытаюсь поставить себя на место этих русских дикарей, попавших под жидовское ярмо марксизма. О чем они там думают? Практически они войну проиграли, а я выиграл ее — за четырнадцать дней. Вот Прибалтика — острый шип, который Сталин вогнал в мое сердце. Она уже почти вся моя, и острие шипа направлено против Сталина. Но одно лишь фронтальное отталкивание русских к востоку ничего нам не даст, кроме неприятностей в будущем. Внезапность нападения обеспечила нам оперативный результат, и сейчас русские готовы бежать хоть до Урала, а потом, оправясь от шока, они снова полезут в Европу, как тараканы на радиатор парового отопления... Таким образом, только полное уничтожение примитивных масс противника может принести нам окончательный и решительный успех. Не отталкивайте русских — уничтожайте!

4 июля Гальдер начал проявлять беспокойство:

— Не слишком ли увлеклись Гудериан с Готом? Их ролики взяли такой разбег, что мотопехота отстала. Это грозит и Манштейну, который вляпался у Пскова в кровавую лужу. Котлы же с попавшими в них русскими начинают опасное блуждание по нашим тылам. Выбивают гарнизоны. Жгут базы снабжения. Кстати, Гудериан уже просит подкреплений. Кажется, в биографии «быстроходного Гейнца» наступил самый комический момент, как в забавной оперетте Легара. Гудериан оборону советских войск принял за их наступление...

Такой факт был! Под Слонимом русские, рванувшись из окружения, перебили офицеров его штаба, Гудериана спасло мужество шофера, давшего полный газ. Красноармейцы захватили автобус картографического отдела — с грудою карт и планов, разрисованных стрелами прорывов и охватов, столь любезных сердцам обитателей Цоссена и «Вольфшанце». Известие об этом приключении вызвало бурные дебаты в кабинетах и бункерах ОКХ. Гальдер сказал:

— Если бы русские решили распять Гудериана, они бы избрали для эшафота кафедру своей Военной академии. Но перед казнью заставили бы его прочесть лекцию о блицкригах!

Стратегическая «воронка», о которой Паулюс предупреждал еще раньше, расширялась: вторгшись в СССР по фронту в 15 000 километров, вермахт по мере его продвижения получал фронт в 25 000 километров. Между прорывами танковых клиньев образовались глубокие разрывы от 130 до 500 километров (и если не практически, то в теории русские уже могли начинать избиение вермахта по обнаженным флангам).

То, что еще не понимали другие, все это отлично понимал Паулюс.

— Выигрывая лишь в оперативном отношении,— говорил он,— мы уже начинаем что-то проигрывать в планах большой стратегии. Мы, кажется, теряем реальное представление обстановки.

— И все-таки,— отвечал ему Гальдер,— я согласен с нашим фюрером: война выиграна нами за четырнадцать дней...

Бывали случаи, когда на один наш батальон выпадал рубеж обороны в десять и более километров — врастяжку. Много ли тут навоюешь? Потому иногда гитлеровцы шли походной колонной, пустив впереди себя группы мотоциклистов, сами шагали налегке, засучив рукава мундиров и сунув пилотки за пояс, а впереди были развернуты знамена полков и дивизий, как на параде, и даже играли оркестры,— вот она, наглядная картина блицкрига! Окружая наши войска, немцы кольцом лесных пожаров и горящих деревень обозначали для своей авиации главные контуры котлов окружения, чтобы окруженных бомбили наверняка.

Вскоре пунктуальный Паулюс обратил внимание на то, что котлы с окруженными в них русскими не имеют округлой формы — они напоминают узкие параболы, вытянутые с запада на восток: в этой геометрии фигур сказывалось стремление советских войск прорвать кольца окружений.

— Симптом очень выразительный,— заключил Паулюс.

Гальдер долго возился с пенсне, протирая стекла:

— Вы стали настоящим генеральштеблером. Наша случайная встреча в меховом магазине на Фридрихштрассе оказалась исторической. Если фюрер попрет меня на улицу из этого отхожего места, мой стульчак останется за вами, Паулюс...

Гальдер был баварцем, а потому его юмор всегда покоился на прочных основах грубого раблезианства. Вечером, гуляя по асфальтированной тропинке возле блока № 18, Паулюс встретил графа Шуленбурга. Недавно состоялся обмен посольствами враждующих государств, теперь, естественно, Гитлер пожелал видеть своего московского посла. Но, судя по настроению Шуленбурга, эта встреча имела драматический характер.

— У меня судьба маркиза Коленкура, который, будучи послом в Петербурге, не раз предупреждал Наполеона не забираться в Россию, однако цезарь имел на этот счет иное мнение. Я боюсь,— признался Шуленбург,— как бы и наш «цезарь» не стал выглядеть дворняжкой, получившей хорошего пинка, когда она вздумала заглянуть в мясной магазин.

Паулюс думал о своем — о потерях вермахта:

— Как вы думаете, граф, не рискнет ли Сталин на новый Брест-Литовский мир с нами, немцами, именно сейчас, когда его фронт окончательно взломан и русские отступают?

— Никогда!— убежденно ответил Шуленбург.— Вы плохо, Паулюс, понимаете советскую систему. Там, помимо Сталина, существует еще обширный партийный аппарат, с контролем которого Сталин не может не считаться. Этот чудовищный человек пережил в своей жизни немало острейших кризисов, и потому настоящий кризис для него — не самый опасный. Но даже не будь такого Сталина, русские все равно продолжали бы беспощадную борьбу с нами! Нет, нет, нет,— торопливо сказал граф Шуленбург,— сейчас не восемнадцатый год...

10 июля Паулюс вынужден сделать признание:

— Сорок три процента наших танков на Востоке уже выбиты. Нас выручает лишь то обстоятельство, что, подбитые, они остаются в

иаших руках и мы еще можем их ремонтировать. Танковые же потери русских я отношу к числу безвозвратных.

Наконец с фронта стали поступать панические известия о появлении русского танка Т-34, от которого снаряды отскакивают, как бобы от стенки. Гудериан предупредил ОКХ, что превосходство Т-34 над немецкими танками «проявляется в резкой форме», а генерал Гот, дабы избежать потерь, приказал своим танкистам избегать боевого соприкосновения с русскими Т-34... Фронтовики рассказывали Паулюсу:

— К нему никак не подобраться, и, чтобы он притих, нужно дать ему под хвост из приличного калибра. Только с кормовых «жалюзи» он еще уязвим! Лобовые же попадания Т-34 воспринимает так, будто в него залепили хлебным мякишем...

«Вольфшанце» напоминало нечто среднее между концлагерем и мужским монастырем со строгим уставом. При неприятных известиях с Востока фюрер наказывал обитателей ставки обедом из «общего котла», откуда черпали жратву эсэсовцы охраны, а остатки скармливали сторожевым собакам. Конечно, Кейтелю с Йодлем не совсем-то нравилось хлебать «фолькс-суп» со свиным смальцем, но чего не сделаешь ради капризного сюзерена. Сам же фюрер поедал пшенную кашу без масла.

Из древних прусских чащоб под Растенбургом по ночам зловеще перекликались филины. Узнав о русских танках Т-34, фюрер тяжело и надолго задумался. Наверное, в этот исторический момент он вспомнил о зубных щетках...

Надо же было так случиться, что Паулюс опять повстречал генерала и графа Курта фон Гаммерштейна-Экворда, с которым однажды беседовал по дороге в Цоссен. Теперь граф сказал:

— У меня нет никаких иллюзий! Из числа тех войск, что двинуты вами на Россию, пожалуй, никто живым не вернется...

. . . .

Судьба, кажется, наказала Сталина за то, что он отказался подписать Женевскую конвенцию о пленных,— не прошло и месяца после начала войны, как в плену оказался его сын старший лейтенант Яков Джугашвили... Как же так, дорогой товарищ Сталин? Не вы ли утверждали, что большевики в плен не сдаются? Между тем партийная характеристика на вашего сына была ведь отменная. Могу напомнить: «Делу партии ЛЕНИНА — СТАЛИНА предан. Работает над повышением своего идейно-теоретического уровня. Особенно интересуется марксистско-ленинской философней...»

Не знал бедный Яша, сдавшийся в плен под Витебском, что его попытаются обменять на фельдмаршала Паулюса, как не знал и Паулюс, что его захотят обменивать на сына Сталина!

18. ПЕРВЫЕ КРИЗИСЫ

Паулюс давно стремился в Берлин, желая повидать семью, но в Цоссене его удерживал Франц Гальдер:

— Прежде мы разделаем шарлатана Кёстринга...

С удовольствием (даже садистски) Гальдер учинил расправу над атташе, когда тот появился в отеле «Форверке».

— Итак, наша контора по скупке старой мебели у бедного населения желает выдать вам первый аванс... Вы, бывший военный агент в России, должны объяснить нам, почему вместо ста пятидесяти дивизий, как вы показывали, у русских вдруг обнаружилось триста с чем-то дивизий.

От Кёстринга еще пахло духами «Красная Москва».

— Я докладывал в ОКХ о том, что русские способны выставить двести дивизий... *двести*! Но вы с Кейтелем не поверили мне и самовольно исправили цифру двести на сто пятьдесят.

— Второе,— увильнул Гальдер,— почему русские дивизии, показанные вами кавалерийскими, вдруг обращаются для нас в танковые? Не могу поверить в проворство казаков, для которых перепрыгнуть из седла в танк — раз плюнуть!

— А я предупреждал вас, что Россия — «неизвестная большая величина» (Паулюс при этом машинально кивнул, ибо это выражение Кёстринга он часто употреблял сам). Следовало внимательнее прочитывать мои доклады. Я ведь никогда не писал, что СССР — колосс без головы и на глиняных ногах. А в ОКВ и в ОКХ иначе Россию и не называли, повторяя явную глупость Дени Дидро, отчего ему и попало от Екатерины Великой. Теперь, когда ваш автобус начал опаздывать, выбившись из расписания, вы хотите, чтобы я оплатил вам стоимость прогоревших билетов.

— Почему,— отозвался Паулюс,— вы не предупредили нас о ширине гусениц танка Т-34 и какова его боевая масса?

Кёстринг загасил в пепельнице окурок «Казбека».

— Боевая масса тонн тридцать, средняя. А насчет гусениц, так вы не думайте, что я шлялся с линейкой по цехам русских заводов. Спросите моего помощника Кребса, и он подтвердит, что мы там в Москве босиком бегали по лезвию бритвы...

Немецкие T-III и T-IV назывались «магистральными» (ширина их гусениц была проверена на отличных дорогах Европы).

— А теперь,— сказал Паулюс,— зауженные гусеницы наших танков застревают даже на обочинах русских шоссе.

Кёстрингу подобный упрек показался смешным:

— Но я же не виноват, Паулюс, что русские колхозники еще не обзавелись автобанами с гудроновым покрытием. Вы сами знали, что в России придется съехать с асфальта и посидеть в болоте. С грязью вермахту предстоит считаться в равной степени, как и с морозами.

Гальдер шлепнул ладонью по столу:

— Не будьте сплетником, Кёстринг! Какие морозы? Неужели вы думаете, что мы оставим Россию живой до зимы?

— Пардон,— ответил Кёстринг.— Но вы и сами, сидящие здесь, уже наверняка поняли, что зимней кампании не избежать. Ваш прекрасный летний загар будет потерян под Москвою...

Перебранка становилась опасной, и Гальдер сказал:

— Хватит! Все-таки, Кёстринг, вы умудрились всучить нам старую мебель, а новой не показали. Какой ценой будем расплачиваться за это, я не знаю. Идите... Не надо отчаиваться,— продолжил Гальдер, когда Кёстринг удалился.— В конце концов, русские еще не освоили серийное производство новых машин. Т-34 встречаются в пропорции один к пятнадцати по отношению к танкам устаревших модификаций. Не будем забывать о советских рекордах по выделке зубных щеток...

Словно подтверждая первые, еще робкие опасения Паулюса, официозная «Фёлькишер беобахтер» уже пробила по Германии первую тревогу: «Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке». Даже странно, как это признание проскочило через фильтры цензуры!

В эти дни Кейтель сделал доклад Гитлеру:

— Рядовой состав Красной Армии может считаться превосходным. Пополнение же из запаса очень отстало и не расстается с сумкою противогаза, боясь химической войны. Командиры до батальонных — очень хороши. Выше их — хуже. Только семь процентов офицерского состава имеет высшее офицерское образование. Генералитет отличает оперативный схематизм, боязнь ответственности. Любой фельдфебель вермахта более свободен в принятии решений, нежели маршалы Сталина, ничего не делающие без его разрешения...

Гитлер с пафосом заговорил, что война на Востоке подходит к

финалу, пора уже думать о сокращении сухопутных сил. Но, демобилизуя часть персонала армий, он надеется постоянно увеличивать танковые войска и авиацию:

— Сейчас для Германии имеет значение позиция Японии, чтобы самураи потеряли остатки девичьего стыда, поскорее десантируя во Владивостоке и в Петропавловске-Камчатском. Впрочем, я сам буду говорить с токийским послом Осима...

Рейхсмаршал Геринг призывал к открытому грабежу:

— Вы там в России не миндальничайте,— наставлял он фронтовиков.— Если увидели овцу, стригите ее сразу. Не вам же плакать, а русским! Попалась на дверях медная ручка — отворачивайте ее безо всяких разговоров. Вырубайте леса. Реквизируйте лошадей. Германия должна видеть в вас ландскнехтов-обирал времен Валленштейна, живущих на подножном корму и пожирающих все подряд, что попалось на глаза... Генерал Вагнер, что ты хохочешь? Я давно тебе говорил: всю русскую икру честно поделим пополам. Из Азовского моря — пусть лопает вермахт, из моря Каспийского — вся икра достанется летчикам моего люфтваффе...

Гальдер уже приступил к планированию далеких целей вермахта. Его рука бестрепетно выводила пронзительные стрелы ударов между Нилом и Евфратом, через Турцию и Персию — на Афганистан, на Индию. При этом он рассуждал:

— Жестокость необходима в России, как и в Польше, и потому нам следует высчитать, сколько понадобится оставить гарнизонов в России, чтобы они выжали из нее остатки колхозного жира... В этом вопросе я, как и Геринг, далек от слюнтяйства! Эрзацы пусть едят русские, а мы украсим магазины натуральными продуктами Востока...

Паулюс навестил в «Форверке» генерала Генриха Кирхгейма, прилетевшего из армии Роммеля. Кирхгейм сказал, что Черчилль сменил Уэйвелла, поставив на его место генерала Окинлека.

— Роммель еще не рвет с головы волос, но часто хандрит. Восточный фронт забирает все резервы, Муссолини много обещает, но ничего не делает. Еще недавно мы делили горючее бочками, а скоро станем отмерять стаканами.

— Передайте Эрвину мой бодрый солдатский привет,— ответил Паулюс,— и пусть Роммель не завидует нашему мнимому изобилию. При отсутствии железнодорожной тяги мы гоняем к фронту автомобили, расходующие бензин, которого скоро не станет хватать ни нашим танкам, ни нашей авиации. Румынские нефтепромыслы мы откачаем досуха, но... фюрер, кажется, прав: без кавказской нефти вермахт протянет ноги!

Кирхгейм громко защелкнул замки на портфеле:

— Я вижу, у вас тоже не все в порядке. Если это так, Паулюс, то искать ошибки надо в раннем планировании. Это наверху. Или в исполнении планов позже. Это уже внизу.

Такой вывод задел самолюбие Паулюса:

— Перестаньте, Кирхгейм! Сам Шлифен позавидовал бы нашему планированию. Мольтке не мог и мечтать о лучшем распределении сил. Смотрите сами: с юга Греция и Румыния, с севера Норвегия и Финляндия обеспечивают надежность флангов. Второго фронта нет, и не предвидится. Если кто и виноват, так это — русские, срывающие нам графики продвижения. Я, как и фюрер, тоже хотел бы постучать в двери московского Генштаба и спросить: «Эй, ребята, о чем вы тут загрустили? Не пора ли укладывать игрушки, чтобы идти бай-бай?»

...Георгий Константинович Жуков, заместитель наркома обороны, был тогда и начальником Генерального штаба.

Много позже, уже во времена хрущевской «оттепели», он признавался:

— Как я уцелел — сам не знаю. Все уже было готово для моего ареста, и, если бы не Халхин-Гол, меня бы давно на свете не было. Меня буквально спас конфликт на реке Халхин-Гол...

Сейчас Жуков многое еще не понимал в том, что происходит, да и понять было невозможно. В эти дни его навестил генерал артиллерии Н. Д. Яковлев, заставший Жукова в кабинете, где он сидел в позе смертельно разбитого человека, глаза его были воспалены от хронической бессонницы. Яковлев стал говорить о подвозе боеприпасов, задавал вопросы о передислокации артиллерии, но Жуков безнадежно махнул рукой:

— Что с меня сейчас спрашивать? Я ничего не могу сказать. Видите, какой бардак? И во многом я просто не могу разобраться... Не верится, что такое могло с нами случиться!

Но уже начиналась грандиозная Смоленская битва.

. . . .

В этой битве — впервые за всю войну — вермахт был прочно остановлен: отныне не наступал, только оборонялся. «Потери превосходят успех»,— констатировал Герман Гот. В сражении под Ельней вновь просверкало имя генерала Г. К. Жукова, памятное по Халхин-Голу, и отныне немцы не ослабляли внимания, следя за Жуковым, который становился особенно опасен для их вермахта. Обстановка в Цоссене была нервозной. Хойзингер доложил, что на днях Манштейн слышал в эфире переговоры Ворошилова, а 15 июля Гудериан на фронте стал перехватывать по радио грозные приказы маршала Тимошенко. Это даже удивило Паулюса, и он повидался с генералом Эрихом Фельгибелем, который в Цоссене ведал радиоразведкой вермахта.

— Нет ли в перехвате «дезы»? — встревожился он.

— Никакой,— отвечал Фельгиббель.— У меня в отделе тоже не понимают, почему русские игнорируют секретность. Впрочем, это маршалы! А на более низких инстанциях русские пытаются меня обманывать: штаб называют «сельсоветом», при нужде в снарядах они просят «огурцов», а если нет танков, то оповещают свои штабы, чтобы прислали побольше «сундуков»... Их наивность меня обескураживает — не меньше тебя, Паулюс!

Эрих Фельгиббель был закадычный приятель, и потому Паулюс не скрывал перед ним все растущей опасности:

— Германию сейчас страхует то, что Черчилль увлекся периферийной стратегией, возня с арабами в Дамаске для него важнее нашего наступления на Шмоленгс. Иначе бы...

«Шмоленгс» — так все немцы произносили «Смоленск».

Вскоре состоялась встреча фюрера с японским послом Хироси Осима, которому Гитлер сделал нескромное заявление:

— На этот раз судьба Наполеона ждет не меня, а — Сталина! Я уже вижу его тень, удаляющуюся в морозные дали Сибири, и он очень удивится, увидев японские штыки на Байкале.

На все приманки Гитлера — следовать от Владивостока до Байкала — посол Осима отвечал сладчайшей улыбкой, вежливым шипением и поклонами. Гитлер признался своим генералам:

— Когда имеешь дело с самураями, прежде надо как следует подлечиться у хорошего психиатра. Японцы кланяются в мою сторону, а смотрят они в другую. Я не буду удивлен, если завтра же Би-би-си оповестит мир, что армия микадо успешно высадилась в Буэнос-Айресе...

Япония, как принято говорить, «бряцала оружием». Но токийские заправилы не были деревенскими простаками. Они выжидали решительного (!) успеха Германии, чтобы вонзить зубы в наши дальневосточные края. Частичные победы Гитлера в начале блицкрига японцев не одурманили. Пока Сталин еще сидит в Москве, а вермахт топчется под «Шмоленгсом», самураи сознательно выжидали: что будет дальше?

25 июля Паулюс позвонил в Берлин и сказал зятю, чтобы соби-

рался в Россию — его знания русского языка могут пригодиться. Трубку переняла Ольга — дочь Паулюса:

— Папа, я не хочу иметь детей сиротами. Занимая такой пост, ты можешь сделать, чтобы Альфреда оставили в покое.

— Успокойся, дитя мое. Предстоит маленькое инспекционное турне в танковый корпус Манштейна. Уверяю, твоему барону Кутченбаху не придется ходить в яростные штыковые атаки. Кстати, Ольга, поищи дома красивую банку с ароматной косметикой, что отпугивает всякую мошкару.

Но еще до отъезда на русский фронт Паулюсу пришлось задержаться. Гальдер предупредил его:

— Вас включили в особую комиссию. Дело в том, что удалось захватить в исправном состоянии русский Т-34, при нем обнаружили даже технический формуляр. Вам с конструкторами предстоит разобрать Т-34 по винтику, и пусть металлурги заодно выяснят, какой навоз загружают русские в свои домны. Чтобы не испачкаться, захватите и свой танковый комбинезон...

. . . .

Появление среднего танка Т-34 было для немцев шоковым ударом, сенсацией № 1, откровением и загадкой: «Это дьявольское наваждение! — говорили они.— Нет, это даже не машина, а какой-то сказочный принц среди наших танков-плебеев...»

На танкодроме, где стоял трофейный Т-34, Паулюс доказывал, что не стоит раньше времени отчаиваться:

— Русские еще не освоили массовое производство, и потому все Т-34 мы выбьем поодиночке хотя бы из калибра «восемь-восемь». Спасибо нейтральной Швейцарии, поставляющей для вермахта такие замечательные зенитные пушки...

Вызванный из лабораторий Нибелунгверке, приехал и знаменитый немецкий танкостроитель — Фердинанд Порше.

— Это правда,— сказал он,— что Т-34 у противника еще недостаточно. Но вы, Паулюс, не забывайте предупреждений Бисмарка: русские долго запрягают, зато они быстро ездят. Из истории нам известно, что Россия всегда к войне не готова, но каким-то странным образом она оказывается победительницей...

Немецких специалистов больше всего поразил двигатель — дизель в 500 лошадиных сил, целиком сделанный из алюминия: «Русские плачутся, что у них не хватает материала для самолетов, а на моторы для танков алюминий нашли...» Паулюс (на основании данных абвера) сказал, что Т-34 подвергался в Москве очень суровой критике, его даже не хотели запускать в серийное производство. Если это так, комиссии предстоит выявить слабые места в конструкции танка.

— Увы... их не существует! — отвечал Порше.

— Но русские-то раскритиковали свою машину.

Это вызвало смех главного конструктора:

— Милый Паулюс, вы что, первый день на свете живете? Должны бы знать, что у подлинных талантов всегда немало завистников, желающих опорочить их достижения. Только этим, и ничем другим, я объясняю критику этой машины.

Паулюс спрыгнул с брони танка на землю: немецкую противотанковую пушку калибром в 76 мм уже выкатывали на прямую наводку. Все попрятались в укрытие, издали наблюдая. Первый снаряд, рикошетируя, вырвал из советской брони ярчайший сноп искр, второй... второй, ударившись в башню, сделал «свечку», и высветленная траектория полета составила точную геометрическую вертикаль — в небо!

— Я не думал,— сказал Порше, выбираясь из блиндажа,— что русская металлургия способна повершить нашу. Как представитель фирмы Круппа, я свидетельствую ее поражение.

Т-34 достался немцам неповрежденным, внутри его оставили все

как было при русских. Водитель имел перед собой портрет Сталина, а башнер, посылая снаряды в пушку, мог глянуть на фотографию своей курносой с надписью: «Помни о Люське!». Паулюса поразила убогая простота внутри машины: не было кресел, обитых красною кожей, нигде не сверкал никель, но в глубоком лаконизме машины чуялось нечто сосредоточенное ради единой цели — боевого удара. Немецкие Т-III и Т-IV создавались из расчета, что их качества будут выше устаревших советских танков. Но перед Т-34 машины вермахта предстали жалкими таксами перед породистым бульдогом. Комиссия обнаружила: Т-34 имел удельное давление на один квадратный сантиметр в 650 граммов, что и объясняло его высокую подвижность (немецкий же Т-IV давил на почву усиленной массой сразу в один килограмм, что в непролазной слякоти русских дорог обещало большие неприятности).

— В мире много прекрасных женщин,— сказал Порше.— Однако на конкурсах красоты выигрывает единственная и неповторимая. Так же с танком! Т-34 пока не имеет аналогов в мире: он — уникален, и скопировать его невозможно. Если же мы попробуем это сделать, мы сразу упремся в непрошибаемую стенку технических проблем, которые для Германии останутся неразрешимыми... А ваше мнение, Паулюс?

— Я нашел единственный недостаток,— сказал Паулюс.— Экипажу слишком тесно внутри танка, но русские очень любят обитать в тесноте коммунальных квартир, умудряясь всей семьей ночевать в одной комнатке...

Немецких конструкторов откровенно страшил дизель из алюминия, цельнолитые башни из стали особой закалки (они были незнакомы со сваркой под флюсом по методу нашего академика Е. О. Патона). Но строптивый Гудериан настаивал именно на получении точной копии советского танка. Однако и Фердинанд Порше и инженеры берлинской фирмы «Даймлер-Бенц» возражали ему:

— Точным копированием русского танка мы распишемся в собственном бессилии. К сожалению, Т-IV уже доведен нами до предельных параметров, а новейшие его модификации невозможны. Остался единственный путь — создать танки Т-V и Т-VI, которые повершат броню и силу Т-34...

Так зародилась идея будущих «тигров» и «пантер».

Но чудовищный призрак «тридцатьчетверки» уже не покидал воображения немцев, и в создании новых танков Германия отныне лишь *подражала* идеальным формам русского танка.

Сейчас, когда я пишу эти строки, даже страшно при мысли, что лучший танк мира Т-34 у нас хотели отвергнуть: сомнения вызывали дизель, сварной корпус, литая башня и чисто гусеничный ход, — иными словами, все самое достойное в конструкции, что и принесло танку международную славу. А в 1965 году военная общественность ФРГ отметила 25-летний юбилей со дня рождения первой «тридцатьчетверки», и на эту памятную дату немцы наложили мрачную патину роковых воспоминаний. Журнал «Зольдат унд техник» признал, что своим появлением Т-34 дал совершенную конструкцию танка, и потому все мировое танкостроение (вплоть до конца XX века) будет исходить лишь из тех технических результатов, что были достигнуты советской наукой.

Мы, отступающие в сорок первом, могли быть уверены, что оружие будет и это оружие будет лучше вражеского.

19. ЛЮДИ, ГДЕ ВАШИ МОГИЛЫ?

Паулюс с зятем вылетели как раз в те места, где осталась моя прародина (по линии бабушки Василисы Минаевны Карениной) и где моему сердцу очень много значат старинные имена — Псков, Дно, Порхов, Замостье и тишайшая речка Шелонь, в которой я, помнится, ловил в детстве раков...

56-й танковый корпус Манштейна прославился тем, что за 4 дня

и 5 часов проскочил от границ Пруссии до города Даугавпилс (Двинск) и занял мосты через Западную Двину (Даугаву). Но, выбравшись на Псковщину, он попал в окружение, его котел снабжался по воздуху.

Это никак не украсило биографии Манштейна:

— Ну, Паулюс, не желаю вам попадать в котлы. Ощущение такое, будто заперли в сейфе, протянув мне соломинку, через которую я мало пил, худо дышал и плохо мочился.

Московское радио сообщало, что в боях захвачены секретные документы Манштейна об огнеметах (речь шла о самовозгорающемся фосфоре, предтече американского *напалма*). Паулюс «поздравил» Манштейна с выговором от имени ОКХ за потерю бдительности, хотя это никак не испортило их отношений. Манштейн доложил, что потери чудовищны, сейчас одну его панцер-дивизию послали к Ильменю на борьбу с партизанами.

— Откуда здесь франтирёры? — удивился Паулюс.

— Наверное, наш визит в СССР был настолько внезапен для русских, что местные власти не успели с мобилизацией. Теперь мужчины призывного возраста ушли в леса, к их кострам подсаживаются выходящие из окружения и просто недовольные нами... не вам объяснять, как зверствуют люди из компании Гиммлера. Так что, Паулюс, мы, кажется, обретаем в России *второй фронт,* и с этим фронтом предстоит считаться.

На траках танков Манштейна еще хранилась пыль дорог всей Европы, а он вдруг заговорил, что они... застряли.

— Чем объясните свою оперативную паузу?

— Даже размерами наших гусениц,— объяснил Манштейн.— Если вы из Цоссена завтра дадите сигнал двинуть мои ролики на Ленинград, мы выйдем к курортам Луги и Вырицы уже с забитыми пылью фильтрами и лопнувшими траками... Не только у нас, но даже у техники сдают нервы и лопаются перепонки!

Беседуя, они шли от полевого аэродрома по заливным лугам, незаметно для себя собрали громадный букет ромашек. В безвестной деревеньке на берегу тихой речки Манштейн занимал избу — с печкой и полатями; барон Альфред Кутченбах, с интересом оглядываясь, уселся на лавке под киотом, и строгие русские боги сурово взирали на загадочных пришельцев. В углу же горницы стоял ящик, из которого торчали горлышки водочных «четвертинок».

Манштейн хвалил русских за их сообразительность:

— Чертовски удобную придумали они расфасовку! Этот ящик достался нам в качестве трофея из одной сельской лавки. Больше там ничего не было. Только учебники, какие-то книжки, паршивые «фотокоры» на треногах и пачки соли, пропахшей керосином.

Манштейн сообщил: тяжелые русские танки КВ, истратив боезапас, идут прямо на таран, и тогда (если не взрываются при ударе) оставляют от немецких роликов груды искореженного металла. Паулюс в ответ рассказал Манштейну, что с Т-34 не справляется даже противотанковая артиллерия — лучшая в мире.

— Шкуру этих зверей пробивает только швейцарская зенитка калибром «восемь-восемь». Это даже немыслимо,— говорил Паулюс,— если небесная артиллерия станет опускать стволы к самой земле, выступая в несвойственном ей амплуа.

Манштейн занимался устройством букета:

— На этих «восемь-восемь» пока и держимся...

Появились хлеб с зельцем, копченая колбаса. Манштейн сказал, что в недавнем бою пленен русский подполковник; он решил не передавать его в СД или СС:

— Потому что это старый, еще царский офицер. Я держу его при

себе — под охраной в бане на огороде. Он предельно откровенен, и мы иногда с ним дискутируем.

— Любопытно. Пригласите его,— сказал Паулюс...

Появился пленный (заспанный). Седоватый ежик волос. Широкое лицо. Грубые руки. В петлицах гимнастерки — три шпалы. Пожалуй, никто, кроме Кутченбаха, не заметил, что он припадает на одну ногу. Увидев зондерфюрера войск СС, сидящего под иконой «Утоли моя печали», русский сказал:

— Ага! Вот этот тип и станет мордовать меня?

Кутченбах засмеялся, отвечая ему по-русски:

— Не бойтесь. Я не по этой части. Переводчик.

— Значит, в эмиграции нашего языка не забыли?

— Я не русский, а немец. Садитесь, пожалуйста.

Манштейн привычно запустил руку в магазинную тару и вытянул на стол четыре бутылочки — каждому по штуке.

— Никак не научусь открывать без штопора.

— Не велика мудрость,— сказал пленный, ударом ладони вышибая пробки, так что водка плеснулась за печку.

На его груди одиноко светилась медаль «XX лет РККА», и Паулюс с некоторым удивлением заметил:

— Не слишком-то щедро вас награждает Сталин.

Подполковник оглядел Паулюса с ног до головы:

— Да, Гитлер щедрее... Но вы и воюете больше нашего. А у нас — что? Конфликт на КВЖД, конфликт на озере Хасан, конфликт на Халхин-Голе, конфликт на Карельском перешейке... Войн нет — одни конфликты: а с них, сами понимаете, воевать не научишься и орденов не нахватаешься.

Кутченбах долго изучал водочную этикетку.

— Цена три марки и пятнадцать пфеннигов... Дорого!

— А вам-то,— ответил пленный,— не все ли равно, что дешево, что дорого? Вы же за нашу водку не платили.

— Думаю,— ответил зондерфюрер,— приди вы в Берлин, вы бы тоже не стали выбивать в кассе чеки за хальб-литтер.

На это подполковник сказал ему:

— До Берлина-то нам еще топать и топать...

Кутченбах перевел, и все дружно захохотали.

— Ваш чин в царской армии? — спросил Паулюс

— Штабс-капитан. Честь имею.

— Образование?

— Начал солдатом. В четырнадцатом. Три Георгия. Школа подпрапорщиков. Снова фронт. И стал штабс-капитаном. А Военную академию имени Фрунзе закончил лишь в тридцать четвертом году... уже при Сталине.

— Я понимаю,— кивнул Кутченбах,— большевики после революции принудили вас к служению в своей армии.

— Я вступил добровольно. Потому что вы наседали на нас. А мне обидно. Как же? С четырнадцатого в окопах мурыжился, и вдруг... вы в Крыму! Вы в Пскове!

— Кстати, как и сейчас,— заметил Манштейн, протягивая пленному кусок колбасы, наколотый на вилку.

— Скажите, пожалуйста,— допытывался Паулюс,— почему вы при царе хорошо воевали, а сейчас отступаете? Наверное, вы, русские, не любите этого азиата Сталина?

— На это я могу вам ответить, что немцы при кайзере воевали тоже намного лучше, нежели сейчас при Гитлере. Дело не в Сталине! У меня нет никаких симпатий к этому человеку, но в свою последнюю атаку я поднимал людей с его грозным именем... Будь там Сталин или не Сталин, наши цели в этой войне четко определились: выгнать всех

вас... обратно! И чтоб вы, немцы, даже забыли, по какой дороге ехали сюда ваши танки.

Ни Манштейн, ни Паулюс не обиделись, спрашивая:

— А вы разве сами не видите, что уже разгромлены?

— Не вижу! У нас Мамай был... триста лет на шее сидел, и то — спихнули. А с Гитлером мы скорее разберемся. Еще год, от силы два, и ваши ролики повернут обратно.

Пленный поднялся, и тут Кутченбах крикнул ему:

— Стоп, моторы! Ну-ка, снимайте правый сапог...

Подполковник прятал в сапоге ордена Ленина и Красного Знамени. Паулюс шутя приложил их к своей груди:

— А это у вас за что? Тоже за... конфликты?

Русский офицер разом опустошил всю четвертинку:

— А ну вас всех... Чем с вами водку тут пить, так лучше отправьте меня за колючую проволоку, как всех. Там мне, знаю, будет хуже, чем в баньке. Но зато... лучше.

— Барон,— обратился Манштейн к Кутченбаху,— доставьте офицера в СД, и пусть ему устроят «шарффернемунг».

В тайной полиции так назывался «энергичный допрос».

Вскоре Манштейн покатил свои ролики к Ленинграду. Сталин отстранил Ворошилова от командования, ибо «железный нарком» вносил в дела только путаницу, а оборону Ленинграда доверил Георгию Константиновичу Жукову. Мы отступали...

. . . .

Страшно! Страшно, если в первый же день войны немцы уничтожили 1200 наших самолетов, так и не успевших взлететь в небо, их разбили в куски на аэродромах — бомбами, их перекорежили гусеницами танков. Не хватало даже винтовок! Ополченцы шли на фронт без оружия, подбирая винтовки убитых. На фронт слали пополнения с учебными винтовками, из которых можно стрелять сколько угодно — все равно никого не убьешь, только глаза себе выжжешь. Генерал-лейтенант Н. К. Попель вспоминал: «Сейчас даже странно объяснить этот винтовочный голод. А все объяснялось просто: огромные ружейные склады находились близ самой границы» (там они и остались),— за это можно благодарить Мехлиса: удружил нам Лев Захарович!

Только углубившись в Россию, немцы своими глазами убедились, что никакой «линии Сталина» у Сталина не было и в помине — очередная басня! Правда, кое-где попадались остатки заброшенных сооружений, уже поросшие травой и земляникой. Еще накануне войны оборудование «укрепрайонов», начатых при Тухачевском, было безжалостно демонтировано, по распоряжению Л. З. Мехлиса, вооружение куда-то вывезли. Генерал-полковник Л. М. Сандалов писал по этому поводу: «Многое из того, что казалось нам тогда непреложною истиной, кануло в Лету потому только, что прямо или косвенно связывалось с именами лиц, отстраненных от командования по вражеским наветам».

Отступали... Новые танки Т-34 еще только входили в серийное производство, а Кулик со щаденками еще до войны запретили выпускать запасные части к танкам устаревшей системы (об этом я говорил ранее), и танкисты, чтобы спасти технику, бывало, «раскулачивали» цельный танк, лишь бы раздобыть запасные детали для других машин. Изношенные БТ-7 и Т-26 бросали на маршах с пустыми баками, без горючего,— как рухлядь.

Мы отступали... Еще гремели бои под Смоленском, когда под угрозой падения оказался Киев — матерь городов русских. Сталин выходил из себя, не позволяя отступать из Киева:

— Нельзя брать пример с Буденного, который, вместо того чтобы остановить Клейста, отважно руководит нашим драпом. Потеряй мы Киев, и немцу откроется путь на Харьков и Донбасс, там наш уголь, наши заводы — за них держаться...

Недоволен был Сталин и действиями Еременко, который сам же и напросился командовать Брянским фронтом.

— Я же его за язык не тянул,— рассуждал Сталин.— Еременко вот здесь, за моим столом, при всех клялся, что оставит от Гудериана рожки да ножки. А теперь сам прыгает по кустам от танков Гудериана, словно заяц...

Но при этом Еременко не потерял его доверия:

— Он, конечно, не генерал от наступления. Чувствую, в этой войне нам пригодятся и генералы от обороны. А в обороне Еременко на своем месте, наказывать его не надо.

...Война явилась строгим проверщиком всех людей, калибров, брони и составов горючего. Прежние тормоза на пути к победе убирались. Л. З. Мехлис еще витийствовал, стреляя в людей, виноватых и неповинных, но Щаденко уже скатился по служебной лестнице — за свое авторство «индивидуальных ячеек»; немцы скученно сидели в траншеях, а наш боец, не видя других из своей «ячейки», считал себя покинутым, ему казалось, что все ушли, бросив его одного; от этого, уже психологически надломленный, боец оставлял «ячейку» и уходил... догонять своих! А эти «свои» оставались в индивидуальных ямах, напоминавших им об уюте могилы.

Кулик был тоже разжалован из маршалов, но оставался верен себе — даже в условиях фронта. С утра раннего он, напомаженный, словно уличная девка, выстраивал на позициях духовые оркестры, как это делалось еще в гражданскую войну, и под музыку трескучих маршей гнал свои войска под немецкие пулеметы. Выкосят немцы одних — шлет вторично. Под музыку! Как под Царицыном... Но тут вмешался сам Жуков, уже входивший в силу, и сказал, что ему плевать на прежние заслуги Кулика:

— Долой с фронта! Чтоб я его больше не видел...

Наверное, Сталин испытал горькое разочарование, когда его старые полководцы, о которых поэты слагали хвалебные песенки, на деле оказались болтунами — и не больше того! Суровое время требовало новых людей, прошедших высшую академическую школу. Знающих не только свою армию с ее портянками и лозунгами, но и тактику противника, наконец, нужны люди убежденные, которых не устрашит никакая ответственность. Где взять таких людей?.. Если, читатель, спокойными глазами оглядеть когорту тех, что начинали постепенно образовывать Ставку, то мы увидим, что победа выковывалась людьми тридцати-сорока лет, не старше. А иначе нельзя: люди другого поколения просто не выдержали бы адского напряжения и такого частотного ритма событий, в каких жила потрясенная страна. Понятно, почему Сталин ухаживал и за Шапошниковым:

— А вы уже не молоды,— говорил он.— Поставьте у себя в кабинете диван. Часа три-четыре позанимайтесь, потом ложитесь и размышляйте... это ведь тоже дело! Вам снова быть начальником Генштаба, а это — не та фигура, чтобы по окопам мотаться. Для этого я найду людей помоложе вас...

Признаем за истину, что Сталина никогда не покидала вера в ум и благородство Шапошникова, хотя Борис Михайлович иной раз сильно его озадачивал. Так, например, когда одному генералу угрожал трибунал с необратимым расстрелом, Шапошников заявил, что он *уже наказал* виновного.

— Наказали? Вы? А как наказали?

— Я объявил ему выговор.

Трубка чуть было не выпала изо рта Сталина.

— Выговор? И это... все? — оторопел он.

— Да. Выговор очень тяжкая расправа,— пояснил Шапошников —

При царе-батюшке генералы, получившие выговор от Генштаба, или сразу подавали в отставку, или стрелялись.

Мы отступали. Но в Кремле случались и веселые минуты. Сталин редко смеялся, но однажды его застали очень веселым.

— Подумайте! — рассказывал он.— Сейчас мне звонил один перестраховщик. Кавалерийской дивизии выдали еще старые шашки, на клинках которых начертано: «За веру, царя и отечество». Я спрашиваю — так в чем дело, разве плохие шашки? А он отвечает: «Очень хорошие, но идейно не выдержанные...»

. . . .

1941 год — это год героический, год незабываемый.

Честь и слава всем тем, кто тогда, изнывая от жажды, отступал с последним патроном в магазине старой винтовки.

Смоленские леса смыкались за ушедшими батальонами.

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса...

Люди, где вы? Тихо. Мне ли забывать вас?

20. А НАШ ДУЧЕ ВСЕГДА ПРАВ

Последний анекдот был таков. Немецкий офицер, будучи в Италии, зашел в римскую кантину выпить вина. Все вокруг было заплевано, и он сказал хозяину: «Синьор, дуче у вас провел немало кампаний — и за высокие урожаи, и за истребление мух. Не мешало бы ему провести последнюю кампанию — чтобы вы, итальянцы, перестали плеваться куда попало». На это хозяин кантины отвечал с глубоким вздохом: «Была у нас и такая кампания. Но мы ее, *как и все другие*, тоже проиграли...».

Итальянцы народ хороший, но экспансивный, и когда им не хватало слов, они начинали плеваться. Вот яркий пример тому: рабочие фирмы «Фиат», выпускавшей моторы для танков, начинали трудовой день с того, что в проходной завода весьма энергично оплевывали плакат с портретом Муссолини, лишь потом занимая места у станков. Цеха, как и улицы, были украшены девизами: «Дуче всегда прав!», а рабочие по ночам писали на заборах: «Пусть дуче сдохнет от рака».

— Врачи нашли у меня только гастрит,— бесновался Муссолини.— Никакие анализы не дают признаков метастаза...

21 июня он получил письмо от Гитлера: «О наступлении на Египет до осени вообще не может быть речи». А среди ночи дуче был разбужен своим зятем, графом Галеаццо Чиано, ведавшим внешней политикой Италии, который сказал, что у него есть очень важное сообщение — опять-таки от Гитлера.

Муссолини растолкал свою солидную жену:

— О, Рахель! Я по ночам не беспокою даже лакеев, а этот пижон с челкой срывает меня с постели... Так в чем дело?

Чиано зачитал обращение фюрера, который в эту ночь принял «самое важное решение в своей жизни» — напал на СССР.

— Рахель, ты слышала? Наша ярмарка прогорела... Это настоящий идиотизм,— продолжал он в сторону зятя.— Что он там импровизирует, не согласовав прежде со мною? Ведь при свидании в Зальцбурге фюрер обещал всю свою авиацию для Африки, а оставил меня с пройдохой Роммелем...

Галеаццо Чиано задумчиво сказал:

— Военные расчеты Берлина всегда оказывались более реальны, нежели прогнозы политического порядка.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Только то, что при гибели корабля матросов часто засасывает

гибельная воронка, и опытные моряки, зная об этом, заранее отплывают как можно дальше... Даже если немецкие генералы спланировали войну идеально, Гитлер допустил роковую ошибку в политических расчетах. Италия не нуждается в преодолении снежных сугробов России, наше будущее простерто от Гибралтара до Аддис-Абебы...

Кажется, сказано достаточно ясно: зять предупреждал дуче быть скромнее и с Россией лучше не связываться.

Муссолини, между тем, развивал свои вожделения:

— Если мы сегодня же не вступим в войну с Россией и не станем главным партнером Гитлера, то он, разбив Сталина, сделает из Италии германский протекторат, в лучшем случае оставив меня на посту римского гауляйтера. А ты, Галеаццо, будешь торговать апельсинами в казино для немецких офицеров.

(Чиано доверил свои опасения дневнику: «А если Красная Армия окажет сопротивление более стойкое, чем армии буржуазных государств? Какова будет тогда реакция в широких пролетарских массах всего мира?».) Чиано сказал:

— Сегодня воскресенье. Все русское посольство с вечера выбралось из Рима, чтобы загорать на пляжах. А на каком пляже купается их посол Горелкин?

— Ищи его в Риччони! Найди и сразу дай ему по лбу, чтобы он содрогнулся от ужаса перед моими берсальерами...

Он еще раз поглядел письмо Гитлера: «Решающую роль вы, дуче, сможете оказать (в войне с Россией), увеличивая ваши силы в Северной Африке». Это возмутило дуче:

— Меня он загоняет в пустыню ковыряться в песочке, а сам будет таскать из России эшелоны всякого добра. Нет уж,— решил Муссолини,— мои ребята не поплетутся в обозах за вермахтом. С тех пор как англичане выперли нас из Аддис-Абебы, путь к восстановлению великой итальянской империи станет пролегать через степи России! Доверимся звериному инстинкту — он меня еще никогда не подводил, и я уже начинаю чувствовать, что в России мне суждено оставить след своей львиной лапы...

Бенито Муссолини тут же позвонил на квартиру маршала Уго Кавальеро, который был начальником генерального штаба и который еще почивал сном невинного младенца:

— Проснись, Уго! Какие дивизии годны для России? Если ты еще дремлешь, так запиши их названия: «Пассубио», «Торино» и «Принц Амадео герцог д'Аоста». Их могучее объединение составит «Итальянский экспедиционный корпус в России».

— Понял,— зевнул Кавальеро.— Сокращенно — КСИР.

— КСИР,— согласился дуче и стал натягивать брюки...

До этого все монологи были произнесены в трусах.

— Рахель,— сказал дуче, застегивая ширинку.— Придется нам с тобою ввести карточки на продукты. Ты представляешь, какой дикий вой устроят мои бумажные итальянцы.

Почему-то он любил итальянцев называть «бумажными».

— Ах, Бенито! Ты погубишь себя и всех нас...

В ответ Муссолини бодро пощелкал подтяжками:

— Ничего! У меня на всех хватит касторки.— Дуче велел срочно разбудить и доставить генерала Мессе.— Джованни! — сказал он ему.— Кажется, тебе предстоит веселая прогулка в Россию. Но сразу предупреждаю, как друга, можешь просить у меня сколько угодно орденов и медалей, но ты не получишь от меня ни пушек, ни танков... они все нужны в Ливии!

Муссолини пожелал видеть атташе Германии, и он принял Ринтелена в своем гигантском кабинете «Палаццо Венеция», где был только один стул — для дуче, а остальные пусть постоят.

— «Стальной пакт» между мной и фюрером, который я желал бы

назвать «Пактом крови»,— объявил дуче,— призывает меня пролить кровь своих берсальеров на полях России, ибо уголь Донбасса своим горением превышает качества угля вашего Рура...

— Не спорю,— согласился генерал Риктелен, имея в виду сравнение угля разных сортов.

Сразу началась грубая и бестолковая агитация по заманиванию в КСИР добровольцев. Нищих и голодных итальянцев соблазняли богатством, которое они обретут в России.

— Русские хуже эфиопов,— внушали им.— За красивую зубочистку они готовы отдать целую корову. Они пожертвуют семейной периной за плевую фотографию нашего великого дуче. Можно получить овцу за почтовую открытку с видом Виллы Савойя, в которой проживает наш скромнейший король.

Солдат, не желавших воевать с Россией, накачивали касторкой, а потом, изможденных обильным поносом, ссылали на голые острова близ побережья. Охотно шли в поход только чернорубашечники, убежденные фашисты, до пупа обвешанные значками всяких спортивных, филателистических, лесоводческих и охотничьих обществ.

— Наш дуче всегда прав! — кричали они...

Вскоре был устроен парад войск, отправляемых в Восточный поход. Конечно, дуче не удержался от речеговорения:

— Мы переломаем большевикам все кости с беспощадностью кровожадных хирургов,— заявил он.— Я дал вам могучую фашистскую технику! — При этом ленивые мулы, которым и не снилась Россия, энергично задвигали ушами, отгоняя назойливых мух.— Наша партия ничего для вас не пожалела. Каждая подошва ваших ботинок держится на семидесяти двух гвоздях. Если не верите, сосчитайте сами... только не сейчас, не на параде! Фашизм,— упоенно продолжал дуче,— это вам не какая-нибудь чесоточная крапивница, от которой не знаешь куда деваться, а потом зуд проходит сам по себе. Фашизм останется вечен, как и эти древние камни Рима... Вива, эй-ялла!

— Вива, вива,— гремело на площади.— Слава нашей великой фашистской партии, а дуче — всегда прав... прав... прав...

Чернорубашечники хором исполнили фашистский гимн:

Молодость — это весенние воды,
Только в фашизме счастье свободы...

На трибуне, провожая войска КСИР в Россию, между германским и японским атташе стоял военный атташе США — полковник Норман Фиске и делал рукой под козырек. Поехали! В вагонах воинского эшелона члены партии воодушевляли молодежь всякими идиллиями, вычитанными из газет:

— Все русские носят длинные бороды, а подпоясываются красными кушаками. У каждого в руках — балалайка или гармошка. С утра они играют коммунистический «Интернационал», при звуках которого в меру обнаженные колхозницы начинают плясать от радости... Все это мы скоро увидим своими глазами!

Эшелоны мчались на север, и на Бреннерском перевале итальянцы заплакали: здесь кончалась их родина. Кто-то вдруг запел «Бандьера нэва», запрещенную при фашизме:

На мосту Бассано — черные знамена.
Траурные флаги — вестники смертей.
На войну собрались храбрые альпийцы.
Движутся навстречу гибели своей...

Честно говоря, мне жаль этих итальянцев. Снежные сугробы в донских степях под Сталинградом станут для многих братской могилой, а те, кто останется в живых, будут расстреляны во Львове и Деблине, гитлеровцы затопчут их живыми в топи болот Белоруссии, и об этом долго-долго никто-никто в мире даже знать не будет... Да, их жалко!

. . . .

В отличие от Муссолини испанский каудильо Франсиско Франко никогда не кричал о том, что он прав, но все-таки он оказался прав, не доверяя Гитлеру, и потому — в ответ на призывы фюрера — отправил в Россию только одну «Голубую дивизию», составленную из отбросов общества; русские в таких случаях говорят: возьми, боже, что нам негоже...

Это был сброд! Уголовники, выпущенные из тюрем; нищие, желавшие обеспечить свои семьи; были и такие, что поскандалили с женами и «отомстили» им экскурсией в Россию; наконец, в «Голубой дивизии» было немало и республиканцев, сознательно ехавших на русский фронт, чтобы сразу же сдаться в плен. Немцы обещали платить наемникам 60 марок в месяц, но выплачивали советскими рублями (из расчета 20 рублей за одну марку).

«Голубая дивизия» сразу показала своим союзникам, что с нею шутки плохи. Проездом через Германию, ради лучшего освещения своих вагонов, испанцы снимали фонари на станциях. Они штурмом взяли вагон-холодильник с сыром и весь сыр мигом слопали; с перрона вокзала в Берлине испанцы мигом «увели» все чемоданы немецких офицеров, приехавших в отпуск, чтобы порадовать родных подарками из России.

«Голубая дивизия» обосновалась на Псковщине, немцы держали испанцев на особом пайке — всего 200 граммов сухарей в день, и те очень легко, даже беззаботно сдавались в плен.

— Сытно пожрать бы, — говорили они на допросах, — а больше нам ничего и не надо. Капитано — сволочь! Сам жрет курятину да нас же и обворовывает... Вы нас простите. Конечно, нам бы лучше сидеть дома, но там жрать нечего!

Испанцы не столько воевали с русскими, сколько дрались с немцами. Заодно уж — за компанию! — они жестоко били своих офицеров. Среди моих земляков остались смутные предания:

— Испанцы-то? А шут их знает, что за люди? Если не дерутся, так они, почитай, все время дрыхли как окаянные. Мы же сами их и будили. Вставайте, говорим, эвон немцы идут. Тут они мигом вскакивали — и в драку...

В наших архивах сохранилось множество показаний испанских военнопленных. Меня удивил один протокол допроса: «Я,— сознался один офицер,— постоянно испытывал все нарастающее чувство привязанности к русскому народу и земле русской. Многие мои товарищи испытывали те же чувства... поверьте, я будто стал очищенным ото всей скверны».

Франко очень скоро убрал «Голубую дивизию» с русского фронта, а Гитлер не смел возражать, ибо он нуждался в поставках ценного вольфрама из рудников Испании. Впрочем, этим испанцам потом даже повезло: многие до сих пор получают приличную пенсию от правительства ФРГ и живут неплохо.

Итальянцы ничего не получают и никогда уже не получат...

21. ВОЙНА ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Красная Армия по-прежнему отступала — когда дорогами, а чаще лесами, проселками, через болота. С картами было плохо! Перед войной, боясь шпионов, все что надо и не надо засекретили, даже географию, а так как военная доктрина учила, что воевать предстоит только на чужой территории, то выпускали карты Европы, а своих вот не было. У немцев же — наоборот! — имелись прекрасные карты России, и потому наши командиры всегда желали иметь трофейные карты своей же родной земли... Вот и «драпали» дальше на восток, прочитывая при кратких вспышках спичек по-немецки написанные русские

названия: Дедово, колхоз «Путь Ильича», Бабий Лог, совхоз «Сталинским путем»...

— Эх, где наша не пропадала! Пошли, братцы, далее.

Ведь еще совсем недавно, во время предвоенных маневров, красноармейцы проходили через села, бабы выносили навстречу горшки с топленым молоком, старухи несли в подолах яблоки, малину в деревенских решетах, старики-пасечники угощали сотовым медом. А теперь даже таились деревень — как бы не нарваться на немцев — и тянулись околицами, небритые, грязные, кое-как забинтованные, стараясь не смотреть в глаза встречным, безголосый позор уязвлял души, а командиры со шпалами и ромбами в петлицах выслушивали обвинения стариков:

— Мы-то в германскую не пустили немака на свою землицу. На кого же нас бросаете? Сколь годочков в нитку тянулись, на вас же налоги платили, а вы... Вернетесь ли?

— Жди, дед. Вернемся. А сейчас и без тебя тошно...

Время было лютейшее: сегодня жив, а завтра тебя нету.

Люди топали по родимой земле, осиянной трескучими пожарами деревень, мимо старинных погостов, где под крестами навек опочили их достославные пращуры. Это уж потом, дошагав до Берлина, вислоусые «отцы» спрашивали молодых:

— Ты, сынок, с какого года на фронте?

— Да, почитай, с сорок третьего. А что?

— У-у, сопляк какой! Кто в сорок первом не воевал, тот и войны-то не видывал, тот и беды не знавал...

Орденоносцев в армии тогда было очень мало. На человека с медалью «За отвагу» смотрели во все глаза, как на жирафа глядят в зоопарках. Гимнастерки солдат, принявших на себя первый удар вермахта, были украшены значками «Готов к труду и обороне» или «Ворошиловский стрелок», но и эти скромнейшие отличия, наверное, тоже к чему-то обязывали... Отступали!

В редчайшие минуты отдыха Шапошников говорил:

— Эта война, какой еще не знало человечество, позже, когда нас на свете не будет, привлечет обостренное внимание историков. Потому нельзя оставлять после себя одни белые пятна, преступно говорить только об успехах, скрывая жесточайшую правду. И пусть потомки увидят не только мужество солдат наших, но и трагические просчеты генералов... Пройдут годы, и какой-нибудь листок из блокнота, написанный комбатом в траншее за минуту до его гибели, станет важным историческим документом... Сберечь бы все это!

Сберечь не удалось. Может, еще где-то на дне старческих сундуков и лежат солдатские письма. Может, какая-либо старуха, вспомнив молодость, и прочтет в тысячный раз: «Добрый день, Маня! Во первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю...» А куда он, ее муж, делся потом — об этом никто и никогда не узнает. Намучились до войны, страдали во время войны и наплакались они после.

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

. . . .

Паулюс с зятем возвращались из группы Манштейна в пустынном транспортном «юнкерсе», с ними летел и генерал Эрих Гёпнер, на его голове черная пилотка танкиста сидела чересчур залихватски, а посреди фюзеляжа стоймя был поставлен рояль.

— Это ваш? — спросил Паулюс о рояле.

Рыцарский крест украшал мундир Гёпнера.

— Именно о таком «Стейнвее» жена и мечтала. Это из витебского клуба железнодорожников. Русские держали его на сцене, совсем не понимая того, что габариты стиля «миньон» допустимы лишь для дамского будуара.— Взревели моторы «юнкерса», Гёпнер невольно повысил голос: — Вы не слышали последнюю новость, Паулюс?

— Нет. Я кормил комаров в лесах под Лугою.

— Сталин начинает менять людей. В начальники своего Генштаба он снова поставил старого Шапошникова, чтобы освободить Жукова для фронтовой работы. Думается, в Кремле сейчас мечутся, выискивая новых людей, чтобы заменить прежних начальников.

Гёпнер по-хозяйски придерживал рояль (через три года, когда Гитлер станет его вешать, он будет жалобно просить об одном — не конфисковывать его имущество). Паулюс сказал, что для ОКХ останется, наверное, загадкой внезапное устранение Шапошникова из Генштаба, а теперь — непонятное его возвращение.

— Никаких загадок,— отвечал Гёпнер,— просто у Сталина совсем не осталось здравых людей, вот и вернул Шапошникова.

— Но там уже был некий Жуков.

— А кто знает Жукова? Никто...

На аэродроме в Летцене Паулюс встретил генерала Курта Гаммерштейн-Экворда, снова он выслушал от него едкие слова:

— Все сроки прошли, а Россия не капитулировала, как вы полагали в Цоссене. Глупо думать, что отступление русских является преднамеренным, и вряд ли они следуют маршрутами Барклая и Кутузова. Вам, Паулюс, еще предстоит покрутиться под куполом этого цирка, но я... я уже покинул эту арену!

«Странные слова, и при чем здесь 1812 год?»

Вот и Альтенштайнштрассе; поднимаясь по лестнице, Паулюс уже мечтал о пушистой пижаме и домашнем уюте. А завтра можно выехать с Коко за город — рисовать акварелью старые деревья над притихшей водой. Жена встретила его слезами:

— Боже, как я волновалась все эти дни, а теперь счастлива, что ты вернулся с войны... снова дома.

Паулюс, обнимая Коко, весело смеялся:

— Поверь, именно на фронте у Манштейна я... отдохнул. А теперь с ужасом думаю, что снова надо ехать в Цоссен или мотаться в Пруссию. На фронте все-таки легче...

Радиоприемник заполнял квартиру пением победных фанфар, знакомый голос Ганса Фриче возвещал о новых и, как всегда, «исторических» победах фюрера на Востоке. Молоденькая горничная поднесла Паулюсу рюмку яичного ликера на подносе. Он уже слышал шум горячей воды — ему готовили ванну.

За обеденным столом Елена-Констанция спросила:

— Не скрывай от меня — когда закончится война?

Паулюс в этот момент прислушался к речи Ганса Фриче, который сообщал о пресс-конференции для иностранных корреспондентов, устроенной Риббентропом; министр выразился так — СССР уже перестал быть фактором, имеющим в мире политическое значение. Даже те, кто сомневался в успехе этой войны, теперь свято уверовали в гений нашего фюрера.

— Не все,— сказал Паулюс, как бы отвечая и жене и тому же Гансу Фриче.— Вермахт сильно забуксовал под Шмоленгсом.

— Это серьезная остановка?

— Вермахт она не остановит, но сроки войны передвинутся дальше. Мы ведь надеялись захватить много вагонов и паровозов, чтобы не перешивать узкую колею, принятую в Европе, на более широкую — российскую. Но большевики угоняют весь подвижной состав, и нам приходится задействовать автомобили. Сейчас мы собрали со всей

Европы четыреста тысяч машин... Представь, сколько горючего пожирает эта армада?

Зазвонил телефон, жена сняла трубку.

— Гальдер... тебя, Фриди,— сказала она.

— Паулюс,— послышался сдавленный голос из бункера Цоссена,— у вас нет никаких соображений по поводу того, что Шапошников вернулся в свой Генеральный штаб?

Паулюс сказал, что ему как-то безразличны эти перестановки «мебели в кремлевских кабинетах», что в любом случае общий интерьер останется, по его мнению, прежним — маловыразительным. Затем они встретились, и разговор с Гальдером был продолжен:

— Шапошников, пожалуй, единственный сейчас в окружении Сталина, кто не боится возражать ему, и его советы могут быть опасны для нас. Потому его следовало бы обезвредить.

— Каким образом? — спросил Паулюс.

— Через Бухарест или Хельсинки — так будет достовернее! Подозрительный Сталин сразу удалит Шапошникова...

Теперь в Цоссене всем уже было ясно, что молниеносная война (блицкриг) превращалась в войну затяжную. Пока помалкивали об этом, но каждый понимал, что предстоит зимняя кампания, к которой вермахт не был подготовлен. По этой причине немецких генералов заразила эпидемия наполеономании. Это подтверждали и вести с фронта. Фельдмаршал Клюге — по мемуарам французов о походе 1812 года — пытался отгадать, что ждет его войска в зимней России. Ходили слухи, что Гудериан даже устраивает ночлеги в местах, где когда-то переспал и Наполеон. В совпадениях (и даже в географии) немецкие генералы хотели видеть что-то пророческое, указанное им свыше. Гитлер, напротив, даже ликовал от совпадений:

— Мы форсировали Неман в тот же день, что и Наполеон! Наши танки ворвались в улицы Вильно и Ковно двадцать четвертого июня — в день, когда туда вошла кавалерия Мюрата... Но мы обгоним Наполеона на своих моторах!

Паулюс, вдумчивый аналитик, был далек от того, чтобы проводить мистические параллели между 1812 и 1941 годами:

— Сравнение этих войн не выдерживает критики,— рассуждал он академическим тоном, словно читая лекцию.— Избегая сражений с Наполеоном, русские ничего не теряли, кроме унылых и безлюдных пространств. В этой же войне они оставляют промышленные центры, без которых немыслимо снабжение сталинских армий. Потому и отпор большевиков будет возрастать день ото дня — по причинам, далеким от исторических аналогий. Сейчас их должна бы беспокоить потеря месторождений молибдена и марганца, без наличия которых немыслима вся сложная металлургия легированных сталей...

7 августа в Цоссене появился Хойзингер — со смехом:

— Поздравьте: у меня в Москве появился... антипод. Шапошников, вернувшись в Генштаб, выдвинул в начальники оперативного отдела молодого Александра Василевского.

— Что вам, абверу, известно о нем?

— Василевский еще в стадии нашего изучения. Известно, что он из семьи священника. Офицером стал еще до революции. Воевал с нами в армии Брусилова. Принадлежит к числу очень редких в Москве поклонников учения Драгомирова, который, как вам известно, моральный фактор в сражении ставил выше технического воздействия. В обращении с подчиненными Василевский отзывчив и даже мягок. В личной жизни порядочен. С отцом-священником, как член партии, отношений не поддерживает. Имеет лишь единственный орден... незначительный!

В августе радиостанция Хельсинки нанесла провокационный удар. В передаче на русском языке некие «друзья» обращались лично к

Шапошникову, убеждая его не казниться более муками истерзанной совести, к чему эти запоздалые раскаяния? Ему, бывшему офицеру царского штаба, пора обратить свой ум на служение не Сталину, а страдающей русской нации. Шапошников этой передачи не слышал. В эти дни (дни жестоких боев под Смоленском) его однажды видели даже небритым.

Он уснул над аппаратом Бодо, ожидая связи с Жуковым.

Связь работала, как всегда, отвратительно.

. . . .

Незадолго до войны в очень морозный день Сталин звонил в Ленинград, и вдруг в его трубке послышалось:

— А корыто? Корыто купила ли?

— Ой, два часа выстояла... достала. Цинковое!

— Манька-то как живет? Разошлась со своим?

— Выгнала! У нее теперь хахаль... непьющий.

— А сколько он получает, ты не спрашивала у Маньки?

— Да инженер! Много ль с инженера накапает?..

Сталин вызвал наркома связи И. Т. Пересыпкина:

— Если я могу свободно подслушивать чужие разговоры, значит, и мои разговоры кем-то прослушиваются... Разберитесь!

В недостатках связи пришлось разбираться в самый разгар войны, когда управление армиями было уже потеряно. Войска слишком надеялись на линии Наркомата связи — на проволоку между столбами. Совсем не учли, что война будет маневренной, а линии связи протянуты, как правило, вдоль железных дорог или важных магистралей. Чуть войска отойдут от дорог подальше — ни столбов, ни проволоки. К тому же связь была не подземно-кабельная, а воздушно-проводная, и противник смело к ней подключался, прослушивая наши переговоры, а иногда немцы давали по нашим войскам ложные приказы — отступать! Слепое доверие к телефонам порою кончалось трагедиями, гибелью множества людей. При этом существовала «радиобоязнь»: к походным радиостанциям относились, как к лишней обузе, за которую надо отвечать, при первом же удобном случае их отсылали в обоз. Это происходило от недоверия к сложной аппаратуре, от боязни штабов быть запеленгованными противником. Шифровальные же коды были настолько сложными, что зачастую приказы передавали в эфир открытым текстом, после чего на штабы сыпались бомбы. Но вот что достойно внимания: танкисты с авиаторами активно пользовались радио, требуя от командования только одного — скорейшей радиофикации танков и самолетов. Скоро наши воины освоили все приемы связи, а радио стало привычным для командования. Но в 1941 году мы еще блуждали во всеобщей немоте, и даже сам Пересыпкин, ставший маршалом войск связи, порою никак не мог соединить Сталина со штабом Буденного:

— Извините, осталась связь только по азбуке Морзе.

— Вы по азбуке Морзе с женой договаривайтесь,— злился Сталин,— а я должен слышать Семена, чтобы по голосу определить, как он там... жив или уже помер?

Фельгиббель в эти дни снова повидался с Паулюсом.

— Мы,— сообщил он,— сейчас перехватили интересную информацию от русских. Сталин нервничает из-за Киева, очень недовольный Буденным, и, кажется, вместо этого конюха будет назначен Тимошенко... Тебя это интересует?

— Нет,— отозвался Паулюс.— Не все ли равно, кто будет под Киевом, которого русским все равно не удержать. Меня беспокоит иное... вот эта карта, видишь?

Запрограммированная в планах линия «Архангельск — Астрахань», эта стратегическая линия, на которую войска вермахта должны бы уже давно выйти, оставалась пока недосягаема. Паулюс просил Фель-

гиббеля всмотреться в эту роковую черту фронта, что вытянулась почти прямой вертикалью:

— Ленинград — Днепропетровск, вот и все, чего мы достигли ценою бешеных усилий, ценою колоссальных потерь, износив моторы и нервы, растратив колоссальные массы дефицитного горючего. Утешаюсь только тем, что инициатива и стратегический успех пока еще принадлежат н а м... Все изменится, если не мы, а они станут навязывать нам свою славянскую волю, а эта воля, как известно из истории, всегда была способна соперничать с нашей, великогерманской.

— Значит, Тимошенко не боишься? — спросил Фельгиббель.

— Я должен остерегаться тех, которые еще неизвестны. Но они, несомненно, должны скоро обнаружиться... В двенадцатом году Наполеон знал тоже двух полководцев — Барклая и Кутузова, но разбили-то его совсем другие, Наполеону ранее неизвестные.

22. КУДА ПОКУПАТЬ БИЛЕТ?

Теперь Паулюс редко бывал дома. Самолетом или дизельным экспрессом он часто мотался между Цоссеном, где владычил угрюмый Гальдер, и убежищем «Вольфшанце», где диктовал свою волю Гитлер, а Йодль с Кейтелем внимали ему с напряженным видом. Наконец Паулюс решил не играть с фюрером в кошки-мышки, а честно предупредить его: зимняя кампания неизбежна, вместе с нею мучительно назревают новые проблемы.

— Мы ведь еще не знаем,— докладывал он,— как наша техника перенесет русский климат? Не загустеет ли в баках горючее? Как отреагируют технические масла? Что делать, если смазка замерзнет на оружии, а тавоты кристаллизуются? Русские лучше нас приспособлены к своим природным условиям, и наверняка именно зимою они постараются навязать нам свои решения.

Гитлер слушал спокойно (во всяком случае Паулюсу не приходилось видеть его катающимся по полу и грызущим ковры от ярости). Лишь постепенно он стал возбуждаться:

— Паулюс, я не желаю слышать подобную болтовню,— именно так записала его ответ стенографистка.— Спокойно доверьтесь моему дипломатическому опыту. Армия должна нанести русским лишь несколько мощных ударов... Впредь я самым категорическим образом запрещаю вам говорить о зимней кампании!

Паулюс чуть было не сказал, что при морозе в сорок градусов никакой Талейран не способен повлиять на химический состав тавотов и бензолов. Близилась осень. Авиаразведка докладывала, что из смоленского котла советские войска выходят чуть ли не стройными колоннами. Разрывы в линии фронта угрожали теперь вермахту. Фельдмаршал фон Бок радировал Кейтелю, что его наступление выдохлось: через «кровавую печь» боев под Ельней прошли тысячи солдат, а от боевых дивизий, недавно еще полнокровных, остались лишь жалкие ошметки.

Гитлер заговорил иначе — даже ласково:

— Москва для меня — географическое понятие, не более того. Заводы Харькова и рудники Донбасса важнее! Москва, да, узел скрещения всех железных дорог. Согласен. Допустим, я покупаю билет на московском вокзале. Но... куда мне ехать дальше?

Тут и Паулюс, уж на что был выдержанный человек, но даже он разволновался, ибо отлично понимал, что со взятием Москвы война не закончится, а лишь еще более затянется, встреча же с японцами на берегах Байкала — такая перспектива в его сознании не укладывалась. Так куда же, черт побери, ехать дальше?

— Куда нам покупать билет на московском вокзале?

Это спросил Йодль, а Хойзингер решил пошутить:

— Лучше всего в... Берлин,— сказал он.

— Глупые у вас шутки, Хойзингер! — обозлился Гитлер.

Паулюс, наслушавшись таких разговоров, говорил жене:

— Не хватит ли? Меня в вермахте считают самым выдающимся бюрократом... надоело! Я чувствую, что пришло время сменить номера телефонов, чтобы обо мне, как о «бюрократе», забыли. Надо подумать о месте на фронте...

Гальдер знал об этом желании Паулюса, обещал помочь:

— Понимаю, вы уже засиделись до того, что пора приобрести геморрой. Хотя мне и жаль спускать вас со своего короткого поводка. А на длинном поводке много ли набегаетесь? Ведь вы никогда не командовали ни дивизией, ни даже полком...

4 августа Паулюс оказался на берегах Березины, в городке Борисове, где еще догорала спичечная фабрика. Здесь Гитлер пожелал встречи с генералами, дабы обсудить — куда следовать далее. Утром за чашкой кофе фельдмаршал фон Бок заметил Паулюсу, что у него еще хватит сил для решающего удара:

— По Москве, главному нерву большевизма...

Но, делая доклад в присутствии фюрера, фон Бок сам же признался в ослаблении своего фронта, предлагая своей группе «Центр» занять оборонительные позиции. Гейнц Гудериан веселья никому не прибавил, заговорив о... з и м е:

— Как и подковам лошадей требуются шипы в гололедицу, так и танкам нужны шипы на гусеницы. Семьдесят процентов моторов отработали ресурсы, фильтры забило, они уже не спасают моторы от пыли, а поршневые кольца стерлись.

— Это и есть ваши претензии? — спросил Гитлер.

Кейтель с Йодлем тактично помалкивали.

— Я сказал только о моторах, но у меня почти не осталось опытных офицеров. Срочно нуждаюсь в пополнении.

— У меня такая же картина,— нехотя добавил Генрих Гот.— Сейчас мы способны на ограниченные операции с частным успехом. Опять мало пленных! Странная ситуация: чем сильнее напряжение вермахта, тем меньше количество пленных...

Было высказано соображение: варварским отношением с пленными мы сами дали отличный материал для советской пропаганды, и теперь русские не торопятся поднимать руки. Паулюс не вмешивался: военнопленные — это забота ОКВ, а он принадлежит к ОКХ, и пусть выкручивается сам Кейтель.

Кейтель громыхнул фельдмаршальским жезлом:

— С большевиками рыцарской войны не ведем. Речь идет о полном уничтожении их мировоззрения. Я не вижу причин для изменений в режиме военнопленных. Мы не намерены варить для них супы из концентратов для солдатского рациона.

Гитлер вызвал неловкую паузу, внеся предложение:

— Я не возражаю! Если пленные умирают от голода, то пусть пожирают один другого. Нам же спокойнее...

Паулюс заполнил паузу сообщением из Ливии:

— Нехватка резервов сдерживает Роммеля в его порыве к Нилу, он наскреб двести танков, а генерал Окинлек, сменивший Уэйвелла, собрал под Каиром больше тысячи машин.

— Нам сейчас не до экзотики с пирамидами,— ответил фюрер. — Роммелю занять прочную оборону и ждать, пока не сломлено сопротивление русских. К сожалению, у Сталина обнаружилось танков и авиации гораздо больше, нежели мы предвидели. Будь я осведомлен об этом заранее, мне было бы *труднее* принять решение о войне на Востоке...

Что это? Продуманные слова? Или случайная обмолвка?

Генералы даже притихли — в оцепенении.

— Теперь я понимаю,— продолжал Гитлер,— что нам уже не объять всей необозримой русской массы. Маршевое напряжение пехоты достигло крайнего предела. От гигантского русского торта мы должны (и как можно скорее!) отрезать самый лакомый кусок для насыщения нашей экономической базы. Я имею в виду промышленные районы Харькова и Донбасса. Согласен, что маршевое напряжение вермахта достигло предела. Вы знаете, я был против вмешательства Италии в наши русские дела. Римские крохоборы получили от Абиссинии горстку арахиса, от Греции имеют банку маслин, а теперь дуче пожелал иметь фунт русской говядины. Но пусть в Риме не думают, что отделаются тремя дивизиями с тощими мулами, слава богу, их еще не надобно отпаивать нашим бензином. Теперь я потребую от дуче целую армию...

Франц Гальдер осмелился заметить, что вермахту необходима передышка, хотя отсутствие прежнего напряжения — он признавал это! — неизбежно вызовет стратегический кризис:

— Потери? Да. Но в прошлой войне потери кайзера на Востоке *тоже* были гораздо более, нежели на Западном фронте.

Вот тут Гитлер и взорвался, указывая на Гальдера:

— Он, проторчавший в тылу и не имеющий даже нашивки за ранение! Ему ли судить о потерях? Ему ли, который протирает штаны в кабинетах Цоссена на казенных стульях...

Август 1941 года вошел в историю как *кризис* в высшем руководстве вермахта, а вопрос о том, куда следовать, разрешался в трояком варианте: Готу и армии фон Лееба по-прежнему давить на Ленинград, чтобы соединиться с Маннергеймом, танкам Гудериана крутиться по Украине, а потом... и Москва!

Вечером Франц Гальдер, оскорбленный бранью Гитлера, устроил выпивку с Браухичем и Паулюсом. Говорили, что главные резервы Сталина собраны под Москвою, и потому, разбив эти резервы, покорением Москвы можно сразу покончить с затяжною войной. Стекла пенсне Гальдера отражали отблески пожаров на спичечной фабрике. Березина протекала рядышком — вся какая-то черная, страшная, невольно напоминая о Наполеоне.

— Фюреру,— сказал Гальдер,— уже не терпится насытить свои домны марганцем и железом Криворожья. Геринг предвкушает пышки из украинской пшеницы, которые он станет оснащать астраханской икрой. Наша большая стратегия стала зависима от обильного выделения слюнных желез рейхсмаршала и от аппетитов Круппа, сидящего на молибденовой диете.

Браухич, загрустив, предложил всем напиться:

— Прозит! Что поделаешь, если на руках нашего фюрера полно неоплаченных чеков из банков финансовых воротил...

Смысл в этих словах был, и смысл даже немалый. Экономика воздействовала на политику, но она же вмешивалась и в вопросы батальной стратегии. В счет погашения этих «чеков» Гитлер перенацеливал главные силы к югу, где и без того мощная армада Рундштедта перепахала всю Украину гусеницами танков. Гитлер всегда испытывал брезгливую антипатию к самому Рундштедту, неуклюжему и рычащему, словно медведь, но Рундштедт был ему сейчас нужен — как таран для сокрушения ворот, открывающих подземные кладовые Донбасса. Гитлер в частной беседе с Паулюсом (еще в Борисове, на берегах Березины) сказал:

— Я более доверяю вашему приятелю Рейхенау,— и Паулюс невольно кивнул, понимая, что Рейхенау устраивает Гитлера, как старый убежденный нацист.— Вы,— спросил фюрер,— еще не потеряли нежных чувств к своей шестой армии?

— Нет, фюрер, с нею у меня много связано.

— Навестите ее! Заодно передайте Рейхенау мой партийный привет и скажите, чтобы меньше пил и меньше бегал...

Встреча с 6-й армией, которую Рейхенау толкал к Днепру, была для Паулюса очень приятна, он был прекрасно принят офицерами, сослуживцами по кампании во Франции, многие солдаты помнили его, приветствуя с прищелкиванием каблуков. Но... лучше бы Паулюс не навещал южных плацдармов фронта. Он вернулся в Берлин, изнуренный вспышкой дизентерии, которую унаследовал еще смолоду в рядах Альпийского корпуса.

— Вот видишь,— упрекнула его Коко,— лучше сидеть у телефонов и карт в Цоссене, где все гигиенично. А тебя потянуло к этому забулдыге Рейхенау, которого сам черт не берет. Конечно, он так проспиртован, что ему даже чума не опасна...

Из двух туалетов в квартире обер-квартирмейстера один был закреплен лично за ним, ибо Паулюс часто нуждался в его отдельном уюте. Узнав о болезни Паулюса, его однажды навестили Кейтель с Йодлем, которых Елена-Констанция обдала высокомерным презрением аристократки, а потом говорила:

— Для общества таких людей, как этот Йодль с Лакейтелем, ты, Фриди, слишком порядочен и благороден...

Паулюс ответил жене, что с Кейтелем у него ровные отношения, но Йодль ему неприятен после одного случая:

— Когда я делал доклад о плане «Барбаросса», этот мерзавец зевал так беззастенчиво, будто я несу чепуху, и на морде у него было такое брезгливое выражение, словно его с утра накормили дохлыми мухами... Простить не могу!

— Ты, надеюсь, сделал ему тогда замечание?

— Нет. Зачем наживать лишних врагов?

— Ах, Фриди! До чего же ты деликатен...

«Киев оказался крепким орешком»,— известил в эти дни Рейхенау Паулюса. На помощь немецким дивизиям уже валила давно немытая, голодная и голосистая ватага итальянцев... КСИР!

. . . .

24 августа Муссолини встретился с фюрером в Бресте, где была расположена личная ставка Германа Геринга. Бронепоезд Гитлера на всех парах еще подкатывал к Бугу, когда в его салоне Уго Кавальеро продолжал тягостную беседу с Кейтелем:

— Роммель полагает, что проблема Африки неотделима от дел Восточного фронта, желая, чтобы войска, ведущие осаду Тобрука, были подчинены лично вашему командованию в России.

Это все равно что быку показывать красную тряпку.

— Пусть не выдумывает! — надменно отвечал Кейтель.— Я понимаю интригу Роммеля: в подчинении Восточного фронта он станет претендовать на одинаковое с нами снабжение. Но мы не будем транжирить резервы вермахта, столь необходимые для России, ради его африканских иллюзий...

Два диктатора, дуче и фюрер, запечатлели свой нерушимый союз на фоне развалин Бреста множеством фотоснимков, что весьма льстило тщеславному Муссолини. Гитлер повел рукою вокруг:

— Смотрите! В этом городе Ленин подписал Брест-Литовский мир с Германией, который сделал Россию посмешищем всего мира, и теперь, когда Сталин запросит мира у меня, я заставлю этого азиата расписаться в собственном бессилии на первом же кирпиче, взятом из руин этой крепости... Клюге!

— Я весь внимание, мой фюрер.

— Подберите хороший кирпич. Я этим кирпичом сначала тресну Сталина по голове, а потом он на нем и распишется... Это нужно для

музея славы, который после войны откроется в Берлине для обозрения иностранных туристов!

— Слушаюсь, мой фюрер.

23. ЧЕРЕЗ ХАЦЕПЕТОВКУ

Фельдмаршал фон Клюге и стал их полезным гидом.

— Мы никак не ожидали,— рассказывал он, увлекая гостей в руины Брестской крепости,— что именно здесь, возле границы, русские задержат вермахт на целый месяц. Форсировав Буг, танки рванулись вперед, но вскоре пришлось отозвать их обратно — в помощь нашей инфантерии. Из Германии на особых платформах вывезли шестисотмиллиметровые пушки, чтобы они похоронили русский гарнизон в развалинах этой крепости...

Муссолини ликовал от подобных признаний Клюге: «Значит, не всегда влетает моим *бумажным* итальянцам, достается теперь и *железным* фрицам...». Изобразив на лице приличное внимание, он выслушивал утомительные длинноты Гитлера, который снова завел любимую пластинку — о полном разгроме Красной Армии, которая, уже шатаясь от ран и голода, вот-вот взмолится о новом варианте «брест-литовского» мирного договора. При этом носком сапога фюрер поддел из-за камней что-то рыжее, и Муссолини отшатнулся, увидев истлевшее лицо женщины, облепленное спекшимися в крови волосами. Подле нее лежала винтовка, из груды кирпичей торчала ручонка младенца.

— Видите,— сказал Гитлер.— Эти азиаты, попавшие под ярмо жидовского марксизма, не жалеют даже своих мегер...

Фельдмаршал фон Клюге, стоя сбоку, подсказал Муссолини, что это не был «женский батальон», как писали в газетах: жены русских офицеров сражались рядом с мужьями. Муссолини заметил на стене какую-то надпись и просил перевести ее с русского: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, любимая Родина...». Это настолько потрясло дуче, что он даже притих, позволяя Гитлеру вести заунывные монологи о непобедимости его вермахта. Но теперь, после Бреста, дуче не очень-то в это верилось. Совсем недавно (19 августа) он решил более не посылать итальянских рабочих на заводы Германии. Именно об этом и заговорил с ним рейхсмаршал Геринг, который своим объемным животом тесно соприкасался с выпуклым чревом Муссолини:

— Напрасно вы отказываете нам в своих итальянцах. Взамен мы дали бы вам пленных большевиков, чтобы они работали на ваших заводах. Если их подкормить, они еще показали бы вам, что такое стахановское движение и как с ним бороться.

— Нет уж! — испугался Муссолини.— С пленными русскими распутывайтесь сами. Если их поставить к нашим станкам, они быстро споются с моими бездельниками. Лучше уж я велю полиции переловить тунеядцев, загорающих на пляжах Риччони или живущих в отелях Остии непонятно на какие доходы... Пусть они и ставят трудовые рекорды на ваших эссенских шахтах.

Потом дуче тихонько шепнул генералу Уго Кавальеро:

— Гитлер — сволочь... совсем обнаглел.

— Вы, дуче, так считаете?

— Да. Он всегда согласен в знак дружбы поменяться рубашками. Но при этом я должен не вынимать из своих манжет бриллиантовых запонок... Тебе, Уго, не кажется, что у немцев дела неважные? Как бы эти подонки не стали просить у меня солдат?

— Мы дали им три дивизиии... разве не достаточно?

— Пойми, Уго: я сейчас в поганом положении. Если мы не проявим активности в России, победы вермахта выявят слишком большую диспропорцию между нашим и германским вкладом в общее дело

«Стального пакта». Чем больше крови выпустить из моих итальянцев в России, тем больше выгод получим после мира...

Бенито Муссолини не кривил душой, уподобясь мародеру, который тихо крадется вслед за солдатом, чтобы тут же подобрать все, чем солдат не пожелал пачкаться. Так что в этом вопросе (о насыщении) цели дуче и фюрера полностью совпадали. А потому, когда Гитлер завел речь об увеличении итальянского контингента в России, дуче согласился усилить КСИР:

— Мой корпус со временем превратится в «Итальянскую армию в России». Сокращенно назовем ее так — АРМИР.

— АРМИР... я не против,— согласился Гитлер.— Но ваш генерал Мессе будет подчинен моему генералу Эвальду Клейсту.

— Прошу, фюрер, напомнить о его заслугах.

— С удовольствием. Клейст недурно катается на роликах...

Из Бреста диктаторы, окруженные свитами, отбыли в Умань, где располагалась командная ставка Рундштедта. Здесь, в райском уголке Украины, на Гитлера обрушилась лавина почестей, криков и восторженных приветствий. Несчастного дуче оттерли подальше, с сиротским видом он жаловался Кавальеро:

— Ничего, Уго! Скоро я их всех перепугаю...

Гитлер пригласил дуче к столу с оперативными картами. Рундштедту велели изображать великого стратега с указкой в руках. Гитлер сказал Муссолини:

— Для фоторепортажей нужно, чтобы мы склонились над картой. Заранее сделаем сосредоточенный вид. А вы, Рундштедт, не дергайтесь со своей палкой, будто ковыряетесь иа помойке. Вы нам точно указывайте на Киев, чтобы берлинские и римские читатели газет ясно видели: битва за Днепр продолжается!

Наконец фотоблицы перестали вспыхивать.

— Будут отличные кадры,— сказал Гитлер, отходя от стола, а дуче подвигал кувалдой челюсти, словно давно несытый бульдог, которому разрешили облизать пустую миску...

«Вот я их напугаю»,— предвкушал он.

Вереница автомобилей покатила в село Ладыжинку, на всем пути следования были расставлены стога сена, в которых сидели автоматчики, охранявшие кортеж от партизан. Дуче успокоился при мысли, что война с Россией изнурит Германию до такого скотского состояния, что уже не Гитлер будет диктовать волю Италии, а, чего доброго, он, Бенито Муссолини, станет грозно цыкать на Гитлера... Они въехали в Ладыжинку, где дуче произнес речь, потом состоялся парад «моторизованных» частей КСИР, вызвавший новое унижение Муссолини и ядовитый смех напыщенных гитлеровцев. Берсальеры с петушиными хвостами на касках прокатились по деревне на спортивных мотоциклетках с таким страдальческим видом, будто их посадили на гвозди. Грузовики с пехотой постыдно буксовали в лужах, водители сидели в открытых кабинах, словно в прогулочных «фиатах», потом дружно свернули в кювет.

— Уго,— вспылил дуче,— где ты набрал эту рухлядь?

— По-моему,— отвечал начальник генштаба,— это легко выяснить, прочтя на бортах машин еще римские рекламы: «Пейте свежее пиво Черрони», «Стиральные машины у Пестикки»...

Показались и мулы, которые отчаянно брыкались, пытаясь сбросить пулеметы, привязанные к их тощим спинам. Наконец это мотозрелище Гитлеру надоело, он вдруг заторопился в свое прусское «Вольфшанце». На аэродроме в Кросно под Уманью их ждал самолет с уже работающими моторами. Муссолини не понравилось, как он взлетел. «Юнкерс» фюрера еще только набирал высоту, когда дуче решительно проследовал в кабину пилота.

— Я вам покажу, как надо водить самолет. Не волнуйтесь. Ведь я имею диплом «первого пилота Италии»...

Охрана вытянула шеи, глядя на Гитлера.

— Что делать? — помертвел Кейтель от ужаса.

— Покоримся судьбе,— отвечал Гитлер.— Только бы он не вздумал хвастать своим мастерством пикирования. Но если мы останемся живы, то на аэродроме в Кракове дайте понять Муссолини, что он еще не «первый шофер Германии».

Дуче вел самолет. На целый час полета в салоне воцарилось гробовое молчание. Кейтель, кажется, молился про себя. Гитлер утопил себя в глубоком кресле, поднял воротник и взирал в потолок, наблюдая за тем, как там ползает уманская муха, которой суждено пожить в Кракове. Каждый из свиты фюрера мысленно уже прочитывал свой некролог в «Фёлькишер беобахтер». Наконец самолет, ведомый Муссолини, коснулся шинами колес посадочного поля в Кракове.

— Иногда везет даже Муссолини,— ожил Гитлер и очень сухо простился с дуче, поспешая к своему автомобилю.

Муссолини с нетерпением ожидал в Риме граф Чиано.

— Имелись ли отклики на мою речь в Ладыжинке?

— Были, эччеленца,— отвечал зять.— Так, из Катании пришло письмо одного графомана, который со времен д'Аннунцио и футуриста Маринетти сидит в доме для помешанных. Этот псих в восторге от вашего красноречия. Он обещал, что, если ему подарят сто лир на сигареты, он переложит вашу речь в стихи, а затем дело за композиторами и балетмейстером...

— Пошли ему сигарет, Чиано! Симфоний и балета не надо, ибо с первого сентября я ввожу в Италии карточки на продукты...

Когда возле мясной лавки в Риме женщины с кошелками стали упрекать торговца, почему так мало дают мяса по карточкам, лавочник оказался храбрецом, не боясь высказать истину:

— А не вы ли аплодировали нашему дуче, пока он толкал свои речи с балкона «Палаццо Венеция»? Не вы ли, бабье поганое, не давали своим мужьям всунуть вам между ног, пока эти мужья не запишутся в партию фашистов? Так перестаньте вопить, клячи старые, иначе я совсем прихлопну свою лавочку!

«Эй-ялла! — горланили фашисты.— Дуче всегда прав...»

— А скоро сдохнет от рака,— говорили итальянцы...

Муссолини после возвращения из России долго изучал карту Украины и наконец уперся пальцем в одно место:

— Вот где я оставлю след своей львиной лапы...

Из-под когтей «львиной лапы» граф Чиано прочитал трудно произносимое для итальянцев название: ХАЦЕПЕТОВКА.

. . . .

Лиддел Гарт, британский историк, еще в 1941 году выпустил в Лондоне книгу, в которой писал: давний опыт политиков Англии обязывает их щадить противника, который со временем обязательно станет союзником, и напротив, надо всячески ослаблять союзника, который после войны станет противником. Это была заявка на будущее, которой Уинстон Черчилль и придерживался.

Я, автор, очень уважаю Черчилля, крупнейшего политика нашего века, но при этом замечу, что он желал бы тогда «стоять с ружьем, прислоненным к ноге». Иначе говоря, Англия собрала большую и хорошую, но бездействующую армию. Чтобы оправдать бездействие армии, англичанам свыше внушалось:

— Не забывайте: еще не исключена опасность вторжения, германского вторжения с моря, а Германия еще способна прогнать русских даже до самого Урала...

Официальная Англия восприняла нападение Германии на СССР как чудесный отдых от недавнего напряжения, бомбежки городов сделались реже, были уже не так эффективны, от утесов Дувра война отодвинулась в пески Ливии и в страны Ближнего Востока, где английская армия подменяла полицию в конфликтах между евреями и арабами. Черчилль бдительно охранял целостность своей колоссальной империи, мало того, эта война предоставляла Великобритании удобный случай для еще большего расширения колониальных владений королевства...

Утро 11 августа 1941 года Черчилль встретил на борту дредноута «Принц Уэльский» — подле берегов Ньюфаундленда; сюда же с дивизионом эсминцев прибыл и президент Рузвельт. Заунывному гласу «Боже, храни короля» корабельные оркестры США отвечали бойким мотивом «Звездного знамени». Рузвельт, как богатый дядюшка на именинах бедного племянника, подарил каждому британскому матросу по апельсину, по 500 граммов сыра и по целому блоку кубинских сигарет.

Атлантическая конференция началась. Черчилль сразу же напомнил Рузвельту, что для Англии важно сохранить контроль в Азии и в Северной Африке, с Германией же можно расправиться одними стратегическими бомбардировками — лучше по ночам, чтобы не давать фрицам выспаться, а в странах Европы, оккупированных немцами, победных результатов следует добиваться вспышками народных восстаний:

— Мы совсем не собираемся сколачивать грандиозные армии пехотинцев, как это было в первую мировую войну...

Улыбчивый Рузвельт, сидя в инвалидной коляске, отвечал, что, наверное, его страна принесет союзникам больше пользы, оставаясь нейтральной:

— Наш боевой потенциал еще недостаточно развит.

Черчилль настаивал на том, что удар по Гитлеру выгоднее наносить со стороны Африки, вторгаясь в Европу через Сицилию или через Балканы. Конечно, в беседе премьера с президентом постоянно присутствовал и тяготеющий над миром мощный актив советско-германского фронта.

— Планы немцев четко определились,— докладывали военные эксперты,— после Киева они устремятся в Донбасс и, возможно, предпримут наступление в сторону Баку и Майкопа... Как бы ни были велики запасы нефти в Плоешти, но вермахт сосет их с таким усердием, что у румын скоро ничего не останется, а предстоящие операции вермахта будут нуждаться в новых источниках нефти — на Кавказе!

Черчилля волновали ароматы Гонконга, Индии и Бирмы (Рузвельт шепнул советникам: «Уинстон удивительно закоснел»).

— Он хочет, чтобы эта война закончилась для Англии так же, как кончались другие,— новым разбуханием его империи! — сказал далее Рузвельт. — Я не скрыл от него, что еще месяца два буду таскать японцев за нос, а в отношении Германии поведу себя даже провокационно. Что мне это даст — не знаю! В лучшем случае этот чумовой парень из Берлина объявит Америке войну...

Историки признают, что в обмене мнениями Рузвельт как политик переиграл Черчилля: он оказался более тонким и проницательным, нежели высокопородистый потомок герцогов Мальборо. Сохранились кинокадры общего молебна на палубе линкора — под сенью многокалиберных пушек: «Рузвельт едва сдерживает слезы, а Черчилль украдкой вытирает глаза». Вермахт таранил советскую оборону на Днепре, устремляясь к шахтам Донбасса и нефтяным вышкам Майкопа, а Черчилль доказывал, что пора разделаться с этим «подонком» Роммелем.

В вопросе-ответе Рузвельта сквозила явная ирония:

— Вы думаете, ваш Окинлек справится с Роммелем?

— Не думаю,— честно ответил Черчилль.— Но я буквально задарил армию Окинлека пушками, танками и самолетами.

— Да, Роммель талантлив,— посочувствовал Рузвельт.

— Потому и наступление в Киренаике мы начнем с ликвидации этого таланта. Его больше не будет. Роммеля мы попросту укокошим, и эта вредная лисица навсегда забудет про наш курятник! — торжественно обещал Черчилль...

3 сентября (как бы в ответ на «Атлантическую хартию») Москва заявила о настоятельной необходимости открытия второго фронта не где-нибудь на задворках планеты, а именно в Северной Франции. При этом Сталин, исходя из богатого опыта первой мировой войны, напоминал Черчиллю, что только высадка в Нормандии способна «оттянуть с Восточного фронта 30—40 немецких дивизий». Этого было бы уже достаточно, чтобы Красная Армия не отступала. Через пять дней после обращения Москвы немецкие войска фельдмаршала фон Лееба замкнули удушающее кольцо блокады вокруг Ленинграда!

Наше положение с каждым днем все более ухудшалось...

. . . .

Граф Галеаццо Чиано, зять Муссолини, был человеком умным, а иногда даже прозорливым, к России и русскому народу относился хорошо. Поговорив с генералом Джованни Мессе, которого назначили командовать армией в России, граф в своем дневнике записал: «Как и все, кто имел дело с немцами, он считает, что лучший способ разговаривать с ними — это пинок в живот. Мессе говорит, что русская армия сильна, а надежды на крах Советов — абсолютная утопия... Мессе еще не делает выводов, но зато он наставил передо мною множество вопросительных знаков».

Шестая армия Рейхенау двигалась в авангарде группы Рундштедта, а фланги итальянцев иногда смыкались с немцами. Разногласия у Мессе возникли с танковым генералом Клейстом. Мессе доказывал, что сроки продвижения частей КСИР нереальны:

— Наши моторы — это желудки мулов, а те грузовики, что мы имеем, развозили раньше по Риму булки и мороженое. Теперь мы возим на них свои испорченные мотоциклы.

— Я знать ничего не знаю,— твердил Клейст.— Если у меня на штабных картах возле номеров ваших дивизий нарисованы «колесики с крылышками», значит, вы — моторизованные.

— Так не я же их рисовал! — возмущался Мессе.— Это еще в Риме нарисовал Кавальеро, а транспорта у нас нету.

— Тогда топайте пешком. Только побыстрее...

Пешие итальянцы на ходу импровизировали песни:

По прекрасной Украине
Едем, как в трамвае римском:
Едешь-едешь, и конца нет.
Продаю вам свой билет!..

Их обгоняли трехосные тяжелые грузовики, на которых гитлеровцы ощущали себя «сеньорами» этой войны. Замкнув лица в суровой строгости, немцы истуканами восседали на лавках, держа на коленях шмайсеры и свысока поплевывая на союзных «пешедралов», утопавших в невыносимой пылище. Немцы снисходили до итальянцев, когда им требовались хорошие макароны.

— Эй, камарад! — окликали они с высоты своего положения.

— Чего тебе надо, компаньо?

— Меняю отличную зажигалку на ваши спагетти...

После обмена контакт снова терялся (и не восстанавливался). Итальянцы платили союзникам издевками: «Каска у нациста — самая мягкая часть его тела, зато бей его палкой по заднице — сразу сломается!» Украинцы и русские с удивлением встречали итальянцев, носивших на пилотках пятиконечные звезды. Правда, звезды эти были не красные, а белые. «Позднее,— по словам д'Фуско,— когда недоразумение рассеялось, таинственная «радиосеть» разнесла весть, что эти ребята в зеленой форме — итальянцы, люди с хорошим характером, большие бабники и запивохи, а в общем-то мало способны на жестокость». Немцы считали для себя унизительным пользоваться отхожими местами в домах крестьян, примыкавших к хлеву, но итальянцев это не оскорбляло:

— А что у нас на Сицилии? Разве лучше?..

Сельским жителям было не понять — что за животные с длинными ушами и коровьими хвостами, и потому итальянских мулов они долго принимали за дойную скотину. Итальянцам же очень нравилась русская кинокомедия «Антон Иванович сердится», и они часто ее смотрели. Итальянцы быстро разобрались, что к чему и как все правильно понимать. Конечно, они не встречали колхозников, с утра пораньше играющих «Интернационал» на балалайках, не увидели и малявинских баб, до утра пляшущих под музыку партийного гимна. Зато они наблюдали наш народ в высшей степени его страдания, и в войсках КСИР стало постоянным рефреном: «Русские хорошие... они такие же бедные, как и мы!» Каким-то чутьем, идущим от народной мудрости, русские люди быстро научились отличать итальянцев среди прочих оккупантов. Они даже жалели их, видя худую обувь берсальеров, тощенькие курточки и вечно голодный блеск в глазах. Не одна бабка тишком совала в руки неаполитанца вареную картофелину:

— Покушай, родненький! У меня тоже сынок где-то мается...

Что там деревенские нужники, соединенные с хлевом?

Итальянцы, обычно не в меру говорливые, даже примолкли, когда увидели обширнейшую панораму промышленного Донбасса: далеко за горизонт уходили копры шахт, всюду виднелись цеха и заводы — это было как раз то, чего не хватало на родине, и уважение к русским у них возросло еще больше. Даже бывалые фашисты признавались:

— Давно я не разевал свой рот так широко от удивления...

Фланги Мессе стали близко соприкасаться с флангами 6-й армии Рейхенау, и здесь итальянцы увидели виселицы с повешенными, ибо Рейхенау обладал почти звериной жестокостью по отношению к русским. В селе Марьянке (подле города Сталино) он велел живьем закопать в землю супружескую пару — за то, что они сожгли портрет Гитлера. Итальянцев заставили присутствовать при этом злодействе. Они плакали и плевались в гитлеровцев. Даже чернорубашечники, уже закаленные в верности фашизму, поддержали беспартийных солдат, а офицеры Мессе рвали с себя ордена.

Это был как раз тот момент, когда в Риме дуче с линзою в руках указывал на Хацепетовку возле шахтерской Горловки.

— Для нас,— говорил он своему Кавальеро,— очень важно придать взятию этой Хацепетовки международный резонанс. Мир должен вздрогнуть от римского могущества. Заодно штурм Хацепетовки нейтрализует успехи германского оружия. При заключении мира Италия обретет должное равновесие с Германией, которое сейчас нарушено интригами Гитлера... Хацепетовка — это первый и решительный шаг к нашему будущему величию!

Клейст уже достаточно раз лаялся с Джованни Мессе, а теперь он приказал по радио, чтобы итальянцы выходили к станции Дебальцево. Но тут Мессе, даже не оповестив Клейста, вдруг отважно ринулся на Хацепетовку. Клейст говорил:

— Я в эфире, наверное, проделал большую дырищу, через которую и указывал на Дебальцево, а этот макаронник...

Джованни Мессе (как он писал в своих мемуарах) заставил немецкое командование признать его «точку зрения». В чем эта «точка» заключалась — я не знаю, но, очевидно, точка была внушительной, ибо генерал Клейст сказал:

— Не пойму, ради чего итальянцы привязались к этой Хацепетовке? Но я вмешиваться не стану... пусть побеждают.

Муссолини, гордый за Хацепетовку, вызвал Кавальеро:

— Наши дела выправляются. Мы устроим парад по случаю падения твердыни Хацепетовки, неприступной даже для вермахта.

Парад в Риме открывали проверенные фашиози, успешно сдавшие экзамен по прыжкам в высоту и в забеге на стометровку, за ними ехали старые члены партии на велосипедах, а оркестры гремели. Все шло замечательно, и военные атташе разных стран, союзных и нейтральных, уже вполне прониклись глобальным значением Хацепетовки, но тут все испортил сам Уго Кавальеро, который появился на трибуне дуче с телеграммой от Мессе:

— Должен огорчить, эччеленца. Дело в том, что Мессе почему-то не взял Хацепетовку. Мало того, под нерушимыми стенами этой Хацепетовки русские колотят Мессе с таким усердием, словно это паршивый тюфяк, который впору бы выбросить.

— А куда же смотрит Клейст, смыкающий с ним свои фланги?

— Клейст злорадствует, издали наблюдает...

Впереди их ждал Сталинград, а вот самой Волги итальянцы никогда не увидят, и скоро застынет навеки —

Итальянское синее небо.
Застекленное в мертвых глазах...

24. В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ

Сталинград... Чуянов сорвал трубку телефона:

— Алло, слушаю вас.

— Алексей Семеныч? — женский приятный голос.

— Да, я. Что вам угодно?

— Ну, подожди, гад! Вот завтра придут немцы в Москву, тогда мы тебе кузькину мать покажем...

Гудки. Чуянов медленно опустил трубку на рычаг. Сейчас у него в кабинете сидел главный инженер Сталгрэса — Константин Васильевич Зубанов, специалист и человек дельный.

— Чего там? — спросил инженер.

— Да так. Балуются.. из будки автомата, наверное.

. . . .

Летом 1941 года в газетах и по радио Сталина поминали не так уж часто, прекратились бесстыдные восхваления его «мудрости и гениальности». Во время всеобщего отступления, порою даже панического, Сталину было выгодно стушеваться, чтобы в народе слыть безгрешным, и пусть люди сами доискиваются, кто виноват. Журнал «Огонек» пестрел именами безвестных солдат и лейтенантов, вернувшихся из атак; на страницах журнала — женщины: одни делали снаряды для фронта, другие копали для мужей окопы, третьи заменяли мужей возле станка, а портретов Сталина не встречалось. Сталин притих и как бы затаился в глубокой тени, словно классический театральный злодей, который хоронится за кулисами, чтобы выступить на авансцену уже в гордой позе торжествующего победителя...

Это время нашего всеобщего горя еще хранит много тайн!

При эвакуации часто не успевали вывезти оборудование заводов, врагам оставляли сокровища музеев и клады древних архивов, в банках забывали ценности, не хватало вагонов, чтобы спасти детей, но зато никогда не забывали расстрелять в тюрьмах узников, осужденных или подследственных по злосчастной 58-й статье — за «измену родине», и, когда приходили немцы, ворота в тюрьмах были настежь, двери камер нараспашку, а в них, где ничком, где в углах, где вповалку, валялись трупы мужчин, женщин, стариков, иногда и подростков,— их убивали поголовно, уже не задумываясь, кто там прав, кто виноват, ибо чекистам было некогда, уже пора было смываться...

Это правда, что на передовой не хватало винтовок. Но еще страшнее, что фронт постоянно нуждался в людях — опытных и знающих офицерах высшего ранга, которые понимали сложный, сложнейший характер войны, переставленной с ног на гусеницы танков. Вот таких-то людей и не хватало на фронте, ибо они, давно репрессированные, вымирали от голода и побоев за колючей проволокой концлагерей, они ожидали конца в бериевских застенках, уже ни во что не верящие...

Да, внешне Сталин вроде бы изменился, стал скромнее и вежливее, в своей знаменитой речи он возвел нас в своих «братьев и сестер»; беседуя с военными, порою даже высказывал сожаление, что нет того-то, а здесь пригодился бы тот-то. А где они? Даже костей не осталось — всех растерли в лагерную пыль!

— Сколько хороших людей погубил этот подлец Ежов! — сорвалось однажды с его языка (думаю: преднамеренно, чтобы самому выглядеть невинным). — Звоню как-то в наркомат, говорят — нету, уехал, дел много. Звоню домой, а он лыка не вяжет... опять пьяный.

Нет, за собою он вины не признавал. И мало кому известно, что даже в сорок первом Сталин продолжал уничтожать военные кадры. Именно тех самых людей, которых — по его же словам — сейчас не хватало, чтобы наступил в войне крутой перелом. Армия сдавала города, никто еще не ведал, где последний рубеж, могущий стать вторым Бородино, а в подвалах Берии по-прежнему истязали людей («была настоящая мясорубка»,— позже признавал сам Берия). Когда же враг стал угрожать столице, Берия спросил Сталина, что делать с теми, кто в этой «мясорубке» еще уцелел. Сталин указал выпустить К. А. Мерецкова, будущего маршала, и Б. Л. Ванникова, чтобы тот занял пост наркома вооружения. После падения Смоленска аппарат НКВД был эвакуирован из Москвы, как общесоюзная ценность: вместе с палачами тайком вывезли в Куйбышев и подследственных; когда же началась осада столицы, Берия послал телеграмму — следствие прекратить, судить не надо, уничтожить всех сразу. И на окраине села Барбыш была заранее отрыта могила. Над могилой поставили истерзанных и уже безразличных ко всему людей — лучших офицеров армии и командиров, лучших танкистов и асов авиации, а среди них и жену Рычагова — Марию Нестеренко, которая уже ни о чем не спрашивала палачей, а только тянула руки к любимому мужу:

— Паша, за что? Скажи мне, Паша, з а ч т о?..

Какой уж день гремела война, погибали тысячи детей и женщин, на дорогах ревел брошенный скот, завывали сирены, тонули корабли, самолеты врезались в землю, а Сталин природным и звериным инстинктом ненависти, тишком, почти воровски, где-то на окраинах провинции, чтобы никто не знал, чтобы никто не слышал, истреблял лучших людей страны, воинов и патриотов, в которых так нуждалась страна.

Все лето киевляне копали гигантские рвы, надеясь, что они остановят панцер-дивизии Клейста, уже громыхающие по ночам на подступах к городу. Но падение Киева было неизбежно. Сталин зорко присматривался — кого бы сделать виноватым, чтобы самому остаться невиновным? Если обвинить во всем Семена Буденного, тогда всем станет ясно, что где Буденный — там и он, Сталин, этого делать нельзя. Сталин приказом № 270 обвинил в предательстве генералов, якобы сдавшихся в плен...

Нашлись честные люди, доложили Мехлису:

— Это неверно! Названные в приказе генералы в плен не сдавались, а пали в сражении как герои, даже не испугавшись рукопашной схватки. Делать из них предателей — позорно!

— Вы все политические младенцы,— отвечал Лев Захарович.— Предатели у нас были, есть и будут. Как же нам без предателей? Иначе почему же мы драпаем от фрицев, а? То-то...

Семен Михайлович Буденный тоже оказался человеком смелым. Он прямо заявил Сталину: «Ваше решение вместо меня назначить главкомом Юго-Западного фронта маршала Тимошенко *ничего не изменит...* Судьба Киева уже решена!». А виноватым в трагедии Киева был не кто иной, как тот же Лев Захарович Мехлис,— это он, в самый канун войны, велел демонтировать укрепленные районы на том основании, что их создавали «враги народа»...

С 8 августа 1941 года Сталин именовался Верховным Главнокомандующим. Невольно вспомнился мне случай из практики тех лет. В одной из наших газет — по недосмотру корректорши — была пропущена о д н а лишь буква, и вместо «Верховный Главнокомандующий» было напечатано «Верховный Гавнокомандующий». Опечатка историческая! Говорят, что в редакции после этого не только уборщицы тети Мани не осталось, но пострадала даже кошка, любившая греться под лампой на столе этой корректорши...

. . . .

— Так на чем же мы остановились? — спросил Чуянов.

Зубанов продолжил разговор о распределении в Сталинграде электроэнергии, выразил и сочувствие Чуянову:

— Спать-то вы спите ли? Наверное, дел по горло.

Алексей Семенович ответил, что от дел все равно никуда не денешься, дела есть дела, тем более в такое время.

— Но с началом войны стали мешать всякие самоучки, изобретатели велосипедов. Я понимаю,— сказал Чуянов,— люди, желая помочь отчизне, искренне заблуждаются. Гнать их неудобно. Вот и сидишь как дурак, слушая всякую ерунду с тангенсами и котангенсами. Изобретают, конечно, оружие. И, понятно, секретное. Откажись выслушать их — обещают Сталину жаловаться. Будто я враг народа, душитель народных талантов и прочее...

Они покончили с делами, но Чуянова не покидало мерзостное сознание, что враг уже здесь, где-то в городе. Отпуская инженера, Алексей Семенович все же задержал его в дверях. Душевные эмоции требовали разрядки.

— Вот! — сказал Чуянов, показывая на телефон.— В тридцать седьмом хватали, да хватали-то не тех кого надо. Настоящие враги хайло свое не разевали. На трамвайных остановках они анекдотов про Сталина не рассказывали. Враги сидели тихо и — уцелели! А сейчас, именно сейчас, пришло их время...

Кажется, инженер Зубанов так и не понял секретаря обкома. «Впрочем,— думал Алексей Семенович,— всем и не обязательно понимать...» Он подошел к окну, долго оглядывал раскинувшуюся перед ним площадь Павших борцов. Посреди площади лежал трофейный «мессершмитт», доставленный с фронта для всеобщего обозрения, как символ вражеской слабости, а сталинградские ребята уже растаскивали его по винтикам. Не работал фонтан, окруженный танцующими девчонками, на которых развевались пионерские галстуки. Притихло здание Дома офицеров, куда еще забегали выпить пива. Возле подъезда драматического театра, положив на лапы лохматые головы, дремали мраморные львы, которые, наверное, еще помнили царицынских купчих, разряженных по-кустодиевски, что спешили послушать Ленечку Собинова: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?..». Универмаг был еще открыт, в него входили, но тут же выбегали обратно без покупок: торговать было нечем — все продавалось по карточкам...

Конечно, будь у Чуянова самая буйная фантазия, он все равно не мог бы представить, что через полтора года из подвалов этого универмага, что на площади Павших борцов, вдруг выберется человек в грязной шинели и резким жестом отшвырнет от себя заряженный «вальтер» — к ногам солдат в полушубках.

Это будет фельдмаршал Фридрих-Вильгельм Паулюс.

...Т ы л! Глубокий тыл. И по утрам, когда жители Сталинграда еще спали, служители зоопарка выводили к Волге слониху Нелли — очень она любила купаться.

Первый день войны всегда отзывался сердечной болью, и Чуянов не забыл, как из секретного сейфа он извлек красный пакет с надписью: «Вскрыть при объявлении войны». На кой же черт пять сургучных печатей, если внутри — партийная инструкция о том, как агитировать народ на призывных пунктах:

— Слава богу, нам агитировать не пришлось...

Призывники 1905—1918 годов рождения, даже не получив повесток, уже заполняли улицы перед военкоматами. На заводах разумно восприняли и сверхурочные допоздна, и отмену отпусков до конца войны. Студенты и старшеклассники записывались на курсы трактористов и комбайнеров. На площади Павших борцов сталинградцы собрались на митинг, сразу 50 000 жителей вступили в ряды народного ополчения. Поднималось на борьбу и казачество тихого Дона, ветераны «германской» доставали из погребов припрятанные от милиции клинки, примерялись рубить — по кустам. Впервые на улицах Сталинграда появились вислоусые старцы, обвешав скромные пиджачки Георгиевскими крестами. Память прошлого логично сомкнулась с современностью. 27 июня Сталинград уже раскинул первые госпитали для раненых, женщины по доброй воле несли простыни и подушки, становились санитарками. Тысячи женщин и девушек давали свою кровь раненым: одни — чисто из патриотизма, некоторые — ради получения дополнительного питания (не надо говорить об этом стыдливо: жизнь есть жизнь, а есть все хотят).

— Удивляюсь! — говорил Чуянов.— До войны мы тут погибали от всяких кляуз и доносов. Целая контора сидела и ковырялась в грязи. То соседка в суп плюнула, то директор пивной серьги купил любовнице, то участок под огород не так отмерили... Теперь же — тишина, хоть контору закрывай! Никаких жалоб, и все довольны, будто в рай попали. Вывод один: перед лицом великих народных испытаний сразу сделались ничтожны все мелочи жизни. Осталась лишь одна великая цель, самая праведная — выстоять и победить!

Хорошо пахло акацией из скверов Комсомольского сада, мажорно позванивали трамваи, в песочнице играли детишки, вдоль набережной вечерами еще гуляли влюбленные пары и целовались, а их любви салютовали с реки гудки пароходов. На речных трамвайчиках приплывали с левого берега — из деревень — молочницы с бидонами, с комками творога, завернутыми в чистые тряпицы. На пригородных бахчах, даже на городских двориках вызревали арбузы и дыни. Из соседних колхозов присылали победные сводки — урожай в этом году обещал быть баснословным.

Начальник областного НКВД Воронин возглавил добровольческие отряды истребительных батальонов.

— Не хочу пугать,— сказал он Чуянову,— но в излучине Дона и в калмыцких степях уже появились диверсанты. Их по ночам сбрасывают с парашютами. Наконец подозрительны частые пролеты немецких самолетов-разведчиков в сторону степей, где кочуют калмыки.

— Слушай! — сказал Чуянов Воронину.— Это уже по твоей части... Ввести патрулирование на улицах и ночные пропуска. Обеспечить охрану мостов, пристаней, телеграфных линий. Прописка в Сталинграде отныне запрещается. Виновных в нарушении светомаскировки — под суд. Знаю, что найдутся негодяи, желающие воспользоваться затемнением города... Таких шкурников и грабителей — всех ставь к стенке! Не жалко.

Перед обкомом возникло множество проблем. Найти замену опытным сталеварам, ушедшим на фронт; обеспечить навигацию на Волге;

помочь колхозам с уборкою урожая; ускорить ремонт пароходов на судоверфи; вывозить соль с озер Баскунчак и Эльтон; настоять, чтобы Астрахань пошевелилась с заготовкою воблы и селедки. Наконец попросту надо изматерить торговлю, которая «сплавляет» по карточкам дорогие конфеты в коробках, тогда как народ желает «пососать конфетку», без которой немыслимо русское чаепитие.

А главное — танки! Все дворы СТЗ заставлены рядами бронированных машин, прямо с завода танкисты уводили их на фронт. Встречаться же с людьми становилось день ото дня труднее. Не потому, что в каждой семье уже появились нужда и горе, а потому, что никуда не уйти от вопросов:

— Скоро ли наступать станем? Ну, сначала-то ладно. Вероломство и прочее. А теперь? Куда ж дальше-то драпать, ежели шестьсот километров сдали — кошкам под хвост...

Почему-то все уверены, что он, первый секретарь обкома и горкома, больше всех знает. Вернется Чуянов домой, чтобы язык обсушить, а в родной семье — те же окаянные вопросы! Жена, дед с бабкой, даже мелюзга-сыновья тиранят:

— Папа, а когда разобьем этих фашистов?

Ну, со своими-то намного легче:

— Пошли все спать! Время позднее...

Ночью его разбудил звонок от Воронина:

— Слушай, Семеныч, на путях в Сарепте,— там, кстати, бардак, каких свет не видывал,— среди эвакогрузов нашли эшелон противотанковых пушек. Триста штук, и нет хозяина. Артуправление эвако,— Воронин имел в виду Наркомат обороны (НКО),— очевидно, уже поставило крест на эшелоне.

— А пушки исправны? — спросил Чуянов.

— Некомплектны. Частью демонтированы.

— Задержи эшелон. Поставь охрану.

— Взгреют,— сказал Воронин.

— Черт с ним! И не так еще нам влетало...

После эвакуации Харьковского тракторного завода, после демонтажа других предприятий на западе СТЗ остался ближайшим к фронту заводом, поставлявшим лавины могучих «тридцатьчетверок». «Красный Октябрь» — тоже единственный! — продолжал давать стране высококачественную сталь, как бы облачая в броню отступающие армии. Сталевары и прокатчики Сталинграда уже перевыполнили все планы, мыслимые и немыслимые, однако в августе наметился неизбежный спад в производстве.

Чуянов оправдывался перед Москвой:

— Да не угрожайте вы мне! Не боюсь. Уже битый. У меня остались старики и бабы. Мальчишки из ФЗО и ремесленники засыпают у станков. Жрать нечего. С ваших карточек сыт не будешь... Я все понимаю, но поймите же и вы нас. В выпуске танков Сталинград зависел от ста восьмидесяти двух поставщиков. Теперь поставщики — кто остался под немцем, кто на колесах за Урал катит, а кто вообще пропал, и даже вздоха не слышно. Кооперация развалилась. Размещаем чертежи по городским предприятиям. Заняли все что можно, вплоть до кроватных мастерских...

Москва слезам не верила, требуя наладить и выпуск минометов. Кавалеристы просили, чтобы для них шили седла и сбруи, чтобы обеспечили конницу подковами. А. И. Микоян звонил каждый день по телефону, умоляя Чуянова отправить эшелон с махоркой — для армии:

— Кстати, сразу же начинайте забой скота. У вас хорошие мясобойни, налаженное консервное производство.

— У нас консервный завод гранаты делает.

— Нам нужны гранаты и мясная тушенка...

Отговорив с Микояном, Чуянов поехал на фабрику имени Сакко и Ванцетти, где выпускали медицинский инструментарий:

— Привет передовой советской интеллигенции! Срочно понадобились взрывательные капсюли для противотанковых мин. Только вы, помощники смерти, и способны сделать их...

Он ожидал возражений, но получил дозу юмора:

— Это как раз по части здравоохранения. Берегите свое здоровье, а мы испортим его всяким гудерианам...

Начался усиленный перегон скота на мясобойни города. А минометы удались так хорошо, что в Сталинград приехали делегации из других городов, чтобы поучиться... Но что-то страшное творилось на вокзалах и пристанях. Все пути забиты «пробками» эшелонов с эвакуированной техникой, в заколоченных теплушках ревели коровы, недоеные и непоеные; всюду узлы, чемоданы, жалкий людской скарб, на который и глаза бы не глядели. У кипятильников звон — от чайников и бидонов, крики. Дети плачут. Женщины мечутся. Какая-то дура от самой границы прет на своем горбу швейную машинку «Зингер» — кому что дорого...

Никто не знал, на сколько увеличилось население города. Люди, бежавшие от оккупантов, ютились в скверах, на огородах, заселяли улицы и площади, рыли для себя ямы, ночевали на берегу — под лодками. Под осень в Сталинград прибыл эшелон с ленинградскими детьми. Новая задача:

— Куда их девать? Чем кормить?

Чуянов созвал совещание в обкоме, велел продумать вопрос о том, как расселить массу несчастных людей, потерявших свои дома, свое имущество. Решили, что здоровых надо устраивать в донских станицах, в окрестных колхозах:

— Успокоятся. Отъедятся. Будут работать...

Запомнилась Чуянову одна старушенция на вокзале:

— Мы уж настрадались. А у вас-то в Сталинграде — слава Хосподи. Сущая благодать. Как села, так и не встану. С утра арбуза покушамши. Нам с внучком-то карточки выдали. Конфетки получили, «Бим-бом» называются. Кругленькие... Свет не без добрых людей. Что же не жить? Об одном Христа буду молить: тока бы энтот Литлер проклытый сюдыть не забрался...

Алексей Семенович вернулся домой, сказал жене:

— Знаешь, я просто с ног падаю.— Но тут же раздался звонок телефона.— А, чтоб ты треснул, проклятый...

В трубке — тот же нежный, воркующий голос:

— Ты еще не подох там, сволочь паршивая! Готовься быть повешенным на площади Павших борцов... Детям твоим глаза выколем, а жену на рельсах под трамваем разложим...

Гудки. Чуянов медленно повесил трубку телефона.

— Кто там? — спросила жена.

— Да, наверно, по ошибке. Как всегда, перепутали номер телефона. Вот и звонят... из будки автомата. Дай поесть что-нибудь... Целый день на ногах. Даже не присел...

ОТ АВТОРА

Много лет назад, когда я занимался написанием документальной трагедии «Реквием каравану PQ-17», я обратил внимание на одно странное обстоятельство. С весны 1942 года Уинстон Черчилль, всегда любивший выпить, пил много больше нормы, при этом он, будучи в сильном подпитии, часто вызывал нашего посла Майского, спрашивая его всегда об одном и том же:

— Ну, так когда же ваш мудрый Сталин собирается заключать с Гитлером новый вариант «брестского мира»?

Конечно, наш посол доказывал Черчиллю обратное, мол, совет-

ский народ настроен сражаться до окончательной победы над фашизмом, но Черчилль не очень-то ему верил. Тогда же он задерживал отправку в СССР союзного каравана PQ-17, делая это умышленно, так как, смею полагать, британская разведка уже оповестила его о «тайнах Кремля». Черчилль попросту боялся, как бы военные грузы поставок по ленд-лизу, доставленные в Мурманск, не оказались у... немцев.

В чем дело? Наверное, Черчилль имел основания подозревать Сталина в желании примириться с Гитлером. Но эта история имеет таинственный пролог, сугубо засекреченный на долгие годы. Суть его в следующем. Еще в июле 1941 года, когда наша армия, оставляя в котлах уже миллионы окруженцев, откатывалась от границ, а немцы через неделю вошли в Минск, в это время Сталин совсем растерялся, его воля была полностью парализована, он не думал теперь о государстве, а помышлял лишь о том, как бы ему удержаться на кремлевском престоле. Укрываясь от ответственности за поражение на своей даче в Кунцеве, он принимал у себя только Молотова и Берию.

Эта вот «троица», далеко не святая, пришла к выводу, что их может спасти только капитуляция перед Гитлером; они заранее соглашались на любые условия мира — какие бы из Берлина ни предложили, только бы задержать танковый разбег вермахта. Интересы Германии в Москве тогда представляло посольство Болгарии, и эта «троица» навестила посла Ивана Стаменова. Сталин отмалчивался, говорил Молотов, убеждая Стаменова связаться с Берлином:

— Если великий Ленин,— таков был примерно смысл слов Молотова,— если даже он пошел на сговор с кайзером, то мы сейчас тоже согласны на мир с Германией...

При этом, чтобы ублажить Гитлера, эта «троица» соглашалась уступить Германии всю Прибалтику, Молдавию и западные области Украины и Белоруссии, прилегающие к Польше, уже покоренной немцами. Чудовищно! Но болгарский посол верил в Россию и в русский народ гораздо больше, нежели эти партийные боссы, приехавшие к нему из Московского Кремля.

— Успокойтесь! — отвечал он и, наверное, я так думаю, отвечал даже с презрением.— Какова бы ни была мощь Германии, все равно ей никогда не сломить Россию, никогда не удастся покорить великий русский народ. Быть посредником в этом вашем позоре,— сказал Стаменов,— я отказываюсь, уверенный, что даже если ваша армия отступит до Урала, все равно победа будет за вами...

Капитуляция Сталина перед Гитлером — это еще неразгаданная тайна, и потому я опускаю здесь намеки на то, что летом 1942 года Молотов летал в Винницу, где находилась ставка Гитлера, чтобы договориться с ним об условиях постыдного мира (намек пока и останется намеком). Но кажется, что весною того же года Берия действовал в таком же духе, только самостоятельно. Известно, что весною с одного прифронтового аэродрома летал куда-то на запад наш самолет. Летал дважды, не ночью, а днем (!), возвращаясь обратно, не боясь обстрелов вражеских зениток, его почему-то щадили и германские истребители. Свидетелям этих полетов начальство велело помалкивать:

— Он летал к партизанам... как тут не понять?

Но самолет-то летал без груза, а возвращался без раненых партизан, чего быть не могло при обычных полетах в партизанские лагеря. И почему он летал днем, заранее уверенный, что зенитки врага будут молчать, а истребители не тронут его? Из этого самолета, возвращавшегося вечером, выходили какие-то люди в плащ-палатках, а лица свои они укрывали капюшонами.

Я склонен думать, что Лаврентий Берия устанавливал свои личные контакты с правительством Гитлера — ради своих же личных

целей. Так что летом 1942 года, когда 6-я армия Паулюса надвигалась на Сталинград, Черчилль, наверное, уже кое-что знал — потому и пил больше нормы, потому и вызывал посла Майского, чтобы задать ему один и тот же вопрос:

— Скоро ли Сталин пошлет Молотова в Брест?..

Жаль, что я, автор, не доживу до тех дней, когда будут распечатаны глубоко сокрытые тайны предательства...

Это меня! Это вас! Это всех они предавали!

Вот где подлинные враги народа...

Вот кого надо было сажать.

По знаменитой — 58-й!

Часть вторая

НА ПОДСТУПАХ

За ошибки государственных деятелей
расплачивается вся нация.

Николай Бердяев.

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной...

Константин Симонов.

1. ОБСТАНОВКА

Паулюс давно сдал в архив зеленые книжечки ОКХ, в которых анализировался опыт Красной Армии в боях на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и на Карельском перешейке, служившие ему хорошим подспорьем при создании плана «Барбаросса».

— Теперь,— сознавал он,— мощь русских проявилась в новых, неожиданных для меня параметрах. Не спрашивайте, почему мои расчеты не дали четкого результата. В планировании войн, как и в медицине, много еще неясного и темного. Даже очень опытный терапевт может неверно определить диагноз болезни. А большая стратегия, как бы ни рассчитывать ее на победу, иногда способна терпеть крупные неудачи...

Неужели настало время, дабы выискивать оправдания?

Германский генштаб продолжал свою окаянную работу. Вмонтированный в жесткое сцепление с ОКВ, он всегда оставался самой верной опорой фюрера. Генералы избегали конфликтов со своим «ефрейтором», а на строптивых Гитлер натягивал железные обручи подчинения. Иногда он подкупал их — денежными подачками, устройством личных дел, умел очаровывать их сердечным доверием. Наверное, я думаю, он был неплохим психологом, если сумел много лет подряд вариться в этом котле и кипятить в нем других...

Мощные германские экспрессы «Нибелунги» с грохотом катили в заснеженную Пруссию, тамошний аэродром в Летцене принимал самолеты с фронта: генералы ехали в «Вольфшанце» — одни, чтобы получить от Гитлера «по мозгам», другие являлись за рыцарскими крестами с почетным приложением к ним дубовых листьев.

Гитлер не слишком-то уж ценил своих полководцев.

— Где мои генералы, где мои фельдмаршалы? — горестно восклицал он, заламывая руки.— Я не сплю ночей, держусь, как чемпион, на одних допингах, а когда засыпаю под утро, мне снятся громадные оперативные карты. Мои же генералы озабочены недельными отпусками к женам или мечтают о месячном отдыхе на курортах Богемии. У кого из них ни спросишь, у каждого в резерве держится застарелый ишиас или популярный радикулит в области поясничного крестца...

Гитлер отлично понимал: выжидающее поведение Черчилля — это закономерное продолжение «странной войны», потому фюрер без опаски перекачивал из Европы все новые эшелоны подкрепления для Восточного фронта, вполне уверенный, что второго фронта еще долго не будет. С первого же дня войны с Россией немцы стали получать по 400 граммов мяса в неделю, с витрин берлинских магазинов исчезли колбасы и ветчина, вместо масла и сыра торговцы выставляли карты Советского Союза, украшенные синими стрелами прорывов. Но с фронта регулярно поступали солдатские посылки, набитые продуктами, громыхали длинные составы с вывозимым в Германию колхозным скотом,— так что немцы на голод не жаловались. Старая немецкая поэзия по этому поводу уже высказалась:

Не стану дурачить газетами вас
И прочей учебной тоскою.
Скажу я: «Народ! Лососины нет,
Так будь же доволен трескою...»

Но гестапо, никогда не снимавшее руки с пульса народных настроений, уже 4 августа отметило, что в Германии воцарилось уныние: «Высказываются мнения, что кампания (на Востоке) развивается не так, как это можно ожидать на основании сводок... складывается впечатление, что русские располагают громадным количеством вооружения и техники, их сопротивление усиливается». Доклад от 4 сентября гласил: «Граждане рейха высказывают недовольство тем, что военные действия на Восточном фронте сильно затянулись, среди населения много разговоров о потерях. Миллионы немецких женщин опустили траурный флер с полей своих модных шляпок...»

Нервный шок панцер-генералов после появления Т-34 еще не миновал, но вскоре пришло время удивляться и Герингу, считавшему люфтваффе лучшей авиацией в мире. У русских вдруг обнаружился какой-то странный самолет «Ил-2» (Ильюшин), в который немецкие асы вколачивали весь боезапас, его лупили слева и справа, ловчились дать очередь снизу, долбали сверху, от этого самолета отлетали громадные куски, но он продолжал лететь как ни в чем не бывало... Маршал авиации Вольфрам фон Рихтгофен, наблюдая за этим чудом, взывал к своим пилотам в эфир:

— Эй, сопляки! Почему вы его не сбили?

Ответ поразил Рихтгофена в самое сердце:

— Этого ежа даже в задницу не укусишь, а со стороны морды с ним лучше не связываться...

Русские наловчились отбиваться от германских танков бутылками с горючей смесью, которую немецкие солдаты прозвали «молотовским коктейлем». Боже, каких только бутылок не летело тогда в немецкие танки — и водочные, и пивные, из-под нарзана и «доппель-кюммеля», и весь этот крепчайший «коктейль» первое время здорово выручал русских, ибо (как не вспомнить Кулика!) с противотанковой артиллерией у нас было неважно. И уж совсем неожиданно для вермахта однажды что-то провыло в ночных небесах и начался... ад: это заработали реактивные «катюши», за их стонущие вопли прозванные немцами «сталинскими органами». Первое впечатление от этих «органов» было таково, что бежали в разные стороны не только немцы, но и наши солдаты, которых — опять-таки ради секретности! — командование не предупредило о появлении нового оружия.

Один немецкий полковник, на себе испытав воздействие этой «музыки», уже в плену, весь в обгорелых ошметках, почти оглохший, полупомешанный, кричал на допросе в нашем штабе:

— Я солдат, и смерти я не боюсь! Можете расстрелять меня. Но я не могу умереть, прежде не увидев это чудовище... Вы сначала покажите мне его, а потом и расстреливайте!

Гитлер, узнав о целой серии этих «новинок» на русском фронте, был отчасти тоже шокирован, а сложный вопрос о массовом производстве зубных щеток в СССР сразу перестал его волновать. В разговоре с Альфредом Йодлем он как-то спросил:

— Интересно, что еще могут изобрести эти варвары?

Йодль ответил фюреру, что, судя по всему, вермахту зимы не миновать, а в арсеналах России издавна затаилось могучее и страшное оружие, способное решать стратегические задачи.

— Не пугайте меня, Йодль, что вы имеете в виду?

— Мой фюрер, это страшилище... валенки.

— Вы шутите, Йодль?

— Шучу. Но мне вспомнилось, что в армии Наполеона уцелели лишь те шутники, которые обзавелись валенками...

Кейтель вмешался в разговор, сказав, что валенок не понадобится, ибо зимою вермахт будет топить печки в московских квартирах, зато страшнее морозов русское бездорожье...

— Грязи обычно там по колено, но иногда и до пояса...

Этот разговор возник неспроста. Вермахт обслуживали 400 000 автомашин, собранных со всех стран Европы, и не все марки были пригодны для русских условий. «Опель-блицы» имели низкую посадку. Созданные для езды по асфальту, в России они садились «на брюхо». «Пежо» еще как-то барахтались в наших проселках, штабные «бенцы» и «мерседесы» буксовали в необозримых лужах, санитарные «магирусы» для вывоза раненых опрокидывались, хорошо проходили только дизельные «бюссинги»... Об этом же заговорил и Паулюс при встрече с генералом Фельгиббелем:

— С транспортом ужасно! Колеса на русском фронте обматывают цепями, а где нет цепей, их обкручивают веревками. Наконец, от шин остаются лохмотья, а где Германия отыщет столько резины? Остался лишь эрзац «буна», но его производство обходится нам дороже, нежели покупка чистого каучука... У тебя что, Эрих?

Фельгиббель сказал, что его радиоперехват подтвердился:

— Сталин все-таки прогнал Буденного с Юго-Западного направления, заместив его из «Центра» маршалом Тимошенко.

— Мой зять барон Кутченбах недавно сообщил мне русскую поговорку: что в лоб, что по лбу — одинаково... Эта рокировка Сталину не поможет.— Паулюс огорошил приятеля другой новостью: — Генерал Шоберт, командующий войсками в Крыму, посадил свой «физелер-шторх» прямо на минное поле и разорван в куски. Теперь на штурм Севастополя мы переставляем Манштейна из группы фон Лееба, что бьется под Ленинградом.— Паулюс с улыбкой напомнил Фельгиббелю о своем дне рождения 23 сентября.— Встретимся, как всегда, в старом уютном «Тэпфере». Не забывай, Эрих, что моя Коко всегда любила с тобой танцевать.

— С меня коробка марципанов,— обещал Фельгиббель.

Эрих Фельгиббель был яростным ненавистником Гитлера, но с Паулюсом всегда оставался откровенен, считая его порядочным человеком, и сейчас, рассказав очередной анекдот о фюрере, генерал от радиоперехвата выслушал признание Паулюса:

— Вот! — показал Паулюс на сейф в глубине кабинета.— Я уже заложил туда свой проспект о том, что ожидает вермахт в России. С ним ознакомлен только Франц Гальдер. Но он велел мне спрятать его подальше и никому не показывать... Мой план «Барбаросса» был

хорош лишь до того момента, пока армия наступала, совершенствуя методы танковых «ножниц». Но план, мною составленный, учитывал только начальный и обязательно победный вариант войны, а теперь, когда выяснилось, что блицкриг не выкатил нас на меридиан Архангельск — Астрахань, план «Барбаросса» стал бумажкой, а впереди вермахт ожидает затяжная война...

В это время (или чуть позже) из инспекционной поездки по Восточному фронту вернулся генерал Артур Нёбе, начальник уголовной полиции, который по долгу службы был связан с гестапо. Вот именно в гестапо и были зафиксированы его вещие слова: «Мы не только проиграем войну. На сей раз мы потерпим настоящее военное поражение — в этом у меня нет никаких сомнений...» Оба они, и Фельгиббель и этот Нёбе, думали одинаково, что спасти Германию сейчас может только одно: если Гитлер найдет отмычки к сердцу Сталина, чтобы с ним примириться. И это даже странно, ибо 7 октября 1941 года Сталин — не постыдившись присутствия Г. К. Жукова — нервно указывал Лаврентию, чтобы его агентура нащупала способы установить условия мира с Германией.

Эрих Фельгиббель и Артур Нёбе будут повешены. Гитлером!

...Вермахт уже накатывался на Москву.

. . . .

При устранении Буденного заодно досталось и работникам Генштаба: «Сталин упрекал нас в том, что мы, как и Буденный, пошли по линии наименьшего сопротивления: вместо того чтобы бить врага, стремимся уйти от него»,— с явной горечью вспоминал об этом времени наш прославленный маршал А. М. Василевский.

Сталин доверил Юго-Западный фронт маршалу Тимошенко, пылкий оптимизм которого ему всегда нравился. Однако немцы уже замкнули Киев в кольцо, а Сталин не разрешил отведения частей, в плен попали многие-многие тысячи («пропали без вести» — так гласила терминология того времени), вся Правобережная Украина осталась под пятой оккупантов, а перед танками Эвальда Клейста открылся широкий стратегический простор... Тимошенко распорядился по своим отступающим войскам — занять жесткую оборону! Между тем наступление вермахта развивалось. 6-я армия под командованием Рейхенау двигалась, как таран, в авангарде группы фельдмаршала фон Рундштедта. Фронт трещал. 3 октября немецкие войска вступили в Орел, 6-го числа они уже вкатились в Брянск, через два дня Клейст уже развертывал танковые колонны в самом опасном для нас направлении — на Ростов и Таганрог. Именно в эти дни Гитлер, убедившись в успехе на юге, вернулся к давней мысли о продолжении натиска на Москву:

— Не ослабляя движения на Харьков, — предупредил он...

Манштейн уже откатился к югу, чтобы штурмовать Севастополь, но армия фельдмаршала фон Лееба вдруг взяла Шлиссельбург, отсекая Ленинград от страны, и город оказался в кольце блокады. Чтобы спасти Ленинград от гибели и вымирания, срочно формировалась 2-я ударная армия; командовать ею стал некий генерал Г. Г. Соколов, заместитель Берии, который и выдвинул своего подручного в командующие. Соколов, вскормленный в палаческих застенках своего любезного шефа, сразу издал по армии приказ, который тебе, читатель, советую прочесть:

«Хождение, как ползание мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так: военный шаг — аршин, вот им и ходить, ускоренный — полтора аршина, вот так и нажимать. С едой у нас не ладен порядок... На войне порядок такой: завтрак — затемно, перед рассветом, а обед — затемно, вечером. Днем удастся хлебца или сухарь пожевать — вот и хорошо, а нет — и на том спасибо... Бабами рязанскими не наряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом...»

Прочли? Теперь понятно, каким кретинам доверяли сотни тысяч

жизней наших дедов и отцов, и, надеюсь, читателю ясно, какие «полководцы» рождались в тиши кабинетов главного палача русского народа. Впрочем, Сталин любовно пестовал именно эту 2-ю ударную, не раз посылая в нее своих любимцев — Ворошилова, Маленкова и... Мехлиса, который любил стрелять налево и направо (в своих, конечно!). Только под конец 1941 года, когда убедились, что Г. Г. Соколову место в доме для умалишенных, командовать армией прислали генерала Власова, того самого, что тоже ходил в любимцах Сталина. Трагедия 2-й ударной армии известна, и лишь в наше время местные следопыты начали сбор ее **костей** — для братского захоронения...

Иосиф Виссарионович звонил на фронт И. С. Коневу:

— Товарищ Конев, а почему вы палкой деретесь? Лучше под трибунал и расстрелять человека, но нельзя же его оскорблять.

Иван Степанович Конев потом говорил друзьям:

— Так я же ему не Мехлис, который сначала убьет человека, потом уже приговор подписывает. А я — да, палкой! Искал тут своего особиста. Туда-сюда — нету, пропал. Гляжу, а он в землянке — водку хлещет с бабами. Так что же мне стрелять в него? Схватил дрын и этим дрыном его, а бабы — какая куда...

Осень. Дороги уже развезло. Не знаю, насколько это справедливо, но говорят, что была у нас такая злокозненная теория: не заводить в России хороших дорог, чтобы любой завоеватель застрял в непролазной грязище, утопая до самого пупа в слякоти, и... «сим победиши»! Если же подобная теория и существовала, то авторы ее не учли того, что бездорожье — палка о двух концах: одним концом она бьет по врагу, а другим достается тебе же. Осенью сорок первого мы нахлебались горя со своими дорогами. Грязь — ладно, но грязь такая, что не пройти и не проехать. От этого зависела порой обстановка на фронтах, алчно пожиравших тонны боеприпасов, а бездорожье часто ставило наши войска в бедственное, иногда и в крайнее положение. Может, не сдали бы мы Орел и Курск, если бы наши грузовики не утонули в грязи... Офицеры тыловой службы доложили Сталину, что пора заводить конные обозы, и он подписал приказ:

— Что тут? — сказал с иронией.— Нужны торбы с овсом? Ладно. Пусть будут и торбы... Двадцатый век — чему удивляться?

Под Москвой появились новые войска: «гужбатальоны».

Честь им и слава! Наверно, прав был Буденный, предрекая:

— А лошадь себя еще покажет...

И показала! Если ее, бедпягу, не посылать в атаку против немецких танков, а впрягать в телегу иль в сани, так она, как русская баба, все выдюжит. В битве под Москвою «гужбатальоны» обеспечили фронт, доставив нашим бойцам припасов намного больше, нежели все самолеты и все грузовики...

У нас не было оснований сомневаться в том, что боевая техника Красной Армии скоро будет во многом лучше немецкой. Ошибки были допущены не в конструкторских бюро, а в планировании сроков вооружения, в головотяпстве тех, что занимали высокое положение при Сталине. Трагический разрыв между старой техникой и новой преодолевался уже в сорок первом году. Эвакуированные далеко на восток наши заводы еще не развернули свою мощность, станки будущих цехов иногда выстраивались прямо под открытым небом и по ночам — при свете луны или при свете прожекторов — давали фронту первый снаряд, первую мину, первую пушку. С востока на фронт уже катились перегруженные эшелоны, и газета «Правда» писала сущую правду: «Они хотели блицкрига — теперь они его и получат!»

Но впереди нас ожидало еще столько бед и страданий, столько пролитых крови и слез... Как мы тогда выстояли?

. . . .

— Хайль Гитлер! До Москвы осталось немного. Но если собрать

все наши трупы и сложить их плечом к плечу, то это шоссе из мертвецов протянется до Берлина. Мы переступаем через павших, оставляя в грязи и сугробах раненых. О них уже не думаем. Это — балласт. Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто шел впереди нас. Завтра мы сами станем такими же трупами, и через нас храбро перешагнут другие, идущие за нами... Хайль Гитлер!

Рокоссовский слушал пленного, а сам смотрел в окошко избы и видел, как горят немецкие танки, один из них долго крутился на разбитых гусеницах, потом вспыхнул, разгоревшись прозрачным и едким пламенем. «На легком топливе»,— точно отметило сознание Константина Константиновича.

— Уведите его! — показал он на пленного...

В убогой деревушке под Волоколамском командарм дал интервью английским корреспондентам. О нем писали: «Он высокий и стройный человек. Ему лет под пятьдесят, но на вид не более сорока. Он очень красив той особой красотой, которая располагает к себе...» Рокоссовский начал интервью с необычного признания, что «воевал с отцами, теперь воюю с сыновьями» (с отцами в первую, с сыновьями их во вторую мировую войну).

Вот что сказал Рокоссовский англичанам:

— Может быть, я не объективен. Люди всегда склонны переоценивать сверстников и брюзжать по поводу молодежи. Но «отцы» были лучшими солдатами! Вильгельмовская армия была намного лучше гитлеровской. Я думаю, что фюрер испортил армию... Военному трудно объяснить это непрофессионалам. Гитлеровская армия еще способна одержать немало побед... и даже над нами! Но она никогда не выиграет войну. Эта армия прекрасно марширует. Ее солдаты великолепно обучены. Они храбры. Немецкие офицеры хорошо владеют тактикой боя. Тем не менее это... суррогат армии. Почему? Да потому, что вермахт строит свои планы лишь на использовании слабых сторон противника. И только!

Во время беседы журналисты пытались мысленно обрядить Рокоссовского в халат врача, в мантию ученого, даже в спецовку инженера. «Ничего у нас не вышло из этого,— признавались они потом.— Все эти профессии никак не сливались с ним...»

Рокоссовский тогда еще не знал Паулюса, будущего своего противника, и, конечно, не мог знать того документа, который Паулюс составил как бы для своего личного пользования, а теперь прятал его от чужих глаз в своем сейфе, не желая оказаться пророком. Паулюс писал, что все рассуждения ОКВ и ОКХ о выборе направления на Москву «могут, очевидно, иметь лишь теоретическое значение... продемонстрированная в ходе войны Советским Союзом мощь — в самом широком смысле этого слова — доказывает, что это (наступление) является нашим глубоким заблуждением».

Если это так, то признаем за истину, что Паулюс, предсказывая катастрофу вермахта под Москвою, был умен так же, как был умен и наш Рокоссовский, убежденный в поражении немцев под Москвою. Это противники, но достойные один другого...

2. РОММЕЛЬ: НАСТУПАТЬ НАЗАД!

Паулюс, довольно оглядев себя в зеркало, тщательно проверил белизну манжет и вдел в них новые лучезарные запонки, которые получил в этот день в дар от любимой Коко.

— Наш «мерседес» у подъезда,— сказала она.

Усаживаясь в машину возле шофера, Паулюс произнес лишь одно короткое слово: «Тэпфер»! Этот интимный ресторан еще со времен кайзера Вильгельма II считался прибежищем аристократии, и Паулюс до женитьбы не мечтал бывать в нем. Теперь же здесь свободно расположились генералы, влиятельные партайгеноссе и гестаповцы — сыновья мясников, лудильщиков кастрюль, извозчиков и почтальонов. Среди таковых Паулюс высмотрел и начальника уголовной полиции третьего рейха — генерала Артура Нёбе.

— Хайль! Я вас давно не видел, Нёбе.

— Не удивительно,— отвечал тот.— Я околачивался в России. Кстати, побывал и в вашей шестой армии.

— Как там поживает весельчак Рейхенау?

— Именно в его шестой армии я проинструктировал саперов, как надо мастерить виселицы.— Нёбе уставил в Паулюса совиные глаза.— На этот раз мы не проиграем войну,— произнес он.— На этот раз мы развалимся с таким треском, который будет услышан даже пингвинами в Антарктиде. Они там пукнут и спляшут фокстрот.

— Кто из вас преувеличивает? — деликатно спросил Паулюс.— Вы сами, Нёбе, или то вино, которое забурлило в вас?

Генерал-уголовник безнадежно махнул рукой:

— Уж вы-то... генеральштеблеры! Кому как не вам надо бы знать, что даже фельдмаршал Рундштедт считает дальнейшее продвижение в России опасным для вермахта.

— Извещен. Да, его штабы более склонны к обороне...

Адъютант Фельгиббеля только к ночи (самолетом) доставил из Риги корзину свежих благоуханных марципанов, которым безумно обрадовались жены гостей. Множество свечей дымно оплывали над праздничным тортом. В углублении ниши итальянский посол, генерал Альфиери, скромно ужинал с радиокомментатором Гансом Фриче. Паулюс пригласил к вальсу молодую цветущую Шарлотту, которая до брака с фон Браухичем тоже не мечтала попасть под своды «Тэпфера», где дипломаты сидели в ряд с шарлатанами, а полководцы угощали шампанским мастеров пытошного дела.

— Как я вам благодарна,— шепнула Шарлотта.

— За что, дорогая? — удивился Паулюс.

Глаза женщины были наполнены слезами.

— Мой бедный Вальтер опять скандалил с фюрером, и об этом стало известно, потому никто не решается говорить с мужем, и никто, кроме вас, не пригласил меня танцевать... Это какой-то ужас! Неужели Вальтеру грозит отставка?

Когда Паулюс, вальсируя, приблизился к нише, занятой Альфиери, посол Муссолини сделал ему знак рукою, что хочет поговорить наедине. Этот разговор состоялся.

— Мы, конечно, благодарны вам, что вы, немцы, учли теплолюбие итальянцев и не отправили их мерзнуть в Карелии, но... Как оправдать наши потери под Кременчугом?

— Не так уж они велики,— отвечал Паулюс.— Клейст использовал КСИР, когда в русских дивизиях, уже разгромленных им, четко определилась тенденция к отходу.

— Наш народ чересчур экспансивен, и теперь я не знаю, как эти потери на путях к Полтаве отразятся на настроениях Италии, где уже заметно опасное брожение.

Паулюс привел в ответ французскую поговорку:

— На войне как на войне... Кстати, я слышал, что Клейст не всегда находит общий тон с вашим генералом Мессе.

— Возможно,— парировал Альфиери.— Так же и наш Итало Гарибальди не находит общего языка с вашим задирою Роммелем. Французы правы: на войне как на войне. Не потому ли ваше командование отказывает в продовольствии нашим солдатам, ссылаясь на то, что немецкие солдаты кормятся за счет русского населения? Поймите нас, Паулюс, мы ведь следуем во втором эшелоне — следом за вами, и появляемся в районах, где уже нет ни одной курицы — одни только кошки и собаки... Вы знаете такое русское слово «кошкодав»?

— Впервые слышу. Сейчас справлюсь у зятя, барона Кутченбаха, он знаток русского языка.

— Не надо зятя. Русские прозвали «кошкодавами» прославленных берсальеров, наших заслуженных членов партии. Они побили все рекорды по удушению кошек в Донбассе!

Когда вернулись домой, жена проявила ревность:

— О чем ты шептался с Шарлоттой фон Браухич?

— Она скулила...— пояснил Паулюс.— Но я не сказал ей всей правды. Положение ее мужа сейчас трудное. Если же Браухич будет удален, тогда покинет ОКХ и мой Франц Гальдер... между ними такая договоренность!

— Кто же виноват в гневе фюрера?

— Русские! Они уже столько насыпали песку в буксы нашего вермхата, что теперь Гитлер явно ищет козла отпущения, чтобы загнать его в пустыню ради искупления собственных грехов.

— Господи, как хорошо, что это тебя не касается. Впрочем,— быстро сообразила Коко,— если Франца Гальдера задвинут за шкаф, то... не ты ли, Фриди, займешь его место?

Паулюс невольно подивился женской интуиции.

— Я бы этого не хотел,— честно ответил он.— Обстановка на фронте осложняется, бешенство ефрейтора может коснуться и меня. Стоит русским нажать посильнее, и... Я очень хочу выспаться,— вдруг сказал Паулюс.— Разве ты сама не видишь, Коко, в каком дурном состоянии я нахожусь все эти дни?..

Елена-Констанция думала, что он жалуется на приступы дизентерии, что мучила его после посещения армии Рейхенау. Но Паулюс встал перед ней, сложив руки по швам, и сказал: «Смотри!». Жена вдруг увидела, что лицо мужа странно дергается. Левая половина лица Паулюса была поражена нервным тиком.

— Если бы не Рейхенау, я бы уже завтра просился у фюрера командовать шестой армией. Цоссен меня погубит, а фронт... фронт меня еще может спасти! Не возражай. Я так чувствую...

. . . .

Москва утверждала: «сначала Германия».

Союзники думали иначе: «сначала Африка».

О значимости событий в Ливии лучше всего скажет статистика: Гитлер держал в армии Роммеля лишь *полтора процента* всех своих войск — остальные были задействованы против СССР!

Осенью 1941 года Сталин даже просил о помощи английской авиацией в пределах Южного фронта, где складывалась критическая обстановка. Но тут, как это ни странно, в дела Восточного фронта опять вмешался «африканский фактор»: Окинлек забрал всю авиацию для себя — против Роммеля! Москва могла сделать вывод: для Черчилля даже ничтожный успех в Киренаике значительнее событий на главном театре мировой войны...

Была глубокая ночь, когда возле берегов Киренаики всплыли две подводные лодки. Диверсанты-коммандос, зачернив краской лица и ладони, бесшумно высадились на берег. Ворвавшись в штаб корпуса «Африка», англичане перестреляли из автоматов всех немцев, в том числе и... Роммеля?! Окинлек с Черчиллем торжествовали недолго: скоро в Каире стало известно, что Роммеля перепутали с начальником тыла, который ведал доставкой горючего, шортами, мылом и аптеками.

— Лисица опять вывернулась из западни,— огорчился Окинлек.— Но у нас готовы для нее новые ловушки...

Иссушающий ветер перегонял через Ливию жесткие комки верблюжьих колючек. Итало-немецкие войска мучила жажда и амебная дизентерия. М у х и — вот главный бич войны в Киренаике и Мармарике, от них не знали спасения, как и от поносов. Англичане, отступая, по-прежнему бросали в колодцы арабов мешки с солью. В редких

оазисах засыхали финиковые пальмы, невозмутимые берберы, сидя на верблюдах, без особых эмоций наблюдали за маршами итальянской пехоты, за движением бронетранспортеров. Итальянец получал в день литр воды, немец 10 литров и 4 лимона (плюс к тому еще и по литру лимонного сока в неделю). Все жалобы фашистских коллег Роммель отметал:

— Вы латинская раса, и вам легче в этом пекле, нежели нам, немцам, представителям расы нордической...

Тобрук, блокированный немцами, еще держался: он был необходим англичанам как промежуточная база снабжения между Мальтою и Египтом. Роммель озлобленно говорил:

— Черчилль воюет не только колониальными войсками, но руками чехов и поляков, которые за Прагу и Варшаву теперь готовы грызть мои танки зубами...

Англичане долго не тревожили Роммеля, выжидая, когда война на Востоке заставит Гитлера отобрать у него последние резервы. Немецкие эскадрильи прямо с аэродромов Сицилии брали курс на Москву: «крыши» над головой Роммеля не стало, в небе хозяйничали «спитфайры» и «харрикейны»; бомбами и торпедами они выбивали танкеры Муссолини, везущие Роммелю горючее. (После войны сами же немецкие генералы признали: «Война против России спасла положение Британской империи на Средиземном море, вызвав новый отлив сил с данного театра; в результате генерал Роммель не смог продолжить свое наступление».)

Генерал фон Тома с вещевым мешком за плечами, будто бездомный бродяга, протиснулся в телетайпный автобус штаба, где за бутылкой вина хандрил Роммель.

— Ничего нового,— сообщил Роммель.— Фюрер, кроме подводных лодок, никакой поддержки не обещает. Забавная ситуация, Тома: фюрер обнадежил меня, что осенью разделается с русскими, и тогда я получу особый корпус «Ф» с тропическим оснащением. Вместо этого вермахт торчит под Москвой, а мы загибаемся от поноса. Наверное, я был прав, предрекая Паулюсу, что каждый наш шаг в песках Африки определен маршрутами в гиблых лесах России...

В тени походного шатра термометр показывал 43 градуса, а ночью всех будет знобить от холода.

Тома поставил перед Роммелем простреленную кастрюлю, доверху наполненную чистым прозрачным виноградом:

— Ешьте! Это привез из Бенгази майор Меллентин.

Фридрих фон Меллентин был начальником разведки, но имел родственников — немцев из Южной Африки. Вызванный в автобус, майор сразу заговорил о битве под Москвою:

— Это дело серьезнее, чем на Украине. Думаю, судьбу России решит последний гренадер последней дивизии и последний день последней схватки на улицах Москвы.

— В таком случае,— уныло отозвался Роммель,— судьбу Африки решит последняя рюмка... Нет, не из этой бутылки, а из последней бочки бензина последнего танкера снабжения. Слушайте, Меллентин! Днем мы в шортах. А каково солдатам в России? Не слыхать ли новостей о теплых кальсонах? Честно говоря, по ночам я тоже нуждаюсь в теплом белье.

Тома бросил мешок в угол автобуса, подогнув ноги, улегся на него головою. Над ним вовсю стучал телетайп, но ему давно было все безразлично. Радист доложил:

— Странно! Окинлек молчит, словно сдох.

— Для Каира, любящего болтать обо всем на свете, это даже подозрительно,— заметил майор Меллентин...

На ночь в глубину пустыни Роммель скрытно выдвигал особый отряд радиоразведки: мощная аппаратура процеживала эфир, как

через мелкое сито, пеленгаторы засекали все «голоса» ночного фронта, немцы умудрялись подслушивать даже телефонные разговоры в Каире, где британских офицеров давно пленяла знаменитая Хекмат Фатми, гениально исполнявшая танец живота. Бесподобно вращая животом, эта соблазнительная танцорка служила агентом германского абвера, о чем англичане еще не догадывались.

Ночь была очень холодной, бедный Тома ежился под шинелью. Откуда-то вдруг появилась в палатке дикая кошка и нахально пожирала со сковороды печень газели, которую не доели немцы. Потом задул ураганный ветер, на Киренаику обрушился библейский потоп, дороги превратились в бурлящие реки, аэродромы оказались затоплены, «воздушный мост» между Сицилией и Бенгази оказался разрушен. Под утро из пустыни вернулся радиоотряд:

— А в Каире заткнулись, будто их прокляли...

18 ноября генерал Окинлек перешел в наступление.

Зная, что под Москвой разгоралась великая битва, в Лондоне поспешили выдать войну в Ливии за открытие второго фронта. Би-би-си официально заверило мир: «Развитие боевых действий в Африке имеет большое значение для русского (!) фронта. Это и есть тот самый второй (?) фронт, о котором недавно говорил Сталин в своем докладе». Окинлек сообщил для газет, что теперь Германия получает по зубам одинаково — и в России и в Ливии! Но это сравнение (со ссылкой на речь Сталина) вызвало только смех в ставке Гитлера. Нисколько не смущаясь, англичане заверяли международный эфир, что Окинлек в Киренаике готовит «новое Ватерлоо». Штаб Роммеля спасался в семитонном итальянском грузовике марки «СПА», а Меллентин доказывал Тома, что во всем виноват сам Роммель:

— Ему кажется, что он попал на дачный каирский поезд, отходящий точно по расписанию. Война же не ведает расписаний, не признает и маршрутов...

Ярко горели бидоны с нефтью, заранее вкопанные в песок, а струи пламени указывали англичанам проходы в минных полях. Британские транспортеры с пехотой взрывали тучи раскаленных песков. Кондиционеры от тряски выходили из строя, и внутри танков становилось трудно дышать. Роммель отступал. Заправленные бензином, его танки сгорали белым и чистым пламенем — без дыма. Да, положение Роммеля было критическим.

Через триплекс он пронаблюдал, как британские «черчилли» и «стюарты» сминают гусеницами итальянскую пехоту.

— Я согласен и на Ватерлоо,— сказал он.— Где Тома?

Тома предстал, неотъемлемый от вещевого мешка.

— Назад... иного выхода нет,— сказал Тома.

— Да! Пришло время *наступать назад*...

Его танки отходили, грохоча выхлопами газов. На перегретых моторах вскипало и пузырилось шипящее масло. В панорамах артиллерийских прицелов расплывчато колебались миражи Ливийской пустыни. В ночь на 24 ноября Эрвин Роммель заблудился среди витков колючей проволоки, угодив со своим вездеходом прямо в центр английского лагеря. Он велел шоферу здесь же и устроить ночлег. Английские солдаты освещали его фонарями, но не решились беспокоить спящего генерала. Утром Роммель выбрался из окружения и, дождавшись выгодного момента, ударил по англичанам. Первыми подняла руки, сдаваясь, бригада королевских стрелков. Сотни сгорающих танков и грузовиков пылали до глубокой ночи, отпугивая шакалов. Берберы слезли с верблюдов и стали растаскивать все, что пригодно в хозяйстве кочевников.

— *Наступать назад*,— повторял Роммель, увлекая Окинлека в расставленные им капканы. Ночью своими танками он окружил спящий английский лагерь, скомандовав по радио:

— Включите фары! Курсовые пулеметы — огонь!

Англичан ослепили прожекторами. Они не стали возражать и тут же сдались (вместе со штабом). Заодно они любезно сообщили свой секретный сигнал о зеленой ракете.

— Благодарю,— отвечал им Роммель и велел заводить моторы. В трофейные британские танки он пересадил немецкие экипажи. Сигнал зеленой ракетой успокоил армию Окинлека. Роммель велел танкистам входить в промежутки между английскими танками.— А теперь можете открывать люки!

Люки английских танков открылись, и англичане увидели в них хохочущих немцев.

Роммель распечатал новую бутылку с вином:

— Ну, вот вам и Ватерлоо! — сказал он.— Надеюсь, что теперь Окинлек перестанет трепаться...

Черчилль по радио был вынужден признать поражение, и после этого в Лондоне о втором фронте не поминали. Британские генералы суетно драпали до баров Каира, чтобы насладиться вращением живота божественной Хекмат Фатми. Окинлек оставил Роммелю три четверти своей моторизованной техники. Поврежденные танки он тоже бросил в пустыне, и Роммель сказал Тома:

— Этого нам пока достаточно, чтобы не изводить фюрера просьбами о поддержке. Тома, а что вы таскаете в своем мешке?

— Да так. Бритва. Полотенце. Туалетное мыло.

— Традиционный набор для джентльмена, который готовится отсиживать срок в тюрьме. Зачем вам все это, Тома?

— Мало ли что случается... на войне!

— Справедливо, Тома,— согласился Роммель.— На войне побеждают иногда даже тогда, когда наступают назад.

...Эрвин Роммель знал, что для него в Германии образован корпус «Ф», специально подготовленный для боевых действий в невыносимых условиях безводной пустыни.

— Их там всех сначала прожарили в температурных камерах, словно в вошебойне, давая полстакана воды на день. Сейчас этот корпус в Греции,— сказал Роммель,— и я жду его прибытия в Ливию, чтобы с его помощью выставить англичан из Каира...

. . . .

Франц Гальдер, не терпевший Роммеля, все-таки был вынужден признать перед Паулюсом:

— Этот ваш африканский коллега, которого сам Черчилль наградил титулом «лисицы пустыни», не спорю, обладает превосходным умением тактика. Но зато в стратегии он разбирается, как эскимос в бананах. Боюсь,— призадумался Гальдер,— что Черчилль уберет бездарного Окинлека, а тогда в Ливии появится некто, думающий не только тактически, но и стратегически... Вот тогда он и откусит нашей «лисице» ее пышный хвост, давно провонявший трофейным бензином!

...После окончания войны в московской Военной академии читал лекции о победах над Роммелем сухонький и заносчивый человек, широко известный во всем мире. Сталин наградил его орденом «Победы», накинул на него шубу из сибирских соболей, подарил ему пышную боярскую шапку. Надеюсь, читатель уже догадался, что это был британский фельдмаршал Монтгомери — знаменитый «Монти».

Но сейчас нам, русским, было не до Роммеля...

3. «ЭХ, ШИРОКА МАТЬ-РОССИЯ...»

Даже слишком широка, а потому и нельзя, чтобы ее судьбой распоряжались узколобые и злобные эгоисты, мстящие своему же народу за свои поражения... Страшен был 1941 год! Но вдвойне кажется он страшнее, когда узнаешь, что Сталин повелел при отступлении выжигать все, что доступно огню. Запылала Русь, дымное зарево обагрило

ее священные небеса. Немцы — оккупанты, да, они сжигали наши деревни, чтобы наказать жителей за сокрытие партизан. Но Сталин приказал своим сжигать жилища своих же: «За отважные действия,— диктовал он,— по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственным наградам...»

Кого награждать? — Поджигателей с факелами.

Нашелся ли хоть один, который бы сказал ему:

— Товарищ Сталин, зима ведь на носу, оставляем деревни со стариками, женщинами, детьми... куда ж они денутся?

Все погибало в огне — дома, хлева для скота, сады. Матери в ужасе прижимали к себе детишек. Старики копали на околицах ямы, в которых надеялись зимовать, словно лесные звери. Стон стоял на русской земле, а Сталин упоенно диктовал свою волю: «Для уничтожения населенных пунктов... бросить немедленно авиацию, широко использовать минометный и артиллерийский огонь...»

Что это? Скудость ума? Растерянность? Или...?

Враг подходил к Москве, а для товарища Сталина уже был приготовлен самолет, чтобы вывезти его в безопасное место. Люди из Москвы бежали, началась паника, войск не хватало, полками на фронте командовали лейтенанты. Берия доложил, что его аппарат НКВД уже эвакуирован, но всех «врагов народа» вывезти они не успели,— что делать?

— У меня на Лубянке еще сидят человек триста...

В застенках томились тогда опытные командиры высшего ранга, и, казалось, настал момент выпустить их и отправить на фронт, чтобы не лейтенанты, а они сами командовали полками.

— Расстрелять всех,— указал Сталин,— чтобы ни одна эта сволочь не досталась немцам живьем...

Сам-то он, конечно, всегда успеет улететь на своем самолете, а ведь жалко оставлять Москву в целости и сохранности. Сталин распорядился по линии НКВД: «В случае появления противника... произвести взрывы предприятий, складов и учреждений, которые нельзя эвакуировать, а также метро, исключая водопровод и канализацию». В этом проявился подлинный гуманизм нашего вождя: мы еще попьем водички из кухонного крана, мы еще спустим воду в туалете коммунальной квартиры.

Юные лейтенанты поднимали своих солдат в атаки:

— Вперед! За Родину... за Сталина... у-ррра-а!

Битва под Москвой и битва за Москву имеет множество летописцев и борзописцев, но мне, автору, выразительнее всех книг кажется лишь одна фраза, рожденная за мгновенье до смерти:

— Эх, широка мать-Россия, да отступать больше некуда — за нами Москва!

. . . .

Гитлер отправил под Москву громадный эшелон с вином из Франции, дабы воодушевить войска, но лучше бы это вино во Франции и осталось: когда вагоны открыли, там лежали осколки лопнувших бутылок и комки розового льда,— начинались морозы...

Дивизии пополнения прибывали тоже из Франции — в длинных брюках, в шнурованных ботинках, а Ганс Фриче вещал по радио о меховых куртках и солдатских джемперах; Геббельс был честнее, и на пресс-конференции он рассуждал о преимуществе русских портянок перед европейскими носками. Франц Гальдер в ОКХ сумрачно нахваливал русские валенки:

— Фюрер объявил в Германии кампанию по сбору зимних вещей. Уверен, что джемперы и меховые жилетки найдутся, но скажите, где у наших немцев завалялись лишние валенки?..

В канун генерального наступления на Москву по радио долго переговаривались два фельдмаршала — фон Лееб («Север») и фон

Рундштедт («Юг»), а смысл их переговоров был таков, что вермахту пора убираться на старые польские границы, и в этом случае Сталин, возможно, согласится на компромиссные решения:

— Мы откусили гораздо больше, нежели способны проглотить. Все эти дурацкие разговоры о продвижении к Вологде и Ярославлю после взятия Москвы свидетельствуют о хорошем аппетите, но еще никто не подумал о расстройстве пищеварения...

12 ноября Франц Гальдер поездом выехал в Оршу, где расположил свою ставку фельдмаршал фон Бок, войска которого были нацелены точно в направлении Москвы. Перед гостем из Цоссена фон Бок заговорил совсем иное, нежели говорил ранее:

— Не скрою, что я честолюбив. Я брал Париж, берусь взять и русскую столицу. Вы же меня знаете! Если у меня останется хоть последний велосипед, я буду крутить педали до полного изнурения, пока не свалюсь на панель перед мавзолеем на Красной площади. А потом можете тащить меня в госпиталь.

— Вы хотя бы окружите Москву,— отвечал ему Гальдер,— и постарайтесь вырваться к Ярославлю и Рыбинску...

Все разногласия среди генералов устранялись на совещании в Орше. Явные стремления к обороне чередовались с их острым желанием захватить Москву, чтобы поставить в конце войны жирный восклицательный знак. Фельдмаршал фон Клюге, вечно хмурый и мало общительный, приковывал к себе внимание орденом Гогенцоллернов, полученным еще за подвиги в эпоху «Вильгельм-цайт».

— Я не смею думать о наступлении с далеко идущими целями,— сказал он, косо поглядывая на ершистого фон Бока.— Наступление грозит обернуться для нас потерей инициативы.

Перед танками уже забрезжило тульское направление.

— Я вошел в страну русских, имея тысячу машин,— сообщил Гудериан.— В ходе боев получил еще полтораста. А на сегодня имею сто сорок роликов... остальные выбиты! Если я врежусь в улицы Тулы, местные фурии закидают меня из окон бутылками с «молотовским коктейлем». Уже известно, что рабочие Тулы поголовно вступили в ополчение, они будут драться на этот раз за свои квартиры и кухни, за свои иконы и самовары, и мы в результате получим второй Верден!

Танковый Эрих Гёпнер тоже сомневался в успехе:

— Сейчас не май месяц, а мы не в Европе. Разговоры о выходе на Волгу к автозаводам Горького не стоят теперь и кружки прокисшего пива. Я хотел бы знать, когда придет эшелон с теплым бельем? Вчера мы вскрыли прибывший из Германии вагон, но в нем оказались шорты — для Роммеля в Африке. Кто издевается над нами? Интенданты? Или железнодорожники?

— А что у вас под брюками, Гёпнер? — разозлился Гальдер.

— Байковые кальсоны. Даже со вшами.

— Так чего же вы тут нам плачетесь?

— Но эти кальсоны я содрал с пленного. А чтобы он не околел, я подарил ему шорты африканского корпуса Роммеля...

Выслушав оправдания снабженцев, Гальдер резюмировал:

— Мне понятны ваши опасения, господа, но в ОКХ не желали бы связывать инициативу фельдмаршала фон Бока, если он чувствует в себе достаточно сил и энергии для развития нашего успеха. На войне (и вы знаете это) существует *элемент счастья...* Фюрер велел мне передать вам, что успех под Москвою должен повлиять и на внутриполитическое положение в Италии, которым дуче сейчас не мог бы похвалиться. Сразу после падения Москвы можно взяться за освоение германских колоний в Африке...

Они наступали! Браухич, уже дрожавший за свою карьеру, издалека подгонял генералов— вперед, ибо любая задержка в наступлении грозила ему неприятностями от фюрера. Москва стала прифронтовым

городом. Рокоссовский вспоминал: «Мы вынуждены были пятиться. За три дня непрерывного боя части армии отошли на 5—8 км». Наши войска оставили Клин и Тверь (Калинин), вермахт с ожесточенным упрямством продвигался к столице. Маскхалаты немецких солдат уже замелькали среди деревьев дачных пригородов столицы. Наконец, возле Николиной Горы, где проживал нарком вооружения Д. Ф. Устинов, однажды всю ночь бродили немецкие лыжники-диверсанты. Берия запретил Сталину выезжать на дачу.

— В чем дело? — возмутился тот сначала.

— Ваша дача заминирована на случай... сами понимаете...

21 ноября фон Боку было доложено, что воздушная разведка засекла скопление русских возле Тамбова, замечено активное передвижение воинских эшелонов у Рязани.

— Что это? — удивился Бок.— Или сталинские резервы, или подготовка к эвакуации? Я уже расшатал этот зуб. Мне осталось только вырвать его. Он уже неспособен врасти в десны... Не сегодня, так завтра я буду в Москве!

Первые сомнения в успехе выражали солдаты:

— Наполеон доковылял до Москвы раньше, чем нам удалось доехать на роликах. Вся разница только в том, что этот паршивый корсиканец все-таки выдрыхся в покоях Кремля, а нам пока предоставлены одни снежные сугробы...

Немцы мерзли. Встретив русских в деревне, они первым делом смотрели не что он несет в руках, а озирали его ноги. Женщины из подмосковных селений обертывали валенки всяким грязным тряпьем, чтобы немцы не видели под ним валенок. Если же усмотрели, тогда дело плохо:

— Эй, матка! Мне гут ва-ле-нок... шнель, шнель!

Офицеры вермахта были приучены спокойно оценивать самую паршивую обстановку. Погрязшие в снегах, небритые и страшные, они еще резонерствовали: «Допустим, у нас дела идут не так, как надо, но ведь у русских-то еще хуже! Не они подошли к Берлину, а мы наблюдаем разрывы зенитных снарядов над московскими крышами...» Наконец немцы оседлали автостраду Москва—Ленинград, выбрались на пригородное шоссе, где под снежными шапками притихли подмосковные дачи. Их вынесло прямо к автобусной остановке, верстовой указатель показывал, что до Москвы оставалось 38 км. Немцы вынули губные гармошки, стали дурачиться, танцуя.

— Ну где же автобус? — хохотали они.— Почему он опаздывает? Мы въедем в Москву на русском автобусе...

Разведка докладывала фон Боку, что в рядах советской армии отсутствует тяга к отступлению, русские уверены в том, что сумеют отстоять столицу. Звонок от Клюге:

— Я получил приказ для пятнадцатой дивизии! Теперь этой дивизии можно приказывать что угодно, ибо ее больше не существует: в полном составе она отправилась в рай.

Фон Бок соединил себя с Гудерианом.

— Где вы сейчас? — спросил фельдмаршал.

— Сижу в кабинете Льва Толстого, в Ясной Поляне.

— Надеюсь, вы возьмете Тулу?

— Мне было бы легче написать «Войну и мир»...

29 ноября Г. К. Жуков позвонил Сталину с фронта и уверенно сообщил, что противник выдохся, настает момент, когда его можно гнать обратно. Сталин очень экономно использовал резервы Ставки, которые собрал в условиях строжайшей секретности, и маршалу Шапошникову он сказал, что тратить их в обороне нет смысла:

— Они понадобятся нам для *прыжка вперед*...

Одновременно с жесткой обороной столицы Красная Армия наносила удары в районе Тихвина и Ростова, чтобы группы фон Лееба и

фон Рундштедта не могли оказать поддержку войскам «Центра», собранным под жезлом фельдмаршала фон Бока. В этой обстановке, когда все было накалено до предела, в кабинетах Генштаба даже странно было слышать архивежливые распоряжения маршала Шапошникова:

— Я прошу вас, голубчик... Надеюсь, я в вас не ошибся, голубчик... Что же вы, голубчик, подвели меня, старика?

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда во главе разведки Генштаба стоял генерал Ф. И. Голиков, на сообщениях Рихарда Зорге из Японии им ставились резолюции «Провокационная дезинформация!» Теперь Голиков был отстранен, и Рихарду Зорге поверили, когда он предупредил, что сейчас Япония будет занимать выжидательное положение. Потому можно без боязни снимать с Дальнего Востока дивизии, что стояли, выставив штыки, против Квантунской армии. Началась срочная переброска войск на Запад; для перевозки каждая дивизия требовала до сорока составов; эшелоны шли почти впритык один к другому, и — только по ночам, почему и не были обнаружены германской авиаразведкой. Немцы видели на фронте полураздетых и неподготовленных ополченцев, взятых прямо от станка, и думали, что если русские посылают в бой рабочих, значит, они «выдохлись» Однако из глубин Сибири на них уже накатывалась гроза свежих мощных дивизий...

. . . .

— Измена! — услышали от Гитлера.— Нас предали...

Франц Гальдер в своем дневнике от 30 ноября дописывал аккордную фразу: «Очевидно, в ОКВ не имеют никакого представления о состоянии наших войск и носятся со своими идеями в безвоздушном пространстве». На крики фюрера об измене Гальдер не реагировал, чтобы с этим делом разбирались другие, и в покои «Вольфшанце» уже спешил адъютант фюрера — Рудольф Шмундт:

— Мой фюрер, где измена? Кто нас предал?

— Рундштедт! Самолет — на заправку. Летим в Полтаву...

В самолете Гитлер уже не сдерживал ярости:

— Кто бы мог подумать? Тимошенко вышиб танки Клейста из Ростова, а Рундштедт отводит войска за реку Миус.

Миус, начинаясь с Донбасса, впадал в Азовское море.

— Ответственный рубеж,— сказал Шмундт.

— Да! Рундштедта сразу арестуем... Вот когда в трибунале его приставят к стенке, тогда он задумается!

Радиостанция самолета передала в Полтаву, что фельдмаршал Гердт фон Рундштедт приказом, отданным под облаками, отставлен от службы. Рундштедт, которому терять уже было нечего, сам же и встречал Гитлера на полтавском аэродроме. Но уже с новым вариантом стратегии:

— Не за Миус! — рявкнул он, когда фюрер появился на трапе самолета.— Не за Миус, а лучше сразу за Днепр отвести наши войска, пока еще не поздно, и убраться в Польшу, где нас так любят...

Гитлер уже протянул пальцы, чтобы рвать с фельдмаршала рыцарский крест, но Рундштедт, сделав шаг назад, мужественно загородил свои ордена ладонью:

— Э-э. Прошу помнить, что я — аристократ! А для получения пощечин у вас, фюрер, всегда найдутся другие люди, которые не стыдятся доедать за вас картофельные оладьи. Скоро исполняется девятьсот лет, почти тысячелетие, с той поры, как мои предки занимались только военным ремеслом, а это что-нибудь да значит!

Гитлер убедился, что «оппозицией» в ставке Рундштедта и не пахнет: просто старик выбился из сил. Фельдмаршал логично доказывал фюреру, что всякое продвижение невозможно:

— Нужна оперативная пауза, чтобы наложить бинты на свежие раны. Наш отход оправдан тактическими соображениями.

— Но... Клейст, Клейст, Клейст! — изнывал фюрер.— Как он мог позволить себе оставить Ростов?

Геббельс с 21 ноября трубил по радио, что ростовчане встречали танки Клейста цветами. Теперь решили дать сообщение, что Ростов сдали не Красной Армии, а... гражданскому населению. В сводке ОКВ было сказано: «Большевики, возможно, выпустят теперь сообщение, что они обратно отвоевали Ростов, но об этом не может быть и речи...»

Абсурд немыслимый! Но умнее ничего не придумали.

В снегах под Москвою и на юге России складывалась та самая обстановка, когда одни сейчас с грохотом будут рушиться с пьедестала былой власти, а другие взлетят выше...

Среди взлетевших окажется и генерал-лейтенант Паулюс!

4. ПРЕДЕЛ

В конце ноября Паулюса навестил Фриц Фромм, командующий резервами вермахта, много знавший и немало понимавший:

— Я в прострации! — сказал он.— Фюрер трясет меня, чтобы срочно выискивал новые источники для пополнений. А я уже и так набрал для вермахта всякой сволочи... под мобилизацию попали даже педерасты, а теперь думаю, не пора ли выставить из тюрем наших уголовников? Летняя кампания ничего не решила,— заявил Фромм,— а если войну продолжать, от Германии останутся одни дыры.

— Принимайте первитин,— советовал Паулюс.— Говорят, он вреден, но если в меру... от тика я избавился!

Его расстроило письмо Рейхенау, подтверждающего именно то, что сейчас высказал генерал Фромм: «Достигнута та граница, когда тетива лука натянута до предела...» Это письмо Паулюс показал жене, и Елена-Констанция сказала:

— За шестой армией тянется очень дурная слава.

— Где? — не сразу понял ее Паулюс.

— Там, где эта армия воюет... в России!

Боевая слава 6-й армии была как раз очень хорошая, но дурная слава тащилась за Рейхенау, командовавшим этой армией. В вермахте многих коробило от болтовни Рейхенау, у которого получалось так: «я и фюрер, фюрер и я, фюрер сказал, но я добавил... фюрер согласился». Гитлер был извещен о партийном фанфаронстве Рейхенау, но многое извинял ему, видя в нем убежденного национал-социалиста. Паулюс знал, что Рейхенау точно исполнял знаменитый «приказ о комиссарах», расстреливая пленных коммунистов, наконец, буквально на днях (10 октября 1941 года) Рейхенау издал бесчеловечный «приказ на твердость».

— От тебя, Коко, у меня нет секретов... прочти.

Жена прочла лишь одну фразу: «Мой солдат должен вполне отдавать отчет о необходимости сурового, но справедливого искупления грехов низшей расы...»

Елена-Констанция молча вернула мужу листок с приказом.

— Коко,— обиделся Паулюс,— ты молчишь, будто я в чем-то провинился. Не понимаю, отчего испортилось твое настроение? В конце-то концов,— сказал он жене,— шестая армия остается при Рейхенау, а я здесь, я с тобой, любимейшая!

. . . .

3 декабря Гитлер вызвал в Полтаву верного Рейхенау, вручив ему всю группу армий, которой прежде командовал устраненный в отставку Рундштедт.

— А кому мне сдавать шестую армию?

— Командуя группой южного направления, вы, Рейхенау, остаетесь по-прежнему и командующим шестой армией, от которой я,— сказал Гитлер.— ожидаю невероятных успехов... В этом году,— продолжал он,— я сам вижу это, нам не выбраться к нефтяным вышкам Майкопа, не выйти и к Астрахани. Но я верю, что силы русских уже на исходе...

будем же терпеливы! Помните одно, Рейхенау: что бы ни случилось — ни шагу назад!

— Яволь, мой фюрер. Служу великой Германии.

После этого Рейхенау продолжил отступление за реку Миус, начатое Рундштедтом, о чем и доложил фюреру, вдруг нагрянув в Полтаву — прямо к обеденному столу. Гитлер как раз уминал пшенную кашу и запивал ее тыквенным муссом.

— Рейхенау! — заорал он.— Я ведь не за тем дал по шее Рундштедту, чтобы ты продолжал то, что сделал Рундштедт... Чей приказ ты исполнил — мой или этого Рундштедта?

Рейхенау повел себя так, будто ничего не случилось:

— Я отвел войска за Миус, как того желал Рундштедт, но об этом же мне говорил и мой фюрер.

— Я говорил? — ошалел фюрер.— Когда?

— Когда вы ставили меня на место Рундштедта...

Гитлер не понимал, кто в этом разговоре очень умный, а кто остался в дураках. Но Рейхенау так преданно смотрел на своего фюрера, что Гитлер стал доедать кашу, заговорив совсем о другом. Гитлер все неудачи под Москвою сваливал на... климат:

— Сначала грязь, потом эти проклятые морозы. Поверьте, таких холодов Россия не знала уже полтора столетия, от стужи там скорчились даже русские. Паровозы замерзли на рельсах, оружие отказывало в стрельбе, танкисты разводили костры под танками, чтобы спасти окоченевшие моторы...

Никто не смел ему возражать (хотя метеосводки показывали температуру нормальной русской зимы, а сильные морозы начались лишь в конце ноября). Все возрастающее сопротивление Красной Армии еще не оформилось в четкий порыв контрнаступления, когда германский фронт под Москвою уже начал расползаться, как дряблая промокашка... 3 декабря фон Клюге связался с фон Боком и почти равнодушно сообщил, что начинает отход.

— Закрепитесь. Надо держаться,— отвечал фон Бок.

— Без резервов не удержимся.

— Резервов нет,— сознался фон Бок.— Правда, на тыловых станциях ждут паровозов отпускники, отъезжающие в Германию. Я пошлю полевую жандармерию, чтобы она гнала их к вам. Ничего не случится, если переспят с женами неделей позже...

Клюге швырнул трубку телефона. Распорядился:

— Продолжать отход. Мы лучше знаем, что надо. А уж если отпускники вознамерились переспать с женами, так в этом случае никакой жандарм не загонит их обратно в окопы...

Все эти дни фон Бок держал устойчивую связь с ОКХ — Гальдером, Паулюсом, Хойзингером; с их же согласия он 5 декабря принял окончательное решение:

— Атакам пришел конец! Армии занять оборону...

Советские войска еще не перешли в активное наступление, когда немцы сами отшатнулись от бастионов столицы. Впервые за всю войну войска вермахта впали в состояние, близкое к паническому. Их приводили в ужас русские дивизии, еще вчера погребенные в сводках ОКХ и ОКВ, давно отпетые по радио Геббельсом и Фриче, а сегодня снова вырастающие из-за лесов, словно ожившие призраки. При таком драпе по сугробам, да еще с обильною вшивостью — ну, совсем хорошо! Одни топали пешком, другие катились в санях. Иные героически увлекали за собой на веревках полудохлых коров или овец. Советская авиация — впервые за всю войну! — господствовала в воздухе, не давая отступавшим немцам покоя. Все деревни в полосе фронта были выжжены еще раньше, потому гитлеровцы бывали рады-радешеньки крыше над колхозным свинарником или копне сена в чистом поле

В ночь с 5 на 6 декабря фон Бок проверил связь с Гудерианом, безнадежно застрявшим под неприступною Тулою.

— Вы еще гостите у графа Льва Толстого? — спросил он.

— Да. В обороне. Но долго не удержусь...

Изгадив все в Ясной Поляне, «быстроходный Гейнц» покатился назад, оставляя в сугробах свои последние танки. 6 декабря Красная Армия заканчивала разгром его международного авторитета, устроив ему хороший котел, но Гудериан из окружения все-таки выкрутился. Опомнясь, Гудериан обратился к своим войскам с призывом: «Мои боевые товарищи! Чем сильнее угрожают нам войска противника и сильные морозы, тем крепче сплотим свои железные ряды...» После этого он осыпал упреками фельдмаршала фон Бока за его неумение вести крупномасштабные операции, а фон Бок, посинев от ярости, кричал ему по радио из Орши — открытым текстом в эфир, чтобы слышали все (даже русские):

— Прекратите, Гейнц! Где ваша былая воля к победе?

— Моя воля,— огрызался Гудериан,— прямо пропорциональна количеству танков, а их осталось у меня... догадайтесь!

Эфир, растревоженный круглосуточной работой немецких радиостанций, напоминал в эти дни «шумовую оркестровку»: его пронзали вопли преследуемых, крики отчаяния, призывы о помощи... В эту какофонию прорвался вопрос фон Бока:

— Так сколько, Гейнц, у вас роликов?

— Около тридцати! Пришлите мне хотя бы «красноголовых» (кумулятивных) снарядов, чтобы я мог отхаркиваться от лезущих на меня русских тридцатьчетверок.

— Красноголовые,— отвечал фон Бок,— фюрер отпускает по личному разрешению, как ценное лекарство, и нам важно, чтобы его рецептура не попала в руки противника...

Гудериан писал: «У меня остались, собственно, еще только вооруженные шайки, которые медленно бредут назад». Он ехал в T-IV с радиостанцией, к пушке его танка был привязан мешок, в котором бултыхалась, оглашая лес нестерпимым визгом, большая колхозная свиноматка — это на ужин!

Между тем фон Бок с трудом вышел прямо на ОКВ:

— Кейтель, можете закрывать мой служебный формуляр отметкою о поражении.

Кейтель из «Вольфшанце», затихшего в прусских лесах, пытался убедить его в слабости русских.

— Но я слабости не замечаю,— отвечал фон Бок,— если мы видим русский «КВ», мы еще способны продырявить его болванкой. Но когда мои ребята видят даже одну тридцатьчетверку, то они... молятся. Да, да! Вермахт стал испытывать танкобоязнь, какую раньше внушал другим. Кейтель, не отходите от аппарата.

— Не отхожу. Что передать фюреру?

— Известите его, что у меня неблагополучно с почками и я стал нуждаться в срочном лечении на курортах Земмеринге...

Чтобы хоть как-то гальванизировать вермахт, застывающий в снегах Подмосковья, Браухич 13 декабря вылетел в Смоленск, где фельдмаршал фон Бок сознался, что войска «Центра» уже на пределе изношенности. Гитлер, не доверяя генералам, прислал в Смоленск для наблюдения за ними своего лейб-адъютанта — Рудольфа Шмундта, который нервно похаживал, комкая перчатки.

— Не бойтесь говорить откровенно в моем присутствии,— сказал он,— я способен войти в ваше положение.

— Сейчас,— говорил фон Бок,— у меня нет никаких прогнозов на будущее, ибо дальнейшая судьба войны выходит из сферы чисто военной компетенции. Настал тот самый кульминационный момент, когда требуется чисто политическое решение.

Иначе говоря: пусть думает фюрер, а с него хватит.

— Вы не хотите воевать! — вспылил Браухич.— Как я доложу фюреру о подобных настроениях?

Фон Бок настаивал на приказе об отходе армий.

— Вы уже отходите! — кричал ему Браухич.— Отходите даже без приказа... На радость русским вы все дороги забили своей брошенной техникой...

На следующий день прибыли Клюге из Малоярославца и Гудериан из Орла; за перебранкою генералов бдительно следил далеко неглупый Шмундт. На раздраженный вопрос Браухича — неужели они не чувствуют прежнего превосходства над противником? — Клюге и Гудериан сознались: нет, уже не чувствуют.

Браухич демонстративно принял лекарство.

— Простите... не могу! — и показал рукою на сердце.

Всем надоело отчаянное скрипение лакированных сапог Шмундта, и наконец адъютант Гитлера остановился:

— Дайте ответ: что требуется сейчас для фронта?

Фон Бок собрал в сгусток все свое мужество:

— Срочное отступление. По всему фронту... Но любое решение об отходе в этих условиях может и опоздать!

Рудольф Шмундт связался со ставкой Гитлера в «Вольфшанце», но фюрер отказался слушать об отходе вермахта, вместо него со Шмундтом переговорил Франц Гальдер.

— Что он сказал вам? — спросил фон Клюге.

— Гальдер сказал, что завтра фюрером будет принято самостоятельное решение. Как в ОКВ, так и в ОКХ ваше положение в России генеральштеблеры не считают таким катастрофическим, как утверждаете вы, сидящие передо мною. Гальдер сообщил мне слова самого фюрера: «Я не могу пустить все на ветер только потому, что в группе «Центр» фронт по вине генералов оказался в дырках... Дырки можно еще заштопать».

Рудольф Шмундт, щадя самолюбие фронтовых генералов, умолчал о том, что мнение Гитлера о них было выражено более резко: «Их военный и политический кругозор никак не шире стандартного отверстия в унитазе...»

. . . .

Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) правильно рассчитала выносливость своих войск и сроки прибытия из Сибири подкреплений, может быть, учла и свои возможности. Московская битва в ее наступательном периоде завершилась лишь в апреле 1942 года.

Красная Армия постепенно сбавляла темпы, словно локомотив, в котлах которого падало давление... Это и понятно: мы еще не были так сильны, чтобы сохранять постоянное напряжение фронтов. Сводки Совинформбюро, конечно, были преисполнены торжества, столица, отогнавшая врага, оживилась: снова открылись кинотеатры; женщины стали подкрашивать губы...

В конце декабря 1941 года молодой генерал Павел Иванович Батов был вызван в Генштаб, где царило приподнятое настроение, иногда даже схожее с ликованием. Все это было непривычно для Батова, только что вырвавшегося из-под Керчи, где успехами наше оружие не блистало.

Представ перед маршалом Борисом Михайловичем Шапошниковым, Батов тоже не скрыл своего восторга:

— В победе под Москвою вижу большую заслугу Генштаба!

— Какая там заслуга, голубчик,— со вздохом отвечал Борис Михайлович и вдруг заговорил о том, чего никак не ожидал слышать Батов.— Наш народ слишком жаждал победы, и потому успех под Москвой мы преподнесли с излишним пафосом — как решительный поворот в войне. Однако, — продолжал начальник Генштаба, — до ис-

тинного поворота нам еще далеко. Сейчас мы только отбросили противника от столицы! Вермахт уже оправился от кризиса, а нам еще предстоит осваивать опыт ведения современной войны... Я недоволен,— сердито сказал Шапошников.— Темпы наступления были низкими. Командиры действовали вяло и нерешительно. Генералы допускали ошибки. Если бы не категорический приказ товарища Жукова, запрещавший фронтальные удары в лоб, мы бы просто захлебнулись в крови. И не здесь, не под Москвою, будет решаться исход войны...

(К этому мнению Шапошникова, пожалуй, примкнул бы и генерал Рокоссовский, который о битве под Москвою говорил в иных словах, никак не совпадавших с мнением официальной пропаганды; Константин Константинович не считал Московскую битву примером военного искусства, он говорил, что изматывание отступающего противника достигалось путем непосильного изматывания своих же войск, к дальнейшему наступлению уже не пригодных.)

Но после впечатляющих сводок по радио, после восторженных статей в газетах речь Шапошникова действовала на Батова, как ушат ледяной воды. Павел Иванович стал рассуждать о делах в Крыму, где продолжал битву героический Севастополь, но Шапошников торопливо прервал его:

— Не надо, голубчик. Тамошняя обстановка мне известна. Но сейчас работу Генштаба более тревожит ситуация, которая может сложиться к лету сорок второго года...

Об этом же думал тогда и Рокоссовский:

— Как можно забывать, что вермахт к лету оправится от московского потрясения и снова устремится вперед, чтобы выйти на запланированную ими и роковую для нас линию Архангельск — Астрахань... вот здесь!

Рокоссовским слово «Сталинград» произнесено не было, но его ладонь разом накрыла и большую излучину Дона и даже нижнюю Волгу. Рокоссовский (как и другие полководцы) уже побаивался летней кампании, а жестокие выводы Рокоссовского, сделанные им из опыта битвы под Москвою, *потом были выброшены из его мемуаров рукою М. А. Суслова, ибо эти выводы никак не укладывались в привычную схему войны, облюбованную еще Сталиным и прилизанную его наследниками до нестерпимого блеска.*

Вот только сейчас, в новые времена, мы начинаем публиковать то, что вырезано ножницами наших партайгеноссе...

Подготовка текста и публикация Антонины ПИКУЛЬ.

Продолжение следует



Неизвестная поэзия русского зарубежья

ИГОРЬ СМОЛЯНИНОВ

Родился в 1920 г. в Киеве в русской православной семье. О себе он рассказывал: «...писать я начал сравнительно рано. Еще до войны. Но не печатался, так как семья была истреблена, а меня Высшая Сила провела через страшные годы ежовщины, штрафных батальонов и немецкого плена».

После войны он работает на бельгийских угольных шахтах и в 1950 году эмигрирует в Австралию. В 1987 г. Игорь Смолянинов издает свой первый стихотворный сборник «Дороги», откуда мы и берем его стихи. В настоящее время у Смолянинова выходит новая книга — «Города и годы», средства от которой будут переданы поэтом в фонд восстановления храма Христа Спасителя в Москве.

Россия

Раскинулась широко, величаво,
Богатствами несметными полна,
В былые дни великая держава,
А ныне — обнищалая страна.

Теперь царят там гнет и своеволье,
Теперь Россией правят ложь и страх,
Там сосланных изгнанников бездолье,
Рассеянных во всех ее краях.

Бредут они под колоколом неба,
Им все пути-дороги хороши.
Для тела ищут отдыха и хлеба,
Добра и правды ищут для души.

Их прадеды набеги отражали,
На зов их подымалась вся страна
И кровью на Истории скрижали
Они свои вписали имена.

В просторах русских положила кости
Монгольская лихая саранча,
Кто приходил с мечом к России в гости
Тот погибал от русского меча.

Тевтонов полчища и произвол татарский,
Разнузданной Батыевой орды...
Россия — это Минин и Пожарский
И князя Невского победы и труды.

Она та песня — грустная, шальная,
Что заставляет сердце замирать.

Она распятая, голодная, больная
И все же милая, как любящая мать.

С полотнищ Репина, творений Васнецова
Глядит родная Русская Земля...
И со страниц Тургенева, Толстого,
И с Лавры Киевской, и с древних стен Кремля.

Россия — это Лермонтов и Пушкин,
Россия — это Гоголь и Куприн,
Родных лесов кудрявые опушки
И даль безбрежная заснеженных равнин...

Ночей морозных призрачная лунность
И страхи сказок, леденящих кровь...
Россия — это детство, это юность,
Россия — это первая любовь!

Юность подсоветская

Эх ты, юность подсоветская,
Заливные голоса!
Где ж ты, удаль молодецкая,
Где ж ты, девичья краса?..

Звезды в водах отражаются,
Цвет сирени на кустах,
А девчоночки сражаются,
Умирают на фронтах.

Где ж вы, нежные подруги,
Где любви призывный стон?
Вы под вой иркутской вьюги
Заливаете бетон.

Где ж вы, соколы крылатые,
Гордость Родины в боях?
Вы, спасители распятые,
В безымянных лагерях.

Где ж вы, честные и стойкие?
Не отдав Москвы врагу,
На колымской новостройке
Умираете в снегу...

А сирень цветет, колышется...
И, забыв войну и кровь,
Чей-то тихий голос слышится,
Говорящий про любовь.

Эх ты, юность подсоветская,
Заливные голоса!
Где ж ты, удаль молодецкая,
Где ж ты, девичья краса?..

О том, чего уж нет

Гляжу на милые черты:
Портрет с годами пожелтевший,
И снова прежние мечты
В душе проснулись охладевшей.

Давно, давно, в родном краю,
Среди берез кудрявых, белых,
Держал я милую свою
В руках мальчишески несмелых

Над лесом медленно всплывала
Стыдливо красная луна,
И нас тогда околдовала
Хмельная русская весна.

Мелькнула юность, как зарница,
Среди войны, среди тревог,
И даже с нею я проститься
По-настоящему не мог.

Потом судьба меня угнала
В чужие, дальние края,
И ждать, наверное, устала
Меня — любимая моя...

Часы плывут, плывут, сползая
По циферблатному кругу,
Я в ту весну гляжу, родная,
И наглядеться не могу.

Но канет ночь, придет рассвет,
И в сердце вновь тоску пробудит
О том, чего уж больше нет
И никогда уже не будет.

Мельбурнская буря

ПОДРАЖАНИЕ ПУШКИНУ

Буря мглою небо кроет,
Пылью, мусором крутя,
То, как пьяный, вдруг завоет,
То заплачет, как дитя...

То по кровле обветшалой
Грохнет жестью, загремит,
То, как грузчик запоздалый,
В двери бара постучит...

Выпьем, друг мой терпеливый,
Ты деньжонок не жалей,
Выпьем джину, выпьем пива —
Сердцу будет веселей!..

Спой мне песню, только тихо,
Чтоб не выгнали нас вон,
Как дрались мы с немцем лихо,
Как попали мы в полон...

Как о Родине мечтали,
Как надеялись мы зря,
Как потом переплывали
Океаны и моря.

Нету снега, нету тройки:
Эвкалипты лишь одни.
У залитой пивом стойки
Вспомним мы былые дни...

Как мы жили-поживали
У «любимого» отца,
Как ему тайком желали
Нехорошего конца.

Вспомним очередь за хлебом,
За картошкой, за крупой —
Под родным открытым небом —
Летом, осенью, зимой...

Вспомним наши магазины:
Ни ботинок, ни рубах,
Ни гвоздей, ни керосину,
А плакатов — прямо страх!

Иль сболтнул чего немного —
Ведь попутает же черт,
И сбирайся в путь-дорогу,
К белым мишкам — на курорт!..

Тут мой друг заволновался:
Хватит!.. Жутко вспоминать!..
И с поспешностью принялся
Он стаканы наполнять.

Снегу нету здесь на святки,
Вот нашел о чем тужить!
Но зато здесь без оглядки
Да привольно можно жить!

Больше нам бродить не нужно.
Где нас леший не таскал?!
Так давай поднимем дружно
За Австралию бокал!

Север

Когда-то здесь погиб Сусанин,
Спасая Русского Царя...
Теперь пропеллерные сани
Везут начальство в лагеря.
Насквозь прорублены просеки,
Чернеют вышки тут и там...
Шумит тайга и стонут зеки,
И смерть шагает по пятам.
В бараках, в снеговых сугробах
Чуть тлеет жизни огонек...
Здесь не забудут и до гроба
Смертельный сталинский урок!
Родные лица зекам снятся —
Очаг домашний и уют,
А ветры воют, ветры злятся,
Заупокойную поют...
Годами здесь текут минуты —
Клянутся тщетно: «Я вернусь!».
Здесь инородные Малюты
Казнят и распинают Русь.
Когда-то здесь погиб Сусанин,
Крестьянин русский родовой,
Теперь пропеллерные сани
Увозят Френкеля домой.

* * *

Звенела русская весна:
Потоки бурные шумели,
В ту пору было не до сна —
В крови желания горели.
Бродя ночами, я читал
Узоры звезд в далеком небе.
Всегда голодный, я мечтал
И о любимой, и о хлебе...
«Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!..»
И эти дивные слова
Запали в душу мне глубоко!
Ах, как кружилась голова —
От чувств, от голода, от Блока!..

ПРОЗА



Отечественный архив

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

БЕСЕДА С РУССКИМ ПИСАТЕЛЕМ ОЛЕГОМ ВОЛКОВЫМ

Еще семь-восемь лет назад мы жили в полной уверенности, что наш народ узнает страшные тайны XX столетия лишь после того, как это столетие закончит свой отсчет. Но случилось неожиданное — книжные прилавки залил поток литературы о революционном и послереволюционном лихолетии. Началось с застенчивого и скромного автора «Кортика» и «Приключений Кроша», потом долго не разрешали Солженицына, давая шанс всевозможным посредственным литературным поденщикам прославиться своими серенько-смелыми вещами. Наконец, когда вся эта благополучно пропевшая когорта исчерпалась, были высочайше и всемилостивейше дозволены Шаламов, Солженицын, Волков, после которых о Рыбакове помнят разве что посетители ЦДЛ. Эта литература надолго заполнила собой умы. После шокирующего прочтения «Архипелага ГУЛАГ» читающая публика уже успела даже несколько разочароваться в позднем Солженицыне; глубина «Красного Колеса» ждет, по-видимому, более вдумчивого и терпеливого читателя, более спокойного времени, располагающего к трезвому и тщательному осмыслению столь огромного произведения. В последнее время даже стало казаться, что лагерная тема исчерпана. Книга Бориса Ширяева — яркое доказательство того, что это заблуждение. Может быть, даже и хорошо, что о ней как бы забыли. Она необходима именно сейчас, когда начинается новое осмысление XX века и той трагедии, которая была принесена нашему народу этим веком революций и катастроф. «Неугасимая лампада» уже выходит из рамок литературы на лагерную тему, так же, как «Война и мир» это не просто роман о 1812 годе, а «Преступление и наказание» это не просто роман с детективным сюжетом.

Прежде чем начать публикацию романа Бориса Ширяева «Неугасимая лампада», мы предлагаем вашему вниманию беседу редактора отдела прозы нашего журнала с одним из старейшин русской литературы — Олегом Васильевичем Волковым. Он не просто ровесник века (в январе этого года ему исполнился 91 год),— Олег Васильевич прошел через все тернии двадцатого столетия. Двадцать семь лет он пробыл в тюрьмах и лагерях, и мы полагаем, что О. В. Волков как никто другой имеет право высказывать любые, даже самые резкие суждения.

Александр Сегень: Олег Васильевич, на мой взгляд, сейчас в читательском сознании наблюдается некое ожидание новой волны литературы, призванной понять и объяснить, зачем нужны были все испытания, свалившиеся на нашу страну. Ведь абсурд, если все было напрасно, страшно и думать-то об этом! Вместе с произведениями Солженицына, Шаламова ваши книги решили свою неоценимую задачу — они вскрыли правду о страшном архипелаге, они пробудили умы и сердца многих русских людей, они показали, что не может быть никакой такой великой светлой цели, ради которой можно так издеваться над миллионами людей. И все-таки после этой мощной обличительной артподготовки вспоминаются евангельские слова о том, что зло и впредь будет пребывать, но не зло победит зло, а только любовь.

Олег Волков: Да, можно только мечтать о временах, когда забудется жажда мщения и ненависть уступит место христианскому пониманию, братолюбию и сочувствию. Но как же это трудно — прощать! Всем, но особенно тем, кто знает о преступлениях большевиков против человечности, во все время их узурпированного правления. Тем, кто прошел через унижения и лишения, в полной мере познал режим лагерей и тюрем. Как мириться с утверждаемой годами ложью о намерении Ленина, Свердлова и прочей их команды создать новую — свободную и счастливую — Россию, и будто бы незавершенном из-за Сталина, перечеркнувшего задуманное «основоположником» и введшего террор? Проведение такой демаркационной границы между радетелем народного блага Лениным и убийцем Сталиным выглядит особенно несостоятельным для людей моего поколения, отлично помнящих развязанные с первых дней революции бессудные расправы и казни заложников. После разгона Учредительного собрания стала проводиться политика запугивания и репрессий, была узаконена проповедь классовой ненависти, прививавшая жестокость. Установился террор.

Были перечеркнуты и отброшены исконные понятия добра: их попросту отмели, перестали с ними считаться. Вершителем справедливости и мерилом нравственности сделался «товарищ маузер». Неоспоримая правда в том, что источником всех несчастий и преступлений, заливших Россию кровью в XX веке, сделалось единовластие Ленина и его сатрапов.

А. С.: Да, несмотря на самые крепкие преграды, мы все-таки добрались до более полного осознания миссии Ленина и большевиков-ленинцев, до недавнего времени противопоставляемых Сталину и сталинцам в качестве некоего светоносного и поруганного идеала. Допустим, что появится еще и антилениниана, хотя едва ли ей удастся затмить собой ту высоченную гору книг, насыпанную многолетней Ленинианой от Горького и Маяковского до Шатрова, Евтушенко и Вознесенского. Допустим, что этот антиленинский поток, захлестнув на какой-то период умы читателей, схлынет. Что же дальше? Поиск других виновников развала России? Более глубокое копание в пучинах всеобщей беды и всеобщей же вины? Целостный взгляд на историю кровавого столетия и его место вообще в истории человечества?

О. В.: Холодный взгляд со стороны? Может быть. Но это уже для вас, вашего поколения. Но и для вас всепрощение не означает замалчивания. Нам же, на себе испытавшим «ленинизм в действии», без негодования вспоминать Ленина, Троцкого, Свердлова, Дзержинского — да и Кирова, Бухарина и иже с ними,— поправших христианские нормы морали ради удержания в своих руках незаконно захваченной власти,— невозможно. Разумеется, внедрение в обиход убийств и бессудных расправ началось не с февраля 1917 года — террористы объявились в России задолго до этой даты. Но все они «вскормлены молочком от одной коровки». Орудием же управления и нормой права террор сделался именно начиная с 1917-го. В этом для людей верующих — торжество темных сил. Начавшееся с одиночных убийств, оно завершилось массовыми расправами. И маленький лагерек на Соловецких островах, прекрасно описанный в «Неугасимой лампаде», обернулся всесветными масштабами Архипелага ГУЛАГ. И не видеть в этом какого-то глобального сатанинского замысла по меньшей мере близоруко.

А. С.: И все-таки, Бог попустил все это. Он отнял у нас Государя и подчинил антихристам. Случайно ли это? Безвинно ли? Ведь смута долго заваривалась, и долго развращались умы нестойкие. А когда грех принял огромные размеры, когда все общество было заражено вирусом революции, тогда пришло наказание Господне. И этот очистительный огонь, через который прошел народ наш в этом столетии, не выжег ли он из русских сердец антихристову печать? Мне кажется, что в книге Ширяева сделана первая попытка показать, как через мучения происходит очищение человека, когда даже мучители и палачи в какие-то моменты осознают свою греховность, обнаруживают страшную пропасть под своими ногами — вспомните сцену встречи Ногтева со схимником или главу о расстрелянном Спасе. Для меня эта книга была как откровение. Может быть, вы восприняли ее по-другому? И наверняка. Между мной и вами — шестьдесят лет разницы. И я знаю о лагерях лишь по книгам и рассказам, а вы — по своей жизни.

О. В.: Конечно, я читал эту книгу иными глазами, чем вы. Хотя времена менялись, и с ними менялись и лагеря. Мы с Ширяевым разминулись: он был на Соловках в начале двадцатых годов, я — в конце. Он не знал Архипелага ГУЛАГ в пору его расцвета, которую застал я, когда там стали перемалывать не тысячи, а миллионы людей. Настоящей советской каторги Ширяев не видел. Первые годы на Соловках отмечены кое-каким либерализмом, напоминающим черты прежней ссылки в дореволюционной России. Так, «политических» заключенных даже не заставляли работать, они попросту были изолированы от того, что почиталось у большевиков волей.

Эти исключения были очень скоро похерены — всем з/к надлежало выполнять нормы — по-лагерному, «вкалывать», познать на своей шкуре, каков режим. С тюрьмами и лагерями я расстался тридцать пять лет назад, однако до сих пор от воспоминаний о некоторых сценах унижения и произвола щемит сердце. Я согласен с вами, что предстоит ныне более взвешенно оценить наше прошлое, все пережитое. Но мы всматриваемся в него глазами лагерников, и тут нелегко избавиться от мстительных суждений. Можно сослаться на произведения Солженицына — в них не раз прорывается наружу неугасшая озлобленность.

Представители духовенства, первыми попавшие в лагеря, подавали пример того, как надо нести свой крест. Они учили нас пониманию, что Провидение попускает беззакония в России за грехи русского общества, и, чтобы обрести пути спасения, надо стойко противостоять доставшимся на долю невзгодам.

Ширяев в своей книге «Неугасимая лампада» одновременно художник и историк, что придает его труду особую убедительность, хотя художник здесь и перебарывает историка. Иногда им сгуща-

ются краски, чтобы ярче произвести нужное впечатление.

А. С.: Да, но ведь это не историческое исследование, это роман. Если первые главы действительно больше похожи на мемуары очевидца, то где-то с середины книги художественность берет верх. И тут Ширяев выигрывает. Начиная с «Мужицкого царя» главы идут одна другой лучше. Особенно потрясла меня глава «Фрейлина трех Императриц». Какая высота духа пронизывает образ баронессы! Какое внутреннее ликование ведет ее душу! Она счастлива, что призвана Господом на совершение подвигов смирения и помощи ближним. И наоборот — как несчастны все эти Ногтевы, Френкели, потерявшие человеческое лицо, продавшие душу дьяволу за мизерный клочок достатка и удовлетворенной гордыни!

О. В.: Мне доводилось встречать в лагерях людей, подобных баронессе. Ими проявлялась удивительная сила духа, приверженность к религии, близкая к святости. Немало женщин, принадлежавших высшим общественным кругам, совершали подвиг всепрощения и смирения, как это делала фрейлина трех Императриц. Великие любовь и жалость давали им силы, сознание их человеческого долга предопределяло их поступки. И в самых трудных условиях они сохраняли достоинство, старались внушить надежду отчаявшимся.

А. С.: Олег Васильевич, а кроме таких людей, вам доводилось встречать других персонажей книги Ширяева?

О. В.: Таких Ногтевых и ему подобных приходилось видеть немало — в лагере им было вольно проявлять свою палаческую натуру. Приходило время, и они сами попадали под расстрел. То была политика Сталина, последовательно проводившего чистку лагерного начальства. Так он убирал свидетелей и исполнителей им же диктуемых казней: приходившие на смену новые палачи убивали своих предшественников — и, выражаясь по-лагерному, «с концами». Так, после убийства Кирова были казнены причастные к нему лица, потом уничтожили тех, кто оформлял их казнь, а в заключение погибли и те, кто вел процессы второго слоя. Так работали чекисты — рыцари революции!

А. С.: Неужели вы видели своими глазами этого самого Ногтева?!

О. В.: Я видел и Ногтева, и Глеба Бокия, и Эйхманса с Френкелем. Последний был рослым, здоровенным мужчиной. В шинели до пят и буденовке, он казался монументом ГУЛАГу — не хватало лишь пьедестала. Помню давящее ощущение незаурядной злой силы, исходящей от него. Кстати, начинал он лагерную карьеру как уголовник-контрабандист...

А. С.: Да, вот ведь удивительная судьба — он же был сослан на Соловки как преступник, а постепенно дослужился до назначения начальником работ на Беломорканале. И ведь это типичнейший случай. Уголовники были на Архипелаге ГУЛАГ настоящими хозяевами.

О. В.: Да, то был очень эффективный способ насаждения ненависти и злобы между заключенными, когда отпетых уголовников ставили начальниками над «политическими» преступниками, в большинстве — вполне невиновным людом. Поддерживание вражды между бытовиками и «контрой» составляло всегдашнюю заботу лагерного начальства.

Если исследовать каждое начинание большевиков, то следует напрочь отмести ложное представление, что ими предпринимается что-либо в благих целях: их единственной заботой всегда было сохранение абсолютной власти — любыми средствами. В дело шел опыт и Французской революции — большевики многое у нее позаимствовали, тот же институт заложников.

А. С.: Все-таки одно не увязывается — Франция процветает, а Россия разграблена и все больше углубляется в кризис.

О. В.: Франция процветает и поныне потому, что у санкюлотов хватило ума распродать крестьянам по дешевым ценам принадлежавшие феодалам земли. Став землевладельцами, крестьяне послужили прочным основанием для государства. Никакие революции XIX и XX веков не поколебали благополучие фермеров, и Франция выстаивала во все бури!

А. С.: У большевиков-то, конечно, было совершенно иное мышление. Они во всем как бы действовали назло предыдущему разумному устройству Российского государства. Ведь стоит окинуть взглядом историю: нетрудно обратить внимание на то, что при всем различии русских царей, когда есть основания одного назвать тираном, как, скажем, Петра I, другого самодуром, как Павла I, но одно было единым для всех государей — после каждого из них корабль Российский становился прочнее и увереннее плыл по волнам истории. И при всех различиях в характерах советских временщиков их также объединяет общая черта: жизнь становится с каждым годом все хуже и хуже.

О. В.: А сейчас все громче призывают к новой революции.

А. С.: Ну, это мне кажется совсем нелепым. Я не верю в возможность новой революции хотя бы потому, что тогда она помогла разграбить богатейшую страну, а сейчас новым революционерам и грабить-то уж нечего.

О. В.: Совершенно верно, грабить уже нечего, материальная база разорена. Хозяйство наше подрублено под корень. Однако главное в другом: все фокусируется на небывалом духовном оскудении народа, мы забыли о христианских заповедях. И сколько бы нас ни тешили обещаниями вытащить из ямы ту или иную отрасль хозяйства и покончить с проблемами, надо честно дать себе отчет: без нравственного возрождения мы никак не одолеем отрицательные явления, поставившие нас на грань катастрофы. В народе проявилась тяга к восстановлению христианских ценностей. Вглядитесь, какие славные молодые лица среди молящихся в храмах, как соревнуются на поприще восстановления церквей... Не может быть, чтобы русское сердце могло вечно гореть ненавистью, презрением и подозрительностью к окружающему миру. На мой взгляд, «Архипелаг ГУЛАГ» не художественное исследование — это яркая, высокая, огнепальная проза, скорее всего «опыт исторического исследования». И жаль, что Солженицын допускает в ряде мест излишне запальчивые ноты, поскольку перед нами — историческое свидетельство. Наши потомки будут читать «Архипелаг ГУЛАГ», как мы читаем Карамзина или Ключевского. Жизнь в бараках знала и свои покойные часы, встречи с хорошими людьми, заключала просветленные минуты. Что, кстати, встречается в «Одном дне Ивана Денисовича».

А. С.: Я не склонен сравнивать Ширяева с Солженицыным, считаю «Архипелаг ГУЛАГ» одним из главных произведений, написанных в XX веке, считаю, что мало есть книг с таким мощным напряжением, имеющих такое значение для современников. Но все же мне кажется, что есть существенная разница между Солженицыным и Ширяевым. Первый — только обличает. Второй — пытается осмыслить, найти Божий промысл, заглянуть в души: а что там происходило? Гибель или обновление?

О. В.: Солженицын и Ширяев словно на двух чашах весов. И — уравновешиваются. У Ширяева есть страницы, написанные очень сильно в художественном отношении: они потрясают. Мне не понравились главы о театре на Соловках. Им хозяева лагеря пускали пыль в глаза, создавали рекламу режиму, и изнанка этого начинания — как, впрочем, и соловецкого журнала — проступала сквозь любой грим: слишком велик зазор между лагерной «житухой» и служением музам...

Мне как-то трудно поверить в реального схимника, будто бы обнаруженного начальником лагеря Ногтевым в лесной чаще. Положение, правда, соблазнительное для романиста!

В этом контексте я вспоминаю рассказ нынешнего академика Д. С. Лихачева о том, как он — соловецкий узник — укрылся от расстрела, спрятавшись в поленнице. Что-то трудно поверить, чтобы намеченная добыча могла так легко спастись от наторевших в своем деле палачей: провел ночь за штабелем дров, а утром объявился — и все обошлось!.. Как говорится, не любо — не слушай... Чередуются годы, и всякая быль обрастает легендами, подсказанными подчас ошибками памяти, иногда порожденными пылким воображением. Но я помню и лиц, творящих легенду без всякой были. Это участники феноменально роскошной монографии о строительстве Беломорского канала: золотой обрез, красный с золотом переплет, первоклассные иллюстрации. Среди авторов и составителей незабытые имена — М. Горький, А. Толстой... Тошнотворное чтение!

А. С.: И Катаев, и Зощенко, и Шкловский, и Всеволод Иванов. Трудно даже попытаться вообразить, будто все они смогли убедить себя, что мерзости творятся ради какой-то там светлой цели.

О. В.: Что за постыдная книга — это музейное издание, рассчитанное на потомство! Но... оно учит отделять правду от льстивых текстов целой плеяды подписавших свои опусы литераторов...

Придворной услужливостью болеет у нас по меньшей мере уже третье поколение советских граждан. Всегда находятся царедворцы — ученые, поэты, художники. Я когда-то очень ценил прозу Пришвина, считал его певцом «края непуганых птиц», знатоком «Руси уходящей»... пока не прочитал его «Осудареву дорогу» — откровенный панегирик охранникам-чекистам, якобы умеющим выковывать сознательных тружеников-патриотов из люмпенов-рецидивистов. Неужели гений и злодейство совместимы?..

И я тревожусь... Сколько людей, запятнавших себя наипреданнейшей лестью в адрес самых авантюрных и опасных хрущевско-брежневских начинаний, ныне выступают в авангарде ярых «перестройщиков»! И громят еще недавно возносимые ими «непрогрессивные» времена! Эти деятели постоянно готовы подпевать ЛЮБОЙ ВЛАСТИ... На их фоне те из них, что благоразумно ушли в тень, отказавшись от участия в придворном марафоне, выглядят куда как достойнее...

А. С.: Да, земноводные всегда были. Но не ими земля держится. Слава Богу, что были такие, как Ширяев, которые не только находили в себе силы не поддаваться дьявольским искушениям, не продавать себя, подобно Горькому или Катаеву, не только оставаться честными, но и даже находить в себе силы смиряться и прощать. В заключительной главе «Неугасимой лампады» Ширяев пишет: «Не поминать лихом Соловецкую каторгу тогда я не мог». Но потом, спустя какое-то время, он увидел Соловки в сиянии риз золотых куполов преображенного Китежа. Дай Бог нам всем такое зрение!

О. В.: Дай Бог!

Москва, февраль 1991 г.

БОРИС ШИРЯЕВ

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

РОМАН

Часть первая

В СПЛЕТЕНИИ ВЕКОВ

Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».

Автор.

Глава 1
СВЯТЫЕ УШКУЙНИКИ

Над гребными колесами привезшего нас на Соловки парохода алела полукругами ясно заметная издалека надпись «Глеб Бокий»; но плоха ли была краска или маляру не хватило олифы — присмотревшись, вблизи можно было прочесть другую, скрытую под ней, крепко, глубоко всосавшуюся в оструганные еще на монастырской верфи доски — «Святой Савватий».

Есть годы, скручивающие тугим, неразрывным узлом столкнувшиеся во времени века, сплетающие в причудливый до невероятия узор прошлое с будущим, уходящее с наступающим. В них то сходятся, то расходятся, обрываются и снова возникают нити человеческих жизней, развертывается ткань сомкнутых поколений, но, лишь отойдя на грань положенного срока, можно разобраться в загадочных извивах их узоров. Такими я вижу теперь Соловки первой половины двадцатых годов, последний монастырь — первый концлагерь, в котором прошлое еще не успело уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие.

Соловки — дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с Духом вечным, Господним.

Темная опушь пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну студеного моря. Между ними лишь тонкая белая лента едва заметного прибоя. Тишь. Покой. Штормы редки на Полуночном море. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей, где лишь строгие черницы-ели перешептываются с трепетно-нежными — таких нежных нигде, кроме Соловков, нет — невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов! Каких только нет! Кряжистые, похрустывающие грузди, подосиновики — щеголи красноголовые, боровики — купцы московские, тугие — не уколупнешь, робкие белянки, укрывшиеся под палой, пахнущей сладимой прелью листвой, стыдливые, как невесты на выданье, а к осени — ватаги резвых, озорных опенков лезут, толкаясь, на пни и валежник...

Остров невелик, длиной 22 версты, шириной 12, а озер на нем 365 — сколько дней в году. Чистые, ясные, студеные, битком набиты они стаями шустрых, игорливых ершей. Донья — каменистые; круглые, обточенные веками булыжники пригнаны плотно друг к другу, словно на московской мостовой. В полдень видно все, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку...

Дебря Соловецкая мирная. Святитель Зосима вечный пост на нее наложил: убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новогородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на плавучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклятия на них святитель не наложил.

— И вы, волки, твари Божие, во грехе рожденные, во грехе живущие. Идите туда, на греховную матерую землю, там живите, а здесь — место свято! Его покиньте!

С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые беляки-зайцы живут на Святом острова, где за четыре века не было пролито ни капли не только человечьей, но и скотской горячей крови.

Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава на пожелтелых листах соловецких летописей, разметанных налетевшей на Святой остров непогодью и снова собранных по темным подклетям пришедшими в монастырь новыми трудниками.

Множество чудесных былей рассказывали и чернецы, оставшиеся на Соловках по скончании монастыря. Многое, уже забытое на Руси, они еще помнили. Недаром чутко слушавший народную молвь поэт писал:

Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
Инок честной Питирим...

* * *

Теперь иноки эти — рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Софроний даже светский чин имеет: начальник рыбоконсервного завода. Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил — к самому царю. Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. Об этих обозах в «кладовых листах» не раз писано, а в «рухольных» — ответные царские дары мечены: златотканые ризы парчовые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского венецийского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, московских великих княжен.

Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита — теперь антирелигиозном музее. Там же и раки с мощами святителей Зосимы и Германа. Открыты у них лишь главы да персты нетленные, а Савватий закрыт — нетленен весь.

Соловецкие монахи — особенные. Других таких по всей Руси не было: не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний, от самих святителей повелся, когда они первый храм Господен на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тот был во славу святого Преображения Господня учрежден, и стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь. Только немного он теснее алтаря был. Более двенадцати чернецов в себя не вмещал.

Так в истинных древнего писания Житиях сказано.

Ладья же, на которой святители на остров прибыли, в ту же ночь волею Господней сама назад к матерому берегу уплыла и там на причал стала. Таково было дано знамение: святителям на острове оставаться и далее на Полночь не идти, новым же трудникам во имя Господне с Руси на той ладье прибывать и трудом души свои оберегать от бесовского мирского искушения и напастей.

Иеромонах Никон, что монастырским гончарным заводом раньше управлял, рассказывал, как он с подначальными трудниками и к службе Божией только раз

в году поспевал, на Светлое Христово Воскресение. Тропари же, ирмосы и псалмы пели каждодневно, глинку замешивая и печь растопляя.

— Телесное тружение — Господу служение, обители — слава и украшение, бесам же блудным — поношение, — поучали богомольцев чернецы и сами пример показывали.

От монахов и богомольцы тот обычай переняли: придет человек помолиться, отстоит молебен у мощей святителей-трудников, да и останется на год сам потрудиться во славу Угодников Божиих. По обету многие трудились год, два и три, покаяния усердного и просветления духа ради. Ими, трудниками земли Русской, возведены и неодолимая волной Муксоломская дамба — стена на море, и нерушимые стены Соловецкого кремля, мало чем Московскому уступающие: длиною округ верста три четверти, толщею же превыше московских. Сложены они из непомерных валунов по указу благочестивого государя Феодора Иоанновича, радением Бориса Годунова, Правителя Царства, ближнего боярина и царского шурина.

Петр-император, посетивший Соловки, тоже здесь потрудился: выточил не голландском станке и сам вызолотил резную сень над архимандритовым местом в Преображенском соборе. Висит теперь и она в том же музее.

Обычай сильнее времен. Он нижет на себя годы, как нить — окатные бурмицкие зерна. Сменились века, рухнуло Московское царство, нет более и благоверных его царей, а идут к Святому острову трудники со всей земли Русской, и нет им конца-краю.

Тугим узлом закручены безвременные годы, и в невиданном разноцветии сплелись в нем пестрые нити людских жизней.

Когда последний Соловецкий архимандрит уводил чернецов в Валаам в 1920 году, иные из них по древности лет или по усердию остались в обители и с ними — схимник-молчальник, в глухой дебре, в затворе спасавшийся. Проведала о том новая власть, и раз, в весеннюю пору, подкатил на коне к схимниковой печуре-землянке сам начальник новый Ногтев со товарищи. Пил он сильно и тут хмельной был, сбил затвор и в печуру... бутылку водки в руке держит.

— Выпей со мной, распросвятой отец опиум! Попостился — пора и разговеться! Теперь, брат, свобода! Господа Бога твоего отменили декратом... — стакан наливает, старцу дает и матерится по-доброму.

Встал старец от своей лампады и молча земной поклон Ногтеву положил, как покойнику, а поднявшись, на открытый свой гроб указал: помни, мол, там будешь.

Перемекился Ногтев в лице, бутыль за дверь кинул, сел на коня и ускакал. Пил потом месяц без перастану, старцу же приказал паек выдавать и служку к нему из монахов назначил.

Сплелись две нити из двух веков и вновь разошлись по своим путям, указанным свыше. А немое речение старца сбылось: году не прошло, как нагрянула из Москвы комиссия, дознались, что Ногтев серебряных литых херувимов с иконостаса спекулянтам продал, и расстреляли его, раба Божьего.

Провидел смерть его старец. Дано ему было то, как святителю Зосиме, узревшему обезглавленными новгородских бояр на пиру у Марфы Борецкой, посадницы.

Древнее житие святителя об этом так повествует: когда обитель уже обширною стала и притекли к ней многие люди со всея Руси, тогда земли Полуночныя — Беломорские, Кемские, Пермские, Сорока, Кола и Печора, вплоть до самого Каменного пояса, под рукою Московского царя не были. Господин Великий Новгород ими володал; пенили его дерзкие ушкуи волны широких полуночных рек, сбирали его вольные дружинники-ратники и ставленные на вече тиуны дань с темных, диких лесных людей: куны, лису чарно-бурую, соболя... Таким ратником-землепроходцем и святитель смолоду был, а после, когда воздвиг обитель, пошел он к светлому Ильмень-озеру, чтобы там на вече грамоты на новые земли испросить.

С великою честью приняли старца новгородские бояре. Наслышан был Господин Великий Новгород о славе его подвига. Не только землями монастырь наделили — всем Кемским берегом, Колой и Сорокой, — но поставили и утвердили на вече: архимандриту его все народы тех стран под своею высокой рукою держать, суд им творить и сбирать с них дань в обительскую казну. Встречать же того архимандрита в его волости превыше, как князя и посадника, но как владыку митрополита: во все колокола бить и путь ему от моря до палат алым сукном стлать.

В те годы всем Новгородом, пятинами его и концами посадница Марфа Борецкая правила и, провожая старца в далекий обратный путь, созвала она на пир всех бояр. На пиру том отверзлись очи святителя, и узрел он грядущее; видит: сидят за столом бояре — все без голов...

Так и сбылось. Посек гордые головы грозный Московский царь, попалил огнем Новогородское торжище и подворья, но жалованную обители честь, земли, ловы и соляные варницы утвердил большой печатью Московского царства...

Закопали Ногтева в бору, на том самом месте, где в стародавние времена воевода Мещеринов схоронил мятежных иноков соловецких, петлею им удавленных. Тоже давно это было; в царствование Тишайшего, по приказу Никона-патриарха. Монастырь тогда новопечатных книг не принял. Мало того, старцы обители соборно обличительное послание патриарху написали.

Суров и непреклонен был Никон. Самому царю властью своею патриаршей указывал он путь. Тверд был и архимандрит-игумен: слово свое супротив патриаршего поставил, ересиархом нарек Никона и грамоты о том по всем северным обителям разослал.

Никон стрельцов от царя истребовал, отдал их под начало своего патриаршего боярина Мещеринова и двинул ратную силу на Святую обитель. Не устрашился ее игумен, затворил окованные железом врата перед патриаршим воеводой и выкатил пушки на кремлевские стены.

Снова воспрянула супротив Москвы вольности Новгородской гордыня, и многие годы стоял под стенами Соловецкого кремля воевода Московского патриарха, «собинного» друга царя... Землянки, в которых жили патриаршие стрельцы, видны и теперь за монастырским кладбищем, на самой опушине бора. От них лишь ямки остались.

Устояла бы и дале твердыня древнего благочестия, но не судил того Господь. Некий чернец, имя его в Житиях не указано, переметнулся к Мещеринову и указал ему тайный ход, под стеною кремля к озеру Святому прорытый. По тому ходу в кремль вода под землею шла.

Темною ночью потаенно вошли тем ходом в обитель патриаршие стрельцы, схватили архимандрита в его келье и, часу не теряя, на то же утро увезли в железах к патриарху.

Крови, однако, пролить на Святом острове и Мещеринов не посмел: петлею наиболее упорных старцев передушил. Иноки, оставленные в живых, истинный честной крест на могиле умученных поставили, и горели небесным огнем невидимые свечи округ того креста в ночь на Светлое Христово Воскресение. Засветится ли такая свеча на могиле Ногтева — неведомо.

* * *

Соловецкая обитель зачалась в буйные времена новогородских ушкуйников. Сбивали они свои струги на Ильмень-озере и шли на них, кто — на полночь, к Студеному морю-океану, кто — на восход, к дикой гряде Каменного пояса; то сами в ладьях плыли, то их на себе волокли; просекали неизведанные дебри и пустыни; брали под руку Господина Великого Новгорода весь, мерю, чухлому и других сумрачных, скуластых лесных людей, рубили городцы из нетесаных смолистых бревен и шли, шли, шли...

Но была тогда и иная ушкуя. Она рождалась не под набатным гулом вечевого колокола, но под сладостными напевными звонами Софии Премудрости Божией. Не на поиск новых земель, не за прибыльной рухлядью, рыбьим зубом и пушистыми мехами зверя полуночных дебрей слал ее этот звон, но за тем, что во сто крат дороже, за тем, чего не купить было на шумном торжище Новогородском, за познанием света Премудрости Божией, сокрытого в безмолвии пустыни. Шли, искали и находили...

Такими ушкуйниками были и соловецкие первосвятители Герман, Зосима и Савватий, приплывшие по Полуночному морю на безмолвный дотоле остров. Первым словом человеческим, сказанным на берегах его, было:

— Хвалите имя Господне ныне и присно и во веки веков. Аминь! — повествуют древние рукописные Жития, уцелевшие от сокровищ книжной палаты Соловецкого архимандрита.

Упал вечевой колокол, сорванный грозной рукой Московского царя. Он —

временный, земной, человеческий. Но пели свою горнюю песнь звонницы Святой Софии. Они — вечные, Божеские. Им отзывались из ясной озерной глубины незримые колокола Преображенного града Китежа, им вторили деревянные била первого храма Соловецкого, сложенного из валунов и нетесаного бурелома, во имя светлого Преображения. Алчущая и жаждущая преображения Духа своего Святая Русь пела хвалу Создавшему горы и дебри, моря и океаны, Сотворившему человека по образу и подобию Своему.

Светлого Преображения Духа искали на Соловках святые ушкуйники. Потому и главный собор был воздвигнут там во имя Преображения Господня.

* * *

В 1922 году Преображенский собор сгорел. Его сожгли первые большевистские хозяева острова, чтобы скрыть расхищение ценностей, украшавших его древний пятиярусный иконостас и оставленных в ризнице ушедшей на Валаам братией. В те годы зарево великого пожарища стояло над всей Русью. Новые хозяева жгли украшавшие ее сокровища Духа.

Сотворенное человеком — видимое — сгорало. Сотворенное Богом — невидимое — жило. Оно — вечно.

Четыре века со всей Руси притекали трудники к стенам Соловецкой обители. Земные, отягченные злобой, грехом, изъязвленные, смрадные, покрытые гноем и струпьями в душах своих, сбрасывали они тяготу своих грехов, бремя земной юдоли у гробниц Святителей Соловецких, омывались покаянными слезами, и многие, в жажде светлого преображения, трудились во имя Божие, кто год, кто три, кто пять. Иные оставались тут навек и погребены на острове.

Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа Державы Российской, Святой Руси — вплелось омоченное в ее крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле — тонкие нити жизней новых соловецких трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам собора Святого Преображения.

О них — эта запись безвременных лет.

Глава 2
ПЕРВАЯ КРОВЬ

Вот наконец они, страшные Соловки, рассказам об ужасах которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные, молитвенные Соловки, о которых повествовала тихоструйная молвь странников, молитвенников и во Христе убогих земли Русской. Святой остров Зосимы и Савватия, монастыря с созерцателями-монахами, нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси...

И теперь... тянутся сюда новые трудники и тоже со всех концов Руси, но уже не Святой, а поправшей, разметавшей по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувшей крест и звезде поклонившейся.

Тяжелый девятидневный путь, от Москвы до Кеми, в специальном арестантском вагоне — позади. Девять дней в клетке. Клетки — в три яруса по всей длине вагона; в каждой клетке — три человека, в коридор — решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать. Пища — селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона; потом узнали: мертвеца, чахоточного, взятого из тюремной больницы.

Подходим к острову. «Глеб Бокий» дал уже три сигнальных свистка.

На носу парохода сотни каторжан сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Мы еще не успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутой в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые лица. Вот мои сотоварищи по лежачему «купе» в «особом» вагоне, рядом с ними генерального штаба полковник Д., полурусский, полушвед, выпрямленный, подтянутый и здесь, а около него — ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него вверху торчит взлохмаченная голова, а с боков — голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пересыльном пункте проиграть с себя все.

Блатной закон не знает пощады: проиграл — плати. Не знает пощады и ГПУ;

остался голый — мерзни. Ноябрь на Соловках — зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь.

Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю: прельстившись «страною свободы», он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал... на Соловки. Поеживаясь, поет «Мадлен», но жизнерадостности не теряет.

Ко мне протискивается сидевший в той же, что и я, камере Бутырок корниловец-первопоходник Тельнов, забытый при отступлении больным в Новороссийске. Его лицо беспрерывно подергивается судорогой — старая контузия, память о бое под Кореновкой.

— Дошли до точки! Дальше что?

Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям вырисовывающегося в тумане острова.

Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не заснеженных елей. Золотые маковки малых церквей высятся над окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен... Над усеченным куполом колокольни — шест; на нем — обвисший красный флаг.

Красный флаг, свергнувший крест, стал на горнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости сложенных из непомерных валунов кремлевских стен; она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей, она зовет к тайне темнеющей за монастырем дебри.

Кажется, вот-вот выйдут из пены прибоя тридцать три сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу... Но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и островерхих шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас.

— Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги!

Казалось бы: куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое: на сходнях давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку, и он истошно орет. Толчея и на берегу. Наконец построены, хотя вместо шеренги причудливо извиваются какие-то зигзаги.

Приемка начинается. Перед рядами «пополнения» появляется начальник, вернее, владыка острова — товарищ Ногтев. Этому человеку предстояло в течение всего первого года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее, от изломов его то похмельной, то пьяной психастенической фантазии, зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. И он, как и его помощник Васьков, был для нас просто чекистом, одним из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы.

— Здорово, грачи! — приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтовской куртки из тюленьей кожи — высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза.

Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь:

— Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах — изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям.) То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас — свой закон, — далее дается пояснение этого закона в выражениях малопонятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного.

— Ну, а теперь, — заканчивает свою речь Ногтев, — которые тут есть порядочные — выходи! Три шага вперед, марш!

В рядах — полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте.

— Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там попы, шпионы, контра и такие-прочие... Выходи!

Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклейменные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове-каторге, мы становимся «порядочными». Но что сулит нам эта «порядочность»?

Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему.

Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить.

— Эй, опиум, — кричит он седобородому священнику московской дворцовой церкви, — подай бороду вперед, глаза — в небеса, Бога увидишь!

Приветствие окончено. Наступает деловая часть — приемка партии. Ногтев вразвалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова.

Перед нами нач. адм. части Соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно не бритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна, жирна, как боров. Красные, лоснящиеся щеки подпирают заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет перекличка духовенства. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева и сбиваются в кучу за пристанью.

Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие.

— Какой срок? — спрашивает он седого, как лунь, епископа, с большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах рясы.

— Десять лет.

— Смотри доживай, не помри досрочно! А то советская власть из рая за бороду вытянет!

Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров.

— Даллер!

Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ногтева. Вероятно, так же спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от спороных галунов, — в другую.

Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева.

Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно, заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку, один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку отряхнул о колено и, вороват оглянувшись, сунул в карман.

Перекличка продолжалась.

— Тельнов!

Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его сбивчивые, несколько путаные, но полные ярких подробностей рассказы о Ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозою смерти того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащее из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится.

Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши напряженные до судорог мускулы.

— Следующий!.. — выкрикивает мою фамилию Васьков.

Меня! Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя.

— Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его! — шепчу я беззвучно.

Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленьей куртки. Ее я не забуду всю жизнь.

Но я иду. Дуло все ближе и ближе... Вот поднимается... нет... показалось. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике.

Осталось десять шагов... восемь... шесть... пять...

Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней — жизнь и смерть. Каждая секунда — вечность. Четыре шага...

Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу.

Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза.

— ???

— Да!

Рядом со мною Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию, не мою, теперь не мою!

Было страшно? Страшнее урагана немецкой шрапнели? Страшнее резки проволоки под пулеметным дождем?

Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача, смерти безвестной, жалкой, собачьей... Ощущение бессилья, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым.

Но, кончено! Я жив! Радость жизни наполняет всего меня. Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать, животно, по-дикарски... Жив! Жив! Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сейчас я жив. Дуло карабина и держащая его рука — позади.

Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал скорее добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому».

Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам и уголовникам, случайно привлекшим чем-нибудь его внимание.

Москва не могла не знать об этих беззаконных даже с точки зрения ГПУ расстрелах (многие из заключенных продолжали оставаться под следствием и в ссылке), но молчаливо одобряла административный метод Ногтева: он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы.

Через 15 лет так же расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Ягода. Вслед за ним — Ежов.

Участь «мавров, делающих свое дело», в СССР предрешена.

Глава 3
СОЛОВКИ В 1923 ГОДУ

И в давно ушедшие времена бывали такие, что не своей волей проходили за тяжелые, окованные железом ворота Соловецкой обители. Привозили их туда с гербовыми листами, именными указами архимандриту. В них прописано было, как именовать и как содержать присланных: в железах ли, в затворе или с братией купно, с именами или безымянно. Случалось, что имена их самому архимандриту известны не бывали, а в листах значилось: «указанные персоны».

Когда братия уходила с острова, то древние книги и рукописи — много было их в «книжной палате» архимандрита — схоронили в потаенном месте. Может быть, закопали в землю, а может, и в стену замуровали. Оставшимся чернецам то место указано не было. Но хозяйственные книги чуть ли не за три века и часть монастырского архива остались. Половина их, а возможно и больше, погибла от огня, остальное было свалено в подвалы и в «рухольную клеть» монастыря, где уже лежали многие тысячи икон и иконок древнего дониконианского и нового письма. Новые пришедшие трудники нашли эти листы, книги, тетради и даже свитки, разбирали их ночами, после работы в лесу, и потом поместили в антирелигиозный музей. В этом архиве и значились некоторые узники ушедших веков Соловецкого монастыря.

В конце недолгого царствования второго Петра, по навету врагов своих — вошедших в силу Долгоруких — привезен был на Соловки первый граф Толстой, Петр Андреевич, заключен был в угловую кремлевскую башню и прожил в ней более десяти лет. При воцарении дщери Петровой о старике вспомнили. Долгорукие тогда уже сложили свои головы на плахе. Присланный на остров гвардии сержант объявил узнику царицыну милость: все отобранное в казну имение, чины и ордена вернуть, а самому быть где пожелает.

Но старец не захотел вернуться в суетный Санкт-Петербург. Преобразилась черная душа предавшего на муки и смерть горемычного царевича, принял он ангельский чин и в покаянии, слезах скончал свои дни.

В уцелевших от пожара и расхищения листах соловецких записей значатся и другие узники. Вины их не указаны, и можно лишь догадываться, что при Екатерине попадали сюда иные вольтерьянцы-богоотступники и кое-кто из братьев-каменщиков, но не в затвор навечно, а покаяния в грехах ради, по церковному суду. Через год-два их отпускали.

Последним соловецким узником был последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Кальнишевский. Пробыл он в заточении вплоть до восшествия на Российский престол императора Николая Павловича. Сто один год ему был, когда пришло помилование, и он, как Толстой, не захотел вернуться в суетный, ставший чуждым ему мир, но пострига не принял и, скончавшись, похоронен был не на братском кладбище, а одиноко, в стенах кремля.

Его могила не тронута и по сей день. На ней лежит тяжелая каменная плита с полустертой надписью.

* * *

Первые узники Соловецкой каторги — Соловецких лагерей особого назначения — СЛОН-ОГПУ прибыли на разоренный остров в 1922 году. Это были в подавляющем большинстве офицеры белых армий, вольно или невольно оставшиеся на территории бывшей Российской империи, ставшей тогда РСФСР.

Они пробыли здесь недолго. Через месяц ими забили до отказа две гнилые баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами.

Но тропа была проложена, и по ней потянулись новые и новые толпы. Прибывали и одиночки. Главным образом сюда шли «каэры» — заподозренные в контрреволюции (уличенных, конечно, расстреливали на месте), но была и шпана, и «легавые» провинившиеся чекисты. Соловецкая песня рассказывает об этом времени так:

...И со всех углов Советского
Союза
Едут, едут, едут без конца...
Все смешалось: фрак, армяк
и блуза.
Не видать ни у кого лица...

В 1923 году, кроме немногих оставшихся там монахов, на Соловецком, Анзерском, Заячьем и Конде — четырех островах каторжного архипелага — было лишь два-три человека, прибывших туда по своей воле.

Охрану берегов нес Соловецкий особый полк (СОП) — мобилизованные. Им командовал Петров, комиссаром при нем состоял Сухов. Оба заслуженные красные партизаны гражданской войны, оба сильно пили, вследствие чего и были упрятаны подальше от глаз.

Первым начальником СЛОН был Ногтев, попавший туда по той же причине и позже там же расстрелянный. Он был прост и малограмотен, во хмелю большой самодур: то «жаловал» без причины, отпуская с тяжелых работ, одаривал забранными в Архангельске канадскими консервами, даже спиртом поил, то вдруг схватывал карабин и палил из окна по проходившим заключенным... Стрелял он без промаха даже в пьяном виде.

Топивший в его комнатах печи уголовник Блоха рассказывал, что по ночам Ногтев сильно мучился. Засыпать он мог только будучи очень пьяным, но и заснувши, метался и кричал во сне:

— Давай сюда девять гвоздей! Под ногти, под ногти гони!

До Соловков он был помощником Саенко, знаменитого харьковского чекиста времен гражданской войны.

Его заместителем и после него вторым начальником СЛОН, тогда ставшим УСЛОН, был латыш Эйхманс, тоже проштрафившийся чекист, откомандированный на Соловки за хищения и растраты. Он был иного типа: интеллигентный (бывший студент Рижского политехникума), деловитый, энергичный, он делал карьеру на революции, дал промах на прежней службе, а потом на Соловках старательно и умно выслуживался. Вернуться на материк ему все же не удалось. По неизвестным причинам он был переведен лет через пять начальником лагеря на Новую Землю и там расстрелян. ГПУ строго хранит свои тайны. При Эйхмансе кровавый хаос Ногтева постепенно замыкался в твердую, четкую систему советской каторги.

Такими же «почетными» ссыльными были и остальные вельможи соловецкой сатрапии первых лет: нач. адм. части тупой, звероподобный Васьков и нач. 1-го отд. УСЛОН грубый, но добродушный Баринов. Даже нач. санитарной части М. В. Фельдман, жена члена верховной коллегии ОГПУ, была сослана туда собственным мужем для охлаждения ее африканских страстей. Она закончила свои дни в стиле всей своей жизни: была убита ревнивым поклонником в Пятигорске. Но на Соловках о ней сохранилась добрая память: мягкая, культурная, окончившая Женевский университет, она многим облегчила тяжелые годы и казалась светлым лучом в сумраке соловецкой безотрадности.

Такие же провинившиеся чекисты занимали все крупные должности в управлении, из них состояла внутренняя охрана и комплектовался комсостав 15 арестантских рот (16-я рота — кладбище на соловецком жаргоне).

Каторжное население Соловков в первые годы их существования колебалось от 15 до 25 тысяч. За зиму тысяч семь-восемь умирало от цинги, туберкулеза и истощения. Во время сыпнотифозной эпидемии 1926—27 гг. вымерло больше половины заключенных. Но с открытием навигации в конце мая ежегодно начинали приходить пополнения, и к ноябрю норма предыдущего года превышалась.

Роты были разнохарактерны и по составу, и по режиму, и по быту. Первые три составляли «трудовой пролетариат» и были на привилегированном положении: размещались по 5—6 человек в бывших монашеских кельях, светлых, теплых, чистых, имели пропуска за вороте кремля. В них концентрировались рабочие местных производств, оставшихся от образцового монастырского хозяйства: верфи, литейно-слесарной мастерской, канатного, гончарного, кирпичного заводов. Четвертая и пятая роты — хозяйственные, тоже со смягченным режимом. Шестая — духовенство. Она была сформирована позже, уже во время правления Эйхманса, и создалась в силу необходимости. До того времени на кухни и продовольственные склады назначались каторжане разных категорий, но все неизбежно проворовывались: голод — не тетка. Это надоело Эйхмансу, и практичный латыш решил сдать все дело внутреннего снабжения лагерей корпоративно духовенству, до того рассеянному по самым тяжелым уголовным ротам и не допускавшемуся к сравнительно легким работам. Духовенство приняло предложение, епископы стали к весам, за складские прилавки, диаконы пошли месить тесто, престарелые — в сторожа. Кражи прекратились.

В 10-й роте группировались наиболее привилегированные спецы и служащие управления. Они жили сравнительно свободно. Зато 11-я рота была тюрьмой в тюрьме: помещения на ночь запирались. Три последние роты — самые тяжелые. Они были размещены в наскоро приспособленных развалинах Преображенского собора, холодных, темных, грязных, с нарами в три яруса. Беспрерывный шум сбитых сюда двух-трех тысяч человек, полное господство уголовников, тяжелые работы в лесу, на торфяных болотах и в море — вязка плотов. Через эти роты в обязательном порядке проходили все новоприбывшие, и многие застревали в них. Смертность здесь превышала 50 проц.

Счастливцы после долгих мытарств попадали в отдаленные командировки: в Саватиевский скит — главную стоянку рыболовов, на Муксольму, где помещался скотный двор и было огородное хозяйство, и в разбросанные по островам малые скиты. Там, вдали от начальства, жилось вольнее.

Женщины помещались отдельно в «женбараке», вне кремля, а на маленьком Заячьем острове, в полуверсте от пристани, был штрафной женский изолятор. Традиция затейливо протянулась через оборванный век: именно с Заячьего острова молились соловецким святыням женщины-паломницы, не допускавшиеся на самый остров. В каторжные времена на «Зайчиках» был только один мужчина — семидесятилетний еврей-бухгалтер из ЧК Моргулис. Любовь была строжайше запрещена на Соловках, и преступления против этого запрета жестоко карались; Ромео шел на Секирку, Джульетта — на Зайчики.

Кормили беспрерывно и неизменно похлебкой из голов трески. Хлеба, очень плохого, — полкило. Жиров не было совсем.

Цинга и туберкулез развивались быстро и с необычайной силой. Заболевший редко задерживался в лазарете более месяца перед последней путевкой в «шестнадцатую роту». Там его ждала всегда разверстая братская могила.

Особенно страдали от этих болезней шпана, уголовники, здоровье большинства которых было уже расшатано водкой и кокаином.

В эти первые годы первой советской каторги ГПУ еще не уяснило себе экономических выгод широкого применения рабского труда. Система концлагерей зародилась здесь же, на Соловках, но несколько позже. Тогда же Соловки были просто каторгой с жесточайшим режимом, царством полного произвола, бойней, в которой добивались последние явные и многие возможные враги советизма, а также свалкой для нетерпимого в столицах уголовного элемента.

Непосильный для большинства двенадцатичасовой тяжелый труд был лишь методом массового убийства, но не служил еще целям эксплуатации и коммерческой выгоды.

Все вновь прибывшие проходили сначала общие работы: лесозаготовки, торф, вязку плотов. Норма выработки — срубить, очистить от сучьев и вытащить на дорогу 10 деревьев в день — выполнялась немногими, сильнейшими. Невыполнение урока иногда сходило с рук, но чаще влекло за собой задержку в лесу на морозе на несколько часов, а то и на всю ночь. Многие замерзали. Замерзали и в старой монастырской дощатой голубятне, куда за отказ от работы запирали в мороз в одном белье. Летом за то же преступление ставили «на комарики»: привязывали голыми на ночь в лесу, где комаров, «гнуса», носились тучи. За преступления против дисциплины и лагерных правил полагались «Секирка» или «Аввакумова щель», о них — особый рассказ. На работах, особенно ночных, пристреливали часто. Но били очень редко. Случаев избиения каэра я не помню. Шпане попадало.

С общих работ просачивались на производства. Там было легче. Наиболее ловкие интеллигенты быстро приспосабливались к соловецкой обстановке и пролезали в «чиновники» управления, прорабы, табельщики и т. д. Это давало возможность облегчить быт, получить лучшее помещение (пища была еще одинакова для всех), пропуск за ворота и другие блага.

Капля воды отражает в себе океан. Соловки отражали в себе все основные черты тогдашней жизни Советского Союза, население которого, болезненно отрываясь от старого уклада, еще только приспосабливалось к новым уродливым формам.

На Соловках было тесно, и поэтому борьба за жизнь была особенно заострена. Было холодно и голодно — трения, укусы, уколы, неразрывные в быту с этой борьбой, ощущались особенно болезненно.

Темпы развития новых советских бытовых форм на Соловках даже обгоняли союзные: тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное презрение к человеческой личности и ее правам, постоянная беспредельная лживость, вездесущий, всемогущий «блат» — узаконенное мошенничество всех видов, хамство, перманентный полуголод, грязь, болезни, непосильный, принудительный, часто бессмысленный труд — все это доводилось до предела возможного.

И вместе с тем среди этой наползавшей мути безвременных лет, на Соловках того периода еще вспыхивали зарницы высокого жертвенного подвига, отблеска осознанного до глубин души долга, светочи чистой Христовой любви, каких уже не было позже, в годы, описанные И. Солоневичем («Россия в концлагере»), и тем более в той беспросветной зловонной мути, в которой погрязал еще позже М. Розанов («Открыватели белых пятен»). Ближе всего к описываемому мною периоду очерк Г. Андреева «Соловецкие острова». Тем не менее все три упомянутых автора писали правду: менялись времена — менялись люди.

Последние нити старой Руси тогда еще вплетались в новую советскую жизнь. Соловецкие каторжане «первых призывов» были осколками Великого Рухнувшего. Они не прошли еще шлифовки нэпа, переплавки пятилеток, их сознание не было еще истерто в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновами звериного, скотского советского быта — «житухи», они не были еще теми «мизерами», размельченными личностями, в которых неуклонно и неотвратимо превращает русских людей победивший социализм и неразрывная с ним жалкая, мелочная и страшная именно своей мелочностью борьба за «местечко под солнцем», за сто граммов колбасы, за полметра дополнительной жилплощади...

На Соловках это столкновение — связь двух эпох — переживалось острее и резче, чем «на воле», ибо здесь концентрировались протестующие, которые там были рассеяны, но и здесь и там на смену человеку шел гомункулюс, механизм; брюхо напирало на сердце, но сердце еще билось...

На Соловках первых лет их существования это биение было слышнее, потому что сюда стекали последние капли крови из рассеченных революцией жил России.

Глава 4
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

На Соловках первой половины двадцатых годов, до стабилизации концлагерной системы, не было ни одного заключенного, осужденного по суду, иначе говоря, имевшего за собой в какой-либо мере доказанное, хотя бы с советской точки зрения, преступление. Все каторжане всех категорий, от уголовной шпаны до высших иерархов церкви, были сосланы туда по постановлениям верховной коллегии ОГПУ, особого совещания при ОГПУ и местных «троек» по борьбе с контрреволюцией, т. е. внесудебным порядком.

Уголовники: воры-рецидивисты, притонодержатели, проститутки-хипесницы и просто бродяги осуждались по ст. 49-й старого уголовного кодекса РСФСР, как «социально опасные», на основании их прежних приводов, недоказанных подозрений или просто задержанные при частых в то время облавах. Уличенные в краже шли под «суд народной совести» и получали короткие сроки исправдома, где находились в значительно лучших условиях.

Крупные воры и бандиты встречались на Соловках единицами. Поймать их было нелегко при тогдашней организационной слабости ГПУ и УРО (уголовного розыска), а пойманные охотно принимались на службу в те же учреждения в качестве агентов, следователей, палачей, инспекторов. Начальником банд отдела Московского ГПУ был некто Вуль, в прошлом атаман крупной бандитской шайки, широко известный в уголовном мире «мокрятник» (убийца); его помощник Шуба — тоже бывший бандит. Позже, по миновании надобности, всех их, в том числе и Вуля, расстреляли.

Аналогичный метод подбора ссыльных на Соловки был и на другом конце каторжного спектра — в среде «политических», к которым тогда причислялись только члены социалистических партий. Армянские дашнаки, бакинские муссаватисты, не говоря уже о членах несоциалистических партий — кадетах, октябристах и монархистах — в этот разряд не попадали. «Политические» на Соловках до 1926 г. жили отдельно, в Савватьевском скиту, в значительно лучших условиях, работ не несли и пользовались помощью и покровительством представительницы Международного Красного Креста в СССР М. Андреевой, бывшей жены М. Горького. Крупные партийцы — социалисты-революционеры, меньшевики и бундовцы — попадали в строго замкнутый Суздальский изолятор, на Соловки же шли рядовые, по большей части примкнувшие к одной из социалистических партий лишь во время революции.

Основную массу соловецких каторжан того периода составляли «каэры», осужденные по подозрению в контрреволюции, а рамки этого понятия были расширены до безграничности. Наиболее определенными группами «каэров» были офицерство (как белое, так и принявшее революцию) и духовенство. Но, кроме них, в этот

разряд попадали самые разнообразные лица: камергеры Двора, тамбовские мужики, заподозренные в помощи повстанцам, директора крупных фабрик в прошлом и кавказские мстители-кровники; фрейлины и проститутки, юнцы, осмелившиеся танцевать запрещенный фокстрот, лицеисты, собравшиеся в день своей традиционной годовщины, китайцы-разносчики, матросы-анархисты, отставные генералы, их денщики; профессора, финансисты, валютчики, вернувшиеся из эмиграции сменовеховцы, заблудившиеся в РСФСР иностранцы... кого только не было!

Термины «бывший» или «знакомый с NN» служили ГПУ вполне достаточным основанием для ссылки. Улика же в активной контрреволюции или хотя бы тень ее вели не на Соловки, а к расстрелу. Действенными, активными контрреволюционерами на Соловках можно считать лишь офицеров белых армий. Кстати сказать, эти офицеры были амнистированы декретом Ленина после победы над генералом Врангелем, но все же их ссылали и истребляли. Потенциальными, пассивными «каэрами» были все соловчане, включая значительную часть шпаны и даже некоторых репрессированных чекистов.

Уродливость советской «юриспруденции» доходила до невероятных гротесков. Эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон был сослан за... антисемитизм. В его репертуаре были одесские еврейские песенки, которые он исполнял с акцентом. Кому-то из власть имущих это не понравилось, и Жорж Леон поехал на Соловки, но здесь, в лагерном театре, с успехом пел те же песенки под аплодисменты не только лагерного начальства, но и верховного владыки, приезжавшего туда члена коллегии ОГПУ Глеба Бокия.

Брат большевицкого публициста и писателя Виктора Шкловского Владимир, самоуглубленный философ, абсолютно чуждый политике, был дружен с православным священником и принял от него на хранение подлежавшие «изъятию» крест и чашу. Это узналось, и еврей В. Шкловский был осужден как тихоновец, православный церковник.

Императорский, а позже красноармейский офицер В. Мыльников получил 10 лет по делу о «заговоре Преображенского полка», хотя единственным знакомым ему преображенцем был пор. Висковский, учившийся с ним вместе в 3-й московской гимназии и после окончания ее ни разу с ним не встречавшийся.

На Соловках того времени гораздо труднее было найти человека, знающего конкретно предъявленные ему обвинения, хотя бы иллюзорные, чем абсолютно не представляющего — за что же, собственно говоря, он сослан?

В этом стиле велось тогда и предварительное следствие, значительно отличавшееся по форме от последующих периодов: и следователь и подследственный были вполне уверены как в полной вздорности обвинения, так и в неизбежности репрессии. Поэтому следователь не стремился ни к выяснению деталей, ни к раскрытию сути дела. Было совершенно достаточно выяснить личность «бывшего» и узнать десяток фамилий его знакомых — и «дело» было состряпано, обвиняемый получал сообщение от прокуратуры о привлечении его по таким-то статьям, а потом — столь же краткий, содержавший лишь номера статей, приговор «заочного внесудебного решения» коллегии или особого совещания... и он был на Соловках, где, по словам песни:

..попы, шпана, каэры
доживают век.
Там статья для всех найдется,
был бы человек!..

Человек в те годы еще находился, и даже в достаточном количестве.

Начиная с 1927—1928 гг. тип «каэра»-интеллигента в советских концлагерях начал исчезать. Резервуар иссякал. На Медведке, на Беломорском канале (период, описанный И. Солоневичем) «каэра» уже сменял «вредитель», незадачливый или проворовавшийся хозяйственник, экономическая «контра», «хвостисты темпов развития» и т. д. Это действовала пятилетка. Коллективизация бросила в концлагери гигантскую волну раскулаченных крестьян. Позже специфика концлагерного типа окончательно утратилась. Различие между концлагерным и вольным принудиловцем стерлось (период, описанный М. Розановым).

Человек-личность уходил в прошлое. Его место занимала безликая рабсила, робот-каторжник, «гражданин» эпохи победившего социализма.

Продолжение следует

ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

ХИЩНАЯ ВЛАСТЬ МЕНЬШИНСТВА

(НАД СТРОКАМИ «ПАРИЖСКОЙ ХАРТИИ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ»)

Столь пространные документы международно-политического характера не привык прочитывать средний человек, рядовой, торопливый читатель газет, удовлетворяясь мощным, бравурным (как на этот раз) шумом вокруг них и извлекая из этого шума то немногое, что можно из него извлечь: несколько звонких формул вроде — «заря новой эры» («над Европой занимается заря новой эры»), «новая эпоха демократии, мира и единства в Европе», «великий шаг», «Общеевропейский дом», «права человека»... Впрочем, стоит заметить, что наиболее роковые документы вообще обычно написаны так, чтобы не быть прочитанными: их стилистика призвана лишь скользить по слуху людей, не настораживая внимания, не взрезая строгой ясностью формулировок мирной зыби затопленного словами современного мира; привычные словесные клише убаюкивают сознание, тем паче если штампованные реченья нанизаны на идею «согласия», «сотрудничества», «наших общих интересов»...

Вот и «Парижская хартия для новой Европы» (принятая 21 ноября прошлого года от имени 34-х стран) кажется даже скучноватой: документ многословного и совершенно безоблачного согласия, она усыпляет вереницами «неопасных», гуманных понятий. И лишь изредка авторы ее «дают петуха», слишком форсируя звук — или смысл реальной действительности. Например: «Эра конфронтации и раскола Европы закончилась». Что, подписавшие веруют в директивность «окончательного завершения» исторических эпох? — может спросить читатель столь «марксистски» самоуверенных постулатов...

А в заявлениях государственных деятелей нашей страны по поводу «Парижской хартии» и открытой с нею «новой эры» можно встретить и еще более благостные увереньях: «В Европе нет больше военных противников»; «Внезапное нападение или крупномасштабные военные операции в Европе практически исключаются»; «Угроза большой войны в Европе практически снята». И вовсе уж простодушные, в стиле царя Дадона, сонно поглядывавшего на Золотого Петушка, соображенья: «Ведь никто ни на кого не собирается сейчас нападать...» («Царствуй, лежа на боку!» — разрешал в таких случаях Золотой Петушок).

И заметим, что под миролюбивой, решительно «антивоенной» Европой понимается при этом некая беспредельность, опоясывающая земной шар и «смыкающаяся в кольцо от Камчатки до Камчатки, или, если угодно, — от Аляски до Аляски». Ибо эта миролюбивая, бесконфликтная Европа учредила новую географию — путем голосования полномочных представителей 34-х стран.

Итак, СОГЛАСИЕ. Единая, не ведающая внутренних конфронтаций Европа, где все слилось в братском, дружно-семейном объятии: вся политика — в унисон, экономика — в унисон, мораль — в унисон, философия, идеология, культура — тоже в унисон. И общая безопасность... И общая энергетика — посредством «создания оптимальных условий для экономически целесообразного и рационального освоения энергетических ресурсов» в интересах разом всей Европы. И общий (единый — точней) Европейский банк... То есть, как можно, пожалуй, понять монотонную вязь не заостренных конкретными примерами тезисов, речь идет о небывалой еще по масштабам, «всеевропейской» коллективизации: и материальных богатств, и людских резервов, и самого человеческого духа, обобществляемого и «уточняемого» при этом по единому европейскому стандарту. Это обобществление, по мысли авторов Хартии, «справедливо» противостоит «националистическому эгоизму» и «провинциализму обособления», при которых каждое государство и его народ, ретроградным образом, считали себя хозяевами собственных богатств. А какие выгоды сулит им отказ от старомодного

Эта статья написана в феврале с. г. Таким образом, ряд проблем, затронутых в ней (например, о референдуме), был разработан автором в преддверии дальнейших событий. О справедливости авторских предвидений пусть судит читатель. (Ред).

права национальной, естественной, исторической собственности, — отметим, забегая вперед, — в Хартии не конкретизируется. И лишь в сопутствовавших ей речах высокопоставленных участников парижской встречи можно отыскать намек на столь существенный при всякой коллективизации принцип *распределения* «общих» благ. «...В обозримом будущем, — объяснял, например, Президент нашей страны, выступая в Париже, — в распоряжении каждого народа, каждой страны — при соответствующем их собственном вкладе (!) — будет потенциал небывало мощного сообщества...» То есть все-таки по одежке придется протягивать ножки «равноправным» субъектам «всеевропейской» коллективизации. По одежке, сорванной, однако же, с их плеча. И напяленной на распорку «мощного сообщества», «опоясывающего всю верхнюю часть земного шара»...

Впрочем, сло́ва «коллективизация», или «обобществление», или более резкого слова «экспроприация», в Хартии, конечно, не встретишь. Вот разве что «открытое небо» («Мы вновь подтверждаем важность инициативы по «открытому небу» и призываем к скорейшему и успешному завершению етих переговоров») дает весьма прямой образ обобществленных небесных пространств или же «ничьего» неба, — так что сказать, как бывало в стихах, «русское небо» или (помнить, у Маяковского?) «багдадские небеса» станет явным анахронизмом, смешным и нелепым.... Но небо — и впрямь «ничье»,— рассудишь, пожалуй: и тучи, плывущие по нему, не знают государственных границ, и ветры, гуляющие в небесах, не привяжешь к колышку своего двора... Так! Но земля-то под «ничьим» этим и логично «открытым» (стало быть) небом — чья-то! И как отгородишь ее, столь легко угрожаемую как раз с неба, от прозрачного, невесомого, вечно-текучего свода?.. И поймешь ненароком, что стиранье воздушных границ между странами есть в современном мире стиранье границ *земных*. Есть открытость и беззащитность самих земных пространств.

«Готовы мы продолжить, не откладывая, и предметный (!) разговор об «открытом небе», — заверял в Париже от имени *нас*, всех нас, высокий представитель нашей, «небесно-гостеприимной», страны.

Но какие гарантии безопасности дает «Парижская хартия», мечтая коллективизировать твердь? *Доверие*. Абсолютно возросшее якобы, неукоснительное доверие между странами «новой Европы». Так что нет нужды заключать договоры о ненападении... Доверие, то есть вера друг другу на слово и даже совсем без обязующих слов! И это прекраснодушие, эйфорический расчет на некое идеальное политическое рыцарство наводит на мысль, будто войны, возникавшие в «старой» Европе, имели причиною *недоверие*, подозрительность, мнительность. Из недоверчивости своей воевали, выходит, вздорные страны, не имея иных, непреложно-зримых, вещественных причин! А теперь вот — настало *доверие*, сулящее вечный мир, Божию благодать в образумившейся Европе... Правда, остается неясным, отчего ж в этом царстве доверия «от Камчатки до Камчатки» или «от Аляски до Аляски» происходят весьма ожесточенные переговоры о дорогостоящем разоружении отдельных стран, страстные споры об «уровнях вооружения», сохраняемых на разных концах необъятной «новой Европы», то есть, иначе говоря, о распределении (перераспределении) военного потенциала внутри братского «мощного сообщества», — и сама-то парижская встреча для подписания Хартии приурочена оказалась к заключению «Договора о сокращении обычных вооружений в Европе» — очередному, тщательному ослаблению одной (европейскя-восточной) из «взаимодоверяющих» сторон...

Но вернемся к вовсе неодиозной лексике Хартии «коллективизаторов». Тут и впрямь только «цивилизованные» слова, не похожие на грубый язык наших 20—30-х годов. Вот, например, «интеграция» («более глубокая интеграция в международную экономическую и финансовую систему, предполагающую признание дисциплины и выгод». *Чьих* выгод — не сказано. Хотя признать их, наравне с дисциплиной, должны интегрируемые «демократические страны», что находятся на «переходе к рыночной экономике»). Или слово «сотрудничество» («Мы преисполнены решимости придать необходимый импульс сотрудничеству между нашими государствами в области энергетики» — ради помянутого уже «целесообразного и рационального освоения энергетических ресурсов»). Или — «совместные шаги» (например, в рамках «нового понимания безопасности в Европе»)...

Обращает на себя внимание, что решительному «сотрудничеству» и «глубокой интеграции» из всех областей хозяйственной деятельности «новоевропейских» стран подлежит, как означено в Хартии, именно «область енергетики». Да еще транспорта — по-видимому, связанного с нею... И хотя сугубо «цивилизованные», осторожные, современно-научные читаешь слова, ощущаешь нечаянно властно-хозяйскую руку некой длинной-длинной зарубежной *Антанты*, тянущуюся к Поволжью, Уралу, широкому Зауралью, в «общий» энергетический карман. Потому что трудно вообразить, чтобы угольные запасы, скажем, Рура стали объектом «рационального освоения» со стороны 34-х стран «новой Европы»; чтобы нефтепродукты или электроэнергия западноевропейских атомных станций «потекли» на Восток, дав передышку нашей Тюмени, предотвратив иль хотя бы отсрочив возможность очередного Чернобыля на русских равнинах... И еще фантастичней — представить, чтобы «экономически целесообразным» для «Все-Европы» признано было дружное, коллективное освоение тех природных богатств США (присоединивших к Хартии подпись своего президента), разработка которых предусмотрительно заморожена в этой стране в расчете на заграничные энергетические ресурсы...

Можно гадать — путем исключения бережливых, предусмотрительных стран и тех, что попросту не располагают соответствующими природными ресурсами, — *как, за счет кого* из «новоевропейских» собратьев будут удовлетворяться энергетические «нужды и чаяния наших народов»; можно с точностью, большою правдоподобностью угадать, кто назначен быть добровольною жертвой «всестороннего развития нашего сотрудничества» — будь то в «области энергетики» или в «области разоружений»; кто в ходе «глубокой интеграции» утратит остатки своего экономического суверенитета; чей доверчивый взор в «открытое небо» не заметит, как земля, — родная земля, — уйдет из-под ног. Но все-таки это будут именно гадания, ибо в самой Хартии нет указателей, нет адресов и карт *колониальных* зон, которым предназначено уважение «дисциплины» и послушное «признание выгод». Все это, должно быть, содержится в «дополнительном документе, который принимается вместе с Парижской хартией», как заявлено в ней, но который не публикуется вслед за нею. Между тем в «информации» советского Президента Верховному Совету «об общеевропейской встрече» говорится о «выдвинутом в Париже и очень актуальном для нас (?) *проекте*, связанном с проблемами европейской энергетики»[1]. Правда, это слишком уж краткое извещение никак не назовешь дельною информацией. Оно подтверждает только, что и впрямь существует уже *конкретный* проект «экономически целесообразного и рационального освоения энергетических ресурсов» в масштабах «новой Европы». Но каков именно этот проект и почему он оказывается «очень актуальным для *нас*», если проблема энергетических ресурсов до сих пор была скорее проблемой Европы, а не куда более богатого этими ресурсами СССР, — покрыто традиционным, увы, мраком неизвестности... «Видимо, будет разрабатываться европейская хартия по энергетике», — добавил глава нашего государства. И можно предположить, что эта грядущая, по существу уже проработанная (есть ведь *проект* практического освоения «общих» энергетических ресурсов!) и, возможно, весьма зловещая именно «для нас» хартия будет составлена в словесно-туманном, хоть и оптимистическом стиле нынешней «Парижской хартии», как и в стиле многословных, однако — загадочных «информаций» об общеевропейской ноябрьской встрече. Но сама загадочность официальных извещений по важнейшим вопросам — регулярное умолчание о конкретных способах «общеевропейского» разрешения «глобальных проблем — экологии, энергетики, питания и водообеспечения» огромной, сомкнувшейся воедино «новой Европы» — вселяет неправдные опасения: не будет ли предстоящая «европейская хартия по энергетике» (а затем, пожалуй, — и по питанию, и по водоснабжению — питьевою водой?) беспримерною хартией неоколониализма, непосредственно затрагивающего нашу страну?

Что ж до уже существующей «Парижской хартии», очевидно — фундаментальной для последующих, разнообразно-профилированных хартий, то она, «подлежащая возможно более широкому ознакомлению» с нею в государствах-участниках, похожа на некую *криптограмму*, которая без «ключа» к ней («дополнительного документа» или документов) в большинстве своих строк, глав, пунктирных «ориентиров на будущее» едва ли не попросту бессодержательна, дурманя пустыми словами о «нашей общей цели».

Криптограмма, — как сообщает словарь иностранных слов, — ето «тайнопись; надпись (или документ), сделанная знаками, смысл которых известен только посвященным». Тут можно добавить, что в качестве таких *знаков* выступают порою и безобиднейшие как будто слова, которые несут, однако, особый смысл, лишь весьма приблизительно схожий с привычным или каноническим.

Метод тайнописи в «эпоху гласности» широко входит в обыкновение. Тайнопись гласного документа становится нормой современной дипломатии. Ибо дипломатия, то есть согласительная работа по решению внешних задач государства сообразно его, порой сокровенным, интересам, — в духе «нового мышления», что ли, — явно меняет смысл своей деятельности и практическую нацеленность. «Дипломатическая тайна» (как и «государственная тайна») все чаще оказывается тайной не для иностранного государства, но для своего собственного[2]. Дипломатический сговор нацелен не против внешнего противника (якобы отмершего в «цивилизованном мире»), но против внутреннего, каким, с точки зрения международной дипломатии, похоже, является народ того государства или тех государств, которые — в лице своих лидеров — вступают в дипломатические соглашения. Все это называется принципом «открытости общества». Общества, народа, от которого *скрыты* формы, дальние цели, практические плоды его растущей *помимо него*, безоглядной «открытости»... Ибо принцип «открытости» государств и народов относительно друг

[1] Здесь и далее разрядка в цитатах моя. — Т. Г.

[2] Быть может, высшим выражением такой тайны явилась сокрытость от народа нашей страны *мирных* предложений советского Президента по разрешению вооруженного конфликта в районе Персидского залива — первой «благодетельной» акции «новой», «миролюбивой» Европы... Если президент Д. Буш имел основания благодарить Советское правительство за предоставленную информацию, то наш народ не получил никакой возможности судить о содержании «советских мирных инициатив» в критический момент войны, а следовательно, и оценить справедливость, гуманность, политическое достоинство миротворческих этих предложений, как и истинную их роль в дальнейшем стремительном развитии событий с внезапным, полным — по всему фронту — отступленьем без боя мощной, хорошо вооруженной и патриотической иракской армии... Впрочем, вся внешняя политика СССР в связи с империалистической бойней «мирового сообщества» в районе Персидского залива проходила за наглухо задернутым от нашего народа занавесом.

друга подразумевает открытость лишь на самом высоком уровне — истинно «посвященных». Лишь на уровне глав государств, глав правительств, составляющих (вне своих народов, отдельно от них и над ними) и впрямь вроде «единую семью». Единую семью президентов, премьер-министров, министров иностранных дел, даже министров вооруженных сил, и эти «семейные» узы родственной близости и доверия кажутся куда теснее, интимнее тех, что были в старой, монархической Европе при всей системе династических браков, существовавшей тогда.

«В духе установившихся между ними открытости, прямоты и глубокого (!) доверия друг к другу президенты обсудили роль своих стран в европейском процессе...» — трогательно сообщали наши газеты о парижских встречах президентов СССР и США, словно вели речь о «голубиной» любовной паре, об образцово-показательной задушевной дружбе двух частных лиц. Впрочем, точно в таких же выражениях, подчеркивая именно полную свою «открытость» и «глубокое доверие», рассказывают обычно о международных политических встречах с заокеанскими коллегами и сами, высокого ранга, официальные представители нашей страны. Так что отнюдь не вызвало удивленья опубликованное в «Советской России» (22 января с. г.) признание президента Всемирного еврейского конгресса о его встрече в Москве с недавним министром иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе: «Я не хочу впадать в мелодраматизм, но должен вам сказать, что у этого человека были слезы на глазах, когда мы расставались», — столь «замечательные отношения» сложились у президента ВЕК не с израильским (как логично бы здесь ожидать), а с нашим министром!

И впрямь уникальна лиричность, родственная открытость ведущих политических деятелей нашей страны относительно лидеров тех государств и движений, с которыми наша родина вовсе не связана традиционной дружбой, традиционной идейной близостью или симпатией: тут демонстрируется не только «новое (государственное?) мышление», но и новые чувствования, новая, оторванная от традиционной нравственности, от народных корней мораль. Это, собственно, антимораль, как и антимышление, если брать точкой отсчета сознание, выработанное веками исторической жизни страны и народа.

В свете этой антиморали и напрямую связанного с нею антигосударственного (или «нового») мышления интересно припомнить, что августейшие братья-монархи (в старой, исторической Европе) при всем своем кровном даже родстве «парадоксально» не отличались той «прогрессивной» государственною открытостью друг перед другом, какая присуща ныне демократическим президентам. «Холодок» государственной суверенности, строгое ли аристократическое чувство неизбежной при независимости некоей взаимной дистанции, или попросту безусловный патриотизм — отмечали их отношения, обеспечивая не столько безоговорочное доверие между ними, сколько доверие к ним их народов. Исключенье по части безбрежной открытости составил в России Петр III с его родственной и духовно-сыновней преданностью Фридриху II. Он воистину «не различал» интересов России и интересов Пруссии, смяв в пользу последней возможные политические, экономические итоги русской победы в Семилетней войне, в ходе которой произошло (в 1760 году) первое взятие Берлина русскою армией. Он желал и русскую армию предоставить, как пушечное мясо, иноземному королю... «Недоверчивая», духовно «отсталая» от Европы, «изоляционистская» (как теперь бы сказали) Россия лишь полгода потерпела такого «открытого» Пруссии правителя. И не эта ли «дикость», «отсталость» от «просвещенной» Европы позволила ей и в XX веке — снова — взять Берлин, предпочтя падение гитлеровского рейха самозакланию в пользу «высшей», «цивилизованной» нации?..

Эти страницы российской (и европейской) истории неловко как будто бы вспоминать над строками «Парижской хартии», подписи под которой начинаются именем федерального канцлера Гельмута Коля — первого, стало быть, средь «интеграторов», средь вдохновителей «соединенной Европы» при объединенной Германии?

Но монархические воспоминания, кстати, подсказаны прессой, которая с дружным торжеством сравнила и противопоставила нынешний «всеевропейский союз» участников парижской встречи — Священному Союзу монархов в 1815 году, утверждая, что нынче, в отличие от былого, «реакционного» европейского соглашения, демократически и прогрессивно соединяются сами народы. Но мечты о подобном союзе тоже восходят к прошлому веку. И, задумываясь об этой, возможной впереди «демократической» перспективе, старый русский мыслитель, футуролог и политолог (по-нынешнему) Константин Леонтьев 110 лет тому назад предсказывал: «Священный союз народов... в пику Священному Союзу Государей... эта Sainte Alliance[3] — была бы не чем иным, как самым простым торгашеским трактатом, от которого выиграли бы только богатые купцы всех стран, и без того благоденствующие». И еще — по поводу слияния европейских государств в единую «федеративную республику» и цене, в какую обойтись может создание «Общеевропейского дома»: «На розовой воде и сахаре не приготовляются такие коренные перевороты: они предлагаются человечеству всегда путем железа, огня, крови и рыданий!..» — как бы ни были сладкогласны вдохновители этого великого насилия над жизнью.

Но вернемся к проблеме текста нынешней Хартии для единой Европы — видимых знаков его, глубинный смысл которых точно известен, пожалуй, лишь посвященным.

Такими знаками, как говорилось, могут выступать самые настораживающие слова — вроде того же «сотрудничества», наверняка ль исключающего одностороннее подчинение?.. Вроде высокоученой «интеграции», в определенных обстоятельствах вряд ли отличимой от полного поглощения чьих-то энергетических или других ресурсов... Тихие звоночки-сигналы непрямых смыслов дребезжат, пожалуй, и в цепи притяжательных местоимений, то и дело «обобществляющих» в «нашу» пользу всякую конкретную принадлежность — иной раз методом вроде бы мелкой грамматической несогласованности или небрежности. Так, приветствуя «переход к рыночной экономике стран, предпринимающих усилия в этом направлении» (в таком анонимном виде предстают страны Восточной Европы с их мучительными для множества народов «усилиями» по экономической ломке), Хартия мотивирует: «Он (этот мучительный процесс в восточноевропейских странах. — Т. Г.) позволит нам подняться на более высокий уровень благосостояния», — хотя, казалось бы, тут «просится» другое местоимение — им, — связанное с самими этими странами. И во всяком случае, читая безупречное коллективистское «мы», «наше», «наши», порой замечаешь, что стилистика Хартии последовательно избегает четкости значений и смыслов, а тем самым — гарантий, что «наши интересы» или «наше благосостояние» предполагает как отправную точку интересы, благосостояние каждой из «новоевропейских» стран. Эта «огульная» стилистика далека от педантичности «старомодных» документов, в которых тщательно, бывало, подчеркивались интересы «той и другой стороны», «всех стран и каждой страны», вступающей в международное соглашение...

Настораживают и пропуски иных субъектов всеевропейского объединения, когда речь в Хартии идет о нациях, народах Европы. Так, не раз поминается в документе необходимость «поощрения самобытности национальных меньшинств», обязательство всемерных забот об этой — выборочной — самобытности. Выборочной — ибо нигде не формулируется проблема национальной самобытности как таковой. Самобытности вообще всех наций, вливающихся в «соединенную Европу», — и малых, и больших, и численно преобладающих в том или ином государстве, и являющихся национальными меньшинствами в стране... Между тем это воистину всеобщая проблема: современный «цивилизованный мир» в целом и его «большие нации», в частности, вовсе не благополучны в этом отношении, чтобы ограничиваться «улучшением защиты» самобытности только и именно «национальных меньшинств».

Такое настойчивое вычленение лишь одного аспекта острых национальных проблем в странах Европы (где налицо конфронтации в том числе и между примерно равновеликими нациями федеративных государств; где разрушительными процессами с очевидностью затронуты и большие, даже великие, нации) разве что внешне может выглядеть гуманным. Выдвижение подобного «приоритета» части перед целым, малых перед большими, как свидетельствует опыт национальной политики, ничем не лучше обратного принципа — игнорирования или подавления малых многочисленными и сильными... Тут уместно вспомнить хотя бы ленинско-сталинскую национальную политику (и соответствующие материалы съездов РКП(б) и ВКП(б) 20-х и 30-х годов), суть которой состояла в — так сказать — «справедливой несправедливости»: в правовой, экономической, социальной дискриминации именно больших наций — русской, украинской — в пользу меньших народов, отсталых экономически и культурно. Печальные результаты этой «перераспределительной» дискриминационной политики неизбывны и сегодня — и не только для большого или великого народа, но и для общего процесса органичного «развития национальной самобытности» в масштабах всей страны; можно сказать — и для духовной жизни Европы.

Что же стоит за такою (ленинско-сталинскою, по существу) «забывчивостью» авторов «Парижской хартии» насчет равных прав всех наций на самобытное развитие и охранение их национальной самобытности? Вместе с тем точно ли все национальные меньшинства имеются в виду, когда говорится, что их жизненно важные вопросы должны «решаться удовлетворительным образом», и когда отмечается «богатый вклад национальных меньшинств в жизнь наших обществ»? Так ли уж поддается их вклад единой оценке, если учесть разное демографическое место, число и культурную роль национальных меньшинств в разных странах Европы, в разной степени многонациональных?.. Слишком много неясностей! Но принцип выборочной заботы о самобытности наций столь безусловно сужает «демократические политические рамки», заявленные в Хартии, что невольно предполагаешь некую — неназванную — национальную предвзятость, некий «благородный» нарочитый крен в планируемой национальной политика для стран Европы. А иными словами — нет ли и здесь «мерцания» криптограммы? Национальной криптограммы?..

Но, быть может, все дело — в невыясненности содержания «демократических рамок»? В невыясненности — для советского читателя — существа демократии?.. «Наши отношения будут покоиться на нашей общей приверженности демократическим ценностям...» — заявляют подписавшие «Парижскую хартию», и благодушный читатель скорее всего думает, что подразумеваются интересы всех и каждого из насельников «новой Европы». Что демократия (в буквальном переводе с греческого — «власть народа») — это некое идеальное устройство, равно выгодное всем и по крайней мере подавляющему большинству — тем самым трудящимся массам, которые равнозначны понятию «народ»... Пожалуй, именно такое — романтическое, «литературно-художественное» — толкование, оторванное от живой современной

[3] Священный Союз (франц.).

практики, оказалось причиною чрезвычайной нынешней популярности в нашей стране идей демократии, пылкой сплоченности не подозревающих подвоха людей вокруг «демократических платформ». Между тем налицо великое заблуждение, разъяснить которое не спешат ни политики-демократы в нашей стране, ни демократически ориентированные журналисты или писатели, выдвигающие лозунги «демократической России», демократических суверенных республик на территории СССР. Разумеется, не опускается до этих азов политграмоты и «Парижская хартия». И потому приходится высоко оценить признания некоторых зарубежных политических деятелей, невзначай попадающие в нашу печать, — внезапные искренние признания, пусть прямота их обусловлена нерядовой степенью цинизма. «Я не устаю повторять: суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства», — не таясь, говорит, например, недавно побывавший в СССР ради встреч на самых высоких уровнях президент Всемирного еврейского конгресса Эдгар Бронфман[4]. И это его разъяснение истинной сути демократии совершенно справедливо, ибо речь в современном мире идет не об абстрактной какой-то демократии, не о «красивом», образном выражении, смысл которого эпически замкнут на широкое, величавое понятие «народ», но, конечно, о демократии буржуазной, об исторически сложившейся к сегодняшнему дню конкретной политической системе.

С точки зрения этого реалистического толкования и следует прочесть кратко изложенные в Хартии принципы национальной политики «для новой Европы». Национальной политики, подразумевающей не всенациональные (всех «новоевропейских» наций) интересы, но интересы только «национальных меньшинств». Но даже при таком ограничении, даже в его пределах, по логике демократии, по самому ее существу, допустимо и, собственно, неизбежно все то же, дальнейшее предпочтение: определенного, вылущенного меньшинства — остальным, то есть подавляющему большинству «национальных меньшинств». Ибо логика демократии, говоря строго, не предполагает предела дифференции или селекции, так что понятие приоритетного меньшинства (хоть бы национального), меньшинства или меньшинств, может на практике достаточно свободно сужаться.

Неполнота в перечислении сторон, подлежащих заботе «демократических институтов» соединенной Европы, а то и просто невнятность насчет реальных субъектов права не раз сочетается в Хартии с произвольным выпячиванием какой-то одной из составляющих многосоставного, многогранного явления. Выпячиванием, которому не сопутствует мотивировка такого, преимущественного права на внимание... «Мы выражаем свою решимость бороться против всех форм расовой и этнической ненависти, антисемитизма, ксенофобии...» — читаем в той же главе «Парижской хартии» («Ориентиры на будущее»), где речь идет об «улучшении положения» и сохранении самобытности «национальных меньшинств». Но отчего ж бы средь видов «расовой и этнической ненависти» назван, выделен только и именно антисемитизм? Он «во всех (?) его формах» выглядит как бы особым явлением — не обнимаемым общим понятием «расовой и этнической ненависти», в которой, заметим кстати, захлебывается «новая Европа»... Что̀ тут — философское дилетанство или все-таки некое национальное пристрастье, заявившее о себе поверх объективных мотивов, какими могла бы служить сугубая дискриминация, беспримерное, сравнительно с другими народами, преследование евреев в современной Европе? И не проступает ли здесь та логика демократии, то ее существо, согласно которому «защита меньшинств от большинства» имеет тенденцию к абсолютной выборочности, когда приоритетное малое, заслуживающее забот, «поощрения самобытности» и «улучшения положения», может быть сколь угодно малым и единичным?

Но с другой стороны, борясь со всеми формами ксенофобии (как значится в Хартии) — в том числе, стало быть, с неприятием тем или иным народом для себя чужого быта, чужой религии (и т. п.), — можно ли говорить всерьез об обеспечении «национальной самобытности» ну хоть тех же «национальных меньшинств»?

И пора прямо подытожить: выражение «национальная самобытность», расцвечивающее «Парижскую хартию», есть речевая фигура, условная формула, лишенная традиционного содержания. Исходя из основополагающего принципа современно-европейской, буржуазной, демократии, здесь следует разуметь не самобытность, а власть «национальных меньшинств», в пределе — одного какого-то национального меньшинства. В противном же случае, при буквальном прочтении слов, в этом пункте пришлось бы отметить странный, наивный «момент утопии», вторгшийся в практичную «Парижскую хартию». Ведь сама по себе унитарная идея «соединенной Европы», слитой в неделимый «Общеевропейский дом», Европы как единого, а по сути — однородного геополитического, культурного, духовного пространства, не ведающего внутренних границ, охранительных перегородок между народами и государствами, заведомо исключает то разнообразие европейского человечества, что выражается национальными особенностями народов, яркими чертами самобытности наций.

Идея «соединенной Европы» это не идея союза, который всегда предполагает неразмытость своих составных частей, но идея слияния при фактической нераспознаваемости элементов. Замысел «соединенной Европы» или сквозного «Общеевропейского дома», как реализуется он сегодня, — калька известного коммунистического идеала «земшарной Республики», представляющая крупный фрагмент его. Это, само собою, идеал не народов, а управителей народами. Класса или касты всемирных управителей, которым удобнее, легче иметь дело с моноструктурой, однородностью материала, куда менее чреватого сюрпризами, чем то было бы в тесном соседстве, непредугадываемом взаимодействии самобытностей. Смысл и задача нынешнего разрушительного всеевропейского сооружения при исходной его отчужденности от коммунистической доктрины полностью совпадает с политической сверхзадачею социализма, как сформулирована она была некогда Лениным (и повторялась всеми, вплоть до Андропова, советскими лидерами): «Целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их». Но если коммунистическим средством достижения «земшарно»-унитаристской цели была идеология классовой борьбы, то «цивилизованный» или «демократический» современный путь к тому же оснащен идеологией приоритета над классами, нациями и государствами неких загадочных, никем внятно не определенных, не названных «общечеловеческих ценностей», вполне сводимых на деле к древнему «золотому тельцу». Стоит добавить, напомнить лишь, что идея слияния, то есть утраты индивидуальных признаков, из какого бы — «левого», «правого» — принципа ни исходила она, есть идея смерти, идея убиения жизни. В лоне ли коммунистического «равенства, братства», в чреве ли буржуазно-«общечеловеческого», тучного «золотого тельца»...

О какой национальной самобытности каких-либо — круто «интегрируемых» — «новоевропейцев» можно мечтать, если создатели Хартии, архитекторы «единой Европы» не допускают никакой национальной государственности? И это — даже первоусловие, которое ставят они «нешим («новоевропейским». — Т. Г.) народам». «Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять демократию как единственную систему правления в наших странах», — значится в первых строках Хартии.

Что это именно буржуазная демократия, проясняется немедленно — через настойчивую проповедь «свободного предпринимательства», которой прошит торжественный парижский документ. Похоже, именно в этом — капиталистическом — предпринимательстве («индивидуальном предпринимательстве», «свободном предпринимательстве») видят составители Хартии главное воплощение «нужд и чаяний наших народов» — проживающих на «едином (!) пространстве» от Кордильер — на Восток — до Урала и Сахалина...

«Единственная система правления», предписываемая народам на все настоящее и все будущее, взята, конечно, из арсенала тоталитаризма. Глобальнейшего средь всех известных в истории тоталитаризма, который приходится определить как демократический тоталитаризм или тоталитаризм современной демократии... И поскольку единственная, общеобязательная эта система правления объявлена «тем фундаментом, на котором мы будем стремиться строить новую Европу», защита священного этого, краеугольного камня вменяется в долг всем и каждому из участников названного строительства. И при всех «заверениях в том, что мы будем воздерживаться от применения силы» («воздерживаться» — не значит: вообще отказаться!), вряд ли будет ошибкою заключить, что в связи с этой защитой основы основ «общеевропейского» сооружения предполагается право и долг хоть бы и на военную интервенцию — в случае, если где-либо на «едином пространстве» поколеблена будет «единственная система правления». «Наши государства, — обещает «Парижская хартия», — будут сотрудничать и оказывать друг другу поддержку с целью сделать демократические завоевания необратимыми».

Не проясненные в тексте Хартии формы «сотрудничества» и «поддержки» ради политической «необратимости» — допускают самые широкие толкования.

Но отметим саму эту «необратимость», это излюбленное словцо диктаторов, которые мнят, что стоят над историей и способны указывать ей направление движения или же обеспечивать ее остановку. Собственно, нынешняя — демократическая — «необратимость», столь схожая с бывалыми заклятиями насчет «необратимости завоеваний социализма», таит в себе надежду на конец истории, содержит мысль о венце, последнем («высшем») этапе политического, государственного развития множества народов, — и таким венцом, апогеем объявляется современная (западная) демократическая система правления. Это все та же идеология смерти, в какую равно упираются и мечта о «бесповоротном», окончательном «коммунистическом рае», и упования на «необратимость» буржуазно-демократических завоеваний торжествующего капитализма. Удивительная похожесть двух «несовместных» политических философий, коренящихся в самом узком идеализме и брачующихся ныне в стенах «Общеевропейского дома», не однажды бросается в глаза при чтении «Парижской хартии». Это похожесть на самом глубинном уровне, обусловленная единым типом пошлого, рационалистического мышления и при всей розни двух идеологических построений неодолимо влекущая к сродству в конечной цели.

Поскольку единственная (с качеством необратимости) система правления «в наших странах» названа в Хартии фундаментом общеевропейского согласия, мира и доверия, становится ясным, с другой стороны, что «новая Европа» этически, вообще философски и просто практически ничем не отличается от «старой». Не принцип терпимости к разным политическим системам ради мирного сосуществования, не творческая задача сотрудничества при разных формах

[4] «Советская Россия», 22 января 1991 г.

жизни, но принцип *диктата* во имя политической унификации — по-прежнему, на поверку, исповедует эта Европа, вовсе не плюралистская при всем ее одобрении «нового», то есть более широкого мышления, при всех увереньях о «поднятом» над эгоистическим интересом потолке примиряющих «общечеловеческих ценностей».

Вместе с тем, в учете этого монофундамента, тут же и обнаруживается несостоятельность, редкостное бесстыдство похвальбы об *успехах* советской дипломатии, якобы достигшей *своими*, дипломатическими средствами «ослабления напряженности», долгожданной «мирной разрядки» и «взаимопонимания» в международных отношениях. Даже если на миг принять за истину этот идиллический итог, очевидно, что достигнут он вовсе не внешнеполитическими умелыми средствами, но, напротив, — внутреннеполитическими преобразованиями, внутренней «перестройкой» или же полным подстраиванием нашей страны под незыблемый *западный* «фундамент». Смена политической системы в СССР — вот цена и условие той «международной разрядки», заслугу по которой приписывают у нас дипломатическим дарованиям, даже — «личному обаянию» наших государственных лидеров и руководителей МИДа. Герои безоговорочной капитуляции, капитуляции социализма в СССР, капитуляции КПСС как государственной силы, капитуляции всех политических, всех государственных структур, всей идеологии, всей — широко понимаемой здесь — культуры выдают себя за полководцев-победителей, мудрых миротворцев и искуснейших дипломатов. Эта капитуляция в ходе «холодной войны», добровольная, неожиданная для противоположного стана, преподнесенная ему как подарок, вовсе без боя, предполагает всесторонний — экономический, хозяйственный, территориальный, военный — ущерб нашей стране, пресечение ее исторического развития, отбрасывание ее на столетья назад, то есть ту цену «мирной разрядки», что сравнима с итогами самого сокрушительного поражения в самой истребительной из «горячих», нефигуральных войн. Так что ежели говорить о *победе*, то сегодня она, конечно, принадлежит *старой* Европе, *старому* Западу, ни на йоту не уступившему «ради разрядки» ни одного из своих политических, государственных, идеологических принципов и заставившего подчиниться своей доктрине недавно еще инакомыслящий, социалистический мир. И, собственно, то, что у нас именуют «разрядкой», есть торжество весьма жесткого «нового порядка» (Neue Ordnung», — как сказали бы немцы), распространяющегося на небывало огромное пространство в результате односторонних уступок, полной политической ретирады нашей вчера еще сверхдержавы перед вполне старомыслящим и отнюдь не сговорчивым Западом.

В «Парижской хартии», утверждающей «единственную систему правления» в странах «соединенной Европы», нет, разумеется, ни малейшего допущения социалистического устройства. И поскольку под Хартией стоит подпись *также* и Президента СССР, надо заметить, что в этом широковещательном официальном документе, по сути, впервые зафиксирована происшедшая *смена социальной и политической системы в нашей стране*, все еще не осознанная многими нашими соотечественниками. Причем, как предупреждает Хартия, «необратимая» смена...

Основою той, вовсе не социалистической демократии, «строить, консолидировать и укреплять» которую обязался в Париже, наравне с чужеземными коллегами, руководитель нашей страны, служат «права человека».

В редком абзаце «Парижской хартии» нет заклинаний насчет этих «прав». «...Права человека... неотъемлемы... Их защита и содействие им — первейшая (!) обязанность правительства», — читаем в парижском документе. И можно бы умилиться таким вниманием к человеку, жарким пристрастием к «человеческому измерению», если бы не выпирало деструктивное содержание этого благовидного пристрастья. Если бы тотчас не обнаруживалось, что тезис о «правах человека» ратует прежде всего не *за* (того ж человека), но *против* (некоего нестерпимого для идеологов Хартии явления, которое предстает истинным объектом хлопот «общеевропейской» мысли)... Против чего? Против *государства*, заведомо противопоставляемого человеку, словно б оно, государство, не человеческих рук, разума, воли творческое дело, а нечто внечеловеческое, для человека чуждое и опасное — вроде дьявольского измышления...

Антигосударственный пафос и смысл насаждаемых Хартией «прав человека» ясно звучит уже в процитированном требовании: ведь «первейшей обязанностью правительства» названы вовсе не собственно государственные заботы (укрепление государства, его единства, независимости, благосостояния), не масштабная, общеорганизующая строительно-государственная деятельность, а нечто частное, *только*-гуманитарное, узко-юридическое, прикладно-адвокатское — «защита... прав человека», в лучшем случае абстрагированного от государства, ибо он рассматривается не как гражданин, а как отвлеченный индивид, через свое государство никак не характеризующийся. Можно, конечно, усомниться в благополучии «правомочного» человека вообще (а не предприимчивой горстки людей) в государстве, где правительственная деятельность раздроблена на защиту разнообразных и противоречивых частных интересов. Но отметим пока, что «первейшая обязанность правительства», согласно Хартии, такова, словно дело идет не о *государстве*, а о том, что зовется не более чем безлико-усредненным гражданским обществом...

Впрочем, противогосударственная деятельность правительства предписывается Хартией и прямо, когда по поводу «прав человека» и «первейшей обязанности правительства», сугубо озабоченного ими, говорится: «Их (то есть «прав человека». — Т. Г.) уважение — существенная гарантия *против* обладающего чрезмерной (?) властью *государства*». Так что правительство, выходит, обязано делать *обратное* своему традиционному назначению — противодействовать точно бы заведомо «чрезмерной» власти государства, а собственно, самому государству и, по сути, бороться с ним.

В этом свете — свете «Парижской хартии» — находит себе оправдание и столь экстраординарный факт негосударственного, даже и противогосударственного мышления руководства нашей страны, как приглашение населения к референдуму по вопросу сохранения государства (Союза). Каковы бы ни были итоги такого референдума, само приглашение к нему есть, по существу, предложение о — допускаемом (хотя бы лишь «теоретически») — распаде, уничтожении исторически созданного государства, ибо нынешние граждане СССР, обладающие избирательными правами, имеют свободную возможность высказаться против существования единого государства, и их разрушительное мнение способно автоматически отразиться на судьбе многовековой державы. Очевидно, что «мнение» это — при всей роковой его роли и сверхважности обсуждаемого вопроса — может быть на деле лишь временным, летучим настроением, не говоря уже о широких возможностях манипулировать общественным мнением, которыми пользуются средства массовой информации. Но во всех случаях «права человека» (сегодняшнего и весьма кратко живущего человека), неограниченно утверждающего себя в данном референдуме, явно торжествуют над историческим правом государства, и государство, которое созидалось творческими усилиями, кровью и потом, духовным подвигом множества поколений, оказывается в своем дальнейшем бытии зависимым от простого *голосования* нынешних избирателей. В том числе и тех (молодых), кто и не успел внести какой-либо лепты ни в мирное государственное созидание, ни в защиту государства от внешних врагов, ни в отстаиванье его внешнеполитических интересов — то есть не имеет никакого нравственного права (не говоря о гражданском, политическом, жизненном *опыте*) решать кардинально *общую* судьбу страны, судить, *быть* или *не быть* государству, сверхполномочно принимая к своему рассмотрению этот *всемирно-исторический* (не только внутригосударственный!) вопрос.

Впрочем, — и это следует наперед учесть, — юридическое право в системе «прав человека» вообще поднято над правом нравственным — и тут открывается глубинная *бесчеловечность* принципа «прав человека», направленного как будто «только» против прав государства... Так называемое «правовое государство» вообще отвлечено от нравственности — от этого рычага, характерного для обществ и государств религиозных, строящихся на религиозных устоях. В «правовом государстве» главенство, даже духовное, принадлежит именно *закону* с его рационалистической регламентацией жизни, с его практицизмом, не оставляющим места для *идеала*: закон вырастает из чисто земных нужд общества, соответствуя его реальному состоянию, а не идеальным потребностям человека, его идеальной природе. Материально-земная почва, на какой произрастает юридический закон, достаточно удалена от мистических представлений, она в лучшем случае лишь формально, усредненно, слишком уж приблизительно «учитывает» их (так, перед нею сглажены особенности разных вероисповеданий, бытующих в *одном* государстве), — и в результате «небо» закона, высшие в духовном отношении возможности его — это «земное» «небо», небо, подчиненное все-таки земле, не взлетающее над нею... Поэтому то «обожествление» закона, которое наблюдается сегодня у нас со стороны идеологов «правового государства» (вопреки вековой народной иронии, скепсису насчет юридического закона, ярко отраженных в фольклоре), есть, конечно, низший из всех известных в истории культов.

Бесчеловечность же принципа «прав человека», поднятых над правом нравственным (да и над правами-возможностями природными, связанными с естественной неоднородностью, неравенством людей), проявляет себя в верховенстве *упрощенного и огульно-безликого* закона юридического над законами «неписаными» — своеобразными у каждого общества и народа, отражающими саму его *душу*. Отражающими ее с тою точностью, тонкостью, которая недоступна писаному, раз навсегда означенному, внутренне малоподвижному закону. Ведь специфика законов неписаных, складывающихся в местный *обычай*, *традицию*, состоит не в одном содержании их, но и в способе их применения — по интуиции, по чувству, так что одна и та же сюжетно ситуация может получить разную оценку, разное арбитражное разрешение, разный «судебный» приговор, и по-разному, значит, непредусмотримо могут быть оценены участники ее... Этой вот свободы, естественной гибкости, плодотворной жизненной непредсказуемости, а иными словами — непрекращающегося творчества, не знает в своем применении юридический закон. Он обращается не к чувству, а к «разуму» (рассудку), требует не интуиции, а логики фактов, отчего и бывает значительно сужено поле его зрения и возможности действия, обеднено в его «зеркале» само содержание жизни — обеднено и в немалой степени даже искажено. Рационалистический по духу и методу, писаный этот, юридический закон «вбирает» в себя ограниченные ряды «типовых» ситуаций, предлагая типовые же (сравнительно узкий набор!) их оценки. И за его бортом неизбежно оказывается великое множество вовсе не второстепенных для жизни общества явлений, которые — бесспорные в нем! — остаются и пребывают в куда более емкой, обширной сфере чисто нравственного, чувственного,

совестного суда... Ограниченность или формальность юридического закона — принципиального свойства; и она, конечно же, только усугубляется, когда механически перенимается *чужой* закон, когда в правовой идеал возводится «международный» трафарет, «ходовой», совершенно уже умозрительный в ложной «общечеловечности» стандарт — вроде того «правового государства», которое «мы (?) решили строить по примеру цивилизованных стран» (как уверяют — за всех нас — попугаи из депутатского корпуса).

Бесчеловечность навязываемого нам «правового государства» со всем реестром «прав человека» — независима даже от числа или сути этих «прав». Она состоит в поощрении рационалистического, сухо-формалистского духа и правосознания, в заведомой дискриминации *чувства* перед разумом, то есть рассудком, который легко отзывается на логику закона и его задачу практической, ближневидимой пользы. Трезвое, «объективное», отрицающее предвзятость «правовое государство» (верховенство закона над должностью, например, означено в букве его!) между тем незаметно теснит, исключает и *совесть* — категорию внеюридическую, точно как и всякое *чувство*... Все иррациональное, хоть и сущее в жизни и способное быть могучим двигателем ее, отторгается юридическим мышлением, недоступно писаному закону и, вообще говоря, неинтересно для него... Отрешившись от иррационального, юридический закон и оказывается не в силах охватить все богатство, разнообразие жизни, всю причудливую сложность человеческих мотивов и обстоятельств. В результате юридического подавления совободного, внеюридического *чувства* постепенно, но неуклонно нарастает «цивилизованное» охлаждение между людьми, столь характерное для сегодняшних «правовых государств» с их высокою степенью отчуждения друг от друга правово грамотных («просвещенных»), но духовно отсталых, лишь полезно-практически, приземленно связанных меж собой граждан. И чем более «цивилизовано» в правовом отношении государство, чем отшлифованней оно как «правовое», тем глубже взаимная отчужденность людей в нем, тем более одинок человек, тем ниже духовность и сама жизненная сила общества[5]...

«...Друг на друга не обращаем внимания — друг друга закону поручили...» — уместно вспомнить по поводу такой бездушной отчужденности сокрушенные слова героя «Усомнившегося Макара» у Андрея Платонова.

Все сказанное не означает безусловного отвержения юридических законов или призыва к непослушанию им: речь лишь о непомерно раздутом в наших глазах *благе* «правового государства», о завышенной функции «прав человека», о запрограммированной, по существу, духовной несвободе обольщенных носителей или нынешних наших поборников «демократических прав и свобод».

Что же до своего рода апофеоза надгосударственных, поднятых над самим здравым смыслом «прав человека», как заявляют они себя в нашей лихорадочно демократизирующейся стране; что до экстремистской идеи беспримерного, антигосударственного референдума с нововведенной «прерогативой» всякого избирателя — в одночасье решать судьбу тысячелетнего исторического процесса (пусть иной избиратель и мало знаком с многострадальной, величественной этой историей), — можно серьезно усомниться, что арифметическая сумма лично-единичных воль непременно является воплощением «мнения народного» (Пушкин), которому якобы жаждет уважительно подчиниться «народолюбивая» наша демократия.

Ведь «мнение народное» (равнозначное с «гласом Божьим») осознает себя, конечно, *не в каждом* подряд «правомочном» лице, звучит в душе не *каждого* подряд избирателя (участника референдума), да и формируется оно не в любой и всякий миг: оно может «дремать», колебаться, не собираться в фокус до того исторического часа, когда массы — в непреложно критических, например, обстоятельствах — действительно *становятся* народом, предстают *народом*, то есть духовным монолитом, внутренне подчиненным связующей, *изначальной*, воистину *общей* идее.

Вынесение на «демократический» референдум вопроса о целостности государства — вопреки видимости и пустым, взывающим к «единенью» словам — не столько способствует стяжению этого монолита, сколько создает «свободные» моральные, правовые условия для его раскола. *Узаконивает* такой — возможный — раскол. И тут надо признать, что по существу-то права наша «демократическая пресса», заостряя подспудно заложенные следствия референдума, затаенную в нем перспективу и называя дату его проведения — 17 марта — «датой начала гражданской войны в стране»... Другое дело, что это заострение (а пожалуй что попросту — прямота), как и вообще протест демократической печати против референдума, находится в русле эгоистической ее войны с «центром». То есть она всего-навсего ревниво не желает

[5] В смысле жизненной силы не секрет (хоть не любит о том поминать даже самая «независимая» пресса), что западный «цивилизованный мир» находится на иждивении «неосновного» (как его называют в скрытых международных «демократических» документах) человечества. На материальном — сырьевом, энергетическом, трудовом — иждивении огромной части «остального» мира. Что грабительски пользуется население «цивилизованных», индустриально сверхразвитых стран не только чужими «источниками питания и водоснабжения», но и чужим кислородом — так разрушил собственную свою наземную и надземную природную среду «приоритетный», прогрессивно-цивилизованный мир, обреченный без международного, межконтинентального донорства *в его пользу* на прямое физическое вымирание. Именно в страхе перед вымиранием «основного человечества» — «передовых», «цивилизованных» стран — и затеваются хартии вроде Парижской, по которым «права человека», принадлежащего к «основному человечеству», должны бесперебойно обеспечиваться жизнью, кровью миллионов и миллиардов *приговоренных* мировой демократией «остальных» жителей Земли.

передоверить «центру» вздушевнейшую для всякого «истинного» демократа «инициативу» расчленения государства, план максимального раздробления великой страны.

«Центр» естественно «перехватил», то есть сам заявил, эту «инициативу»[6], ибо она для него отнюдь не чужая, не сторонняя; ибо он единосущен, единокровен, единоверен с «демократическими силами», и наблюдаемая нами борьба «демократов» с авторитарным «центром» — это борьба *лиц, а не идей*. В плане идеологии она сводится только к вопросу о темпах и отчасти методах «демократических преобразований», а в остальном — в основном своем смысле! — отражает неизбежную личную конкуренцию между «вождями» демократии или «Главными Архитекторами Перестройки», разумея передел власти, перехват, а с другой стороны — удержание личного верховного главенства.

Кажется, вовсе не трудно понять деструктивность самого замысла референдума, выдвигающего *дилемму*: быть или не быть Союзу (единому государству). Толкующего как дилемму многовековую историческую данность — существование нашей великой страны, которая выдержала немало тяжких испытаний — и выдержала их потому прежде всего, что осознавала себя, свое бытие *однозначным*, недвусмысленным образом, *не культивируя* в своих гражданах государственного гамлетизма, нарочитой рефлексии насчет «правомочности» под солнцем великой, как она сложилась, страны...

Деструктивность — в самом допущенье: *не быть* — относительно многосоставного и единого Союза, — какое содержится уже *в факте вопроса* о необходимости «сохранения Союза Советских Социалистических Республик». Допущенье, которое исходит от *правительства* и предоставлено на усмотрение каждого из нас... Деструктивность и вместе с тем полный кризис верховных органов государственного управления — уже в этом «демократическом» перекладывании прямой и всецелой ответственности за сохранение государства на само население, на сумму *словесно* заявленных, хаотических и, быть может, случайных и к тому ж разносторонне направляемых воль. Деструктивна, конечно, и подмена реально существующей ситуации наличия правительства (не уходящего в отставку, не свергнутого) ситуацией условной — ситуацией откровенного отсутствия власти, когда может быть мотивировано — как временное, вынужденное средство — хоть бы даже и примитивное это голосование по коренному вопросу. Вопросу, вообще говоря, возникающему разве что в *догосударственный* период истории народа...

Дискутирование по поводу недискуссионных вещей (как государство в его целостности) служит уничтожению этих вещей. Стремленье представить «дискуссионным», то есть спорным и относительным, всё сущее под Луной означает отказ от каких-либо надежных устоев мира и человеческого духа. Без твердых, исторически или природою освященных, не нуждающихся в доказательствах, само собою разумеющихся основ невозможно существование ни народа, ни человека. И «справедливый», «проверяющий» волю советского народа референдум есть, вне сомнения, «бескровный», демократический меч, занесенный над всеми нами. Над обманутыми и самообманувшимися, захмелевшими от «безграничных», лестных индивидуальных «прав» и «свобод» людьми.

Тут происходит, заметим, глубокое, тонко продуманное развращение народа. Ведущее к тому, что можно назвать распадом *личности народа*. Уже само согласие людей на подобный референдум — знак достаточной атрофии государственного чувства, государственного инстинкта, да, собственно, инстинкта самосохранения у народа. Такой референдум — независимо от формального исхода его — служит именно искоренению «великого государственного чувства», «великого государственного такта», какой признавали у русского, скажем, народа наши классические мыслители. Это свойство можно определить и как великий государственно-строительный *дар*. Дар государственности, каким в высочайшей степени отличён, награжден был русский народ...

Референдум насчет сохранения государства — вольно, невольно ли — направлен на растление созидательного духа народа, извращение его психики. Ведь он понуждает народ переводить в план *голосования*, в план юридического пересмотра (хоть бы даже и юридического утверждения!) само патриотическое чувство, то неотъемлемое, сокровенное, данное Богом, что *не подлежит* ни указке закона, ни какой-либо внешней санкции (разрешению или запрету) со стороны большинства или меньшинства. То, что разом обесценивается от хоть бы даже и «одобрения» со стороны рукотворного, писаного, «общеобязательного» закона или же «счетной комиссии» с ее бесстрастными выводами...

К этому можно добавить, что вынесенный на референдум вопрос — о целостности государства — до сих пор никогда не решался посредством голосования, упрощенно-юридическим и бытовым, в сущности, способом, с помощью всеобщего избирательного права. Что ставился он — в его проблематичном, его отрицатель-

[6] Закавычивая это иностранное слово (имеющее русские эквиваленты), хочу попутно обратить внимание на *язык* демократической гласности, на тот любопытный факт, что иностранная лексика непременно вспыхивает при выражении мысли дурной, постыдной, даже уголовной — которая тут же бы саморазоблачилась, будучи высказанной по-русски. Так, «консенсус», «приоритет», «приватизация» (и т. д.) — прикрывают обычно преступное соглашение, самозваное, несправедливое первенство и преимущество, грабительское присвоение в частную собственность (и т. д.). Загадочность для широких масс подобных, заполонивших эфир и печать нерусских слов позволяет заметить, что вся эта лексика выражает не просто культурный (да и какая уж тут культура!), но политический стиль нашей «советской демократии», не способной утвердить себя без тайнописи, то есть *обмана*.

ном смысле — обычно не изнутри, а извне государств. Что последний раз он был поставлен относительно нашей страны в 1941 году гитлеровским вермахтом, и известно, *какой*, скрепленный кровью десятков миллионов людей, бесповоротный ответ дан был тогда русским народом вместе со всеми народами СССР. Нынче же этот единственно убедительный, единственно весомый ответ высший орган государственной власти страны (Съезд народных депутатов СССР) при согласии и содействии Президента, а также Политбюро ЦК КПСС предложил «переголосовать», превращая в бумажный избирательный фарс естественные законы исторической жизни, пародируя выбор исторического пути, выбор, который предопределяется не одними лишь рукотворными и сиюминутными силами.

Итак, кажется, вовсе нетрудно понять все это «демократически»-негосударственное поведение правящей власти, эту чреватую страшными бедствиями «мирную» *игру* правительства с государством и народом. Игру «в вопросы и ответы», которая лишь на самый поверхностный или наивный взгляд может предстать безобидной, простодушной и чистой.

Однако, вменяя себе в долг непременный спор с демократической прессой, несхождение с ней ни в едином слове, патриотическая печать, к сожалению, впала в достаточно дружное ослепленье, поддерживая проведение провокационного референдума. «Спрашивается: что случилось, отчего такая тревога (со стороны радикальных демократов. — Т. Г.), откуда такая опасность (пророчествуемой гражданской войны. — Т. Г.)? Ведь задумано и делается *предельно простое*, ясное и *честное* дело», — из лучших своих, патриотических побуждений заявляет в республиканском издании «доктор юридических наук, профессор» (Г. Атаманчук), и голос его охотно подхватывают коммунисты России...

Данный автор находится, видимо, под обаянием — или в плену — своей профессии, юридических навыков и готов что угодно решать юридическим путем. Но, даже если считать юридический метод универсальным, а «права человека», используемые при референдуме, — единственным двигателем, важнейшим орудием исторических судеб, — задуманное дело — отнюдь не «предельно простое» и уж менее всего «честное», вопреки ощущению тех, кто «патриотически» озабочен лишь суммою утвердительных ответов на вопрос. Кто настойчиво призывал начертать «Да!» в ответ на вопрос референдума... Весьма хитроумно составленный вопрос, похожий на *капкан*, незримый, нечуемый для политически и юридически неискушенного большинства народа...

«Давайте вместе перечитаем поставленный законодателями вопрос, — предлагают защитники «ясного и честного дела». — «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

«Кто, не будучи по природе фарисеем (!), найдет в этом вопросе хоть одно недемократическое слово, какой-то злой умысел, подвох «центра»?» — пытается «загнать в угол» любого своего оппонента патриотически (по всем видимым признакам) настроенная пресса. И поскольку совсем не редки, а весьма характерны подобные «благородные» рассуждения, нечаянно, но упорно способствующие массовому заблуждению, приходится принять вызов не только заведомо разрушительных, но и тех патриотически-охранительных сил, что при всех своих добрых намерениях, желании оградить Союз от распада едва ли не соответствуют хлесткой народной поговорке: заставь неразумного молиться — он и лоб разобьет.

Эти незадачливо-охранительные силы можно бы определить как демократически-патриотические, признавая невольную алогичность такого наименования, которая, однако, сообразована с противоречивостью самого этого мировоззрения. Ибо демократия в ее реальном, нынешнем, «цивилизованном», на западный лад, значении и патриотизм, строго говоря, непременно ставят друг другу пределы, и на практике демократические убеждения сильно теснят обычно патриотические «предрассудки». Гегемония «прав человека» над правами государства, национальной, всенародной общности закономерно приводит к этому.

Да, — следует согласиться с нашими демократическими патриотами (или «патриотическими демократами»), — в вопросе, «поставленном законодателями» для всесоюзного референдума, и впрямь нет «ни одного недемократического слова». Но в том-то и суть! Эта как раз демократическая неукоснительность, или «чистота», и способна насторожить вдумчивого, не разучившегося мыслить «фарисея»... Ибо демократическая природа и словесная тонкая вязь предложенного законодателями вопроса — при утвердительном даже ответе на этот демократический вопрос — вряд ли сулит сохранение единого, целостного государства. Все обстоит уж скорее вовсе наоборот, если помнить о «свободолюбивых», индивидуалистических, сепаратистских устремлениях «правовой» демократии, ее анархической тенденции, так же неотъемлемой от нее, как и дальнейшая (или одновременная) надгосударственная «интеграция» — на «всеевропейском» («парижском») и всемировом уровне, — успеху которой только способствует анархия, развал, ослабленность отдельных государств...

При неспешном чтении «*демократических* слов», из которых сплетен вопрос для референдума, становится бесспорным, что тот государственный фарс, пародийность или демократическая пошлость во взгляде на историю, на решение будущего страны, о которых уже говорилось, преследует, помимо общебезнравственных, вполне прикладные, осязаемо-политические цели.

В самом деле, что такое «*обновленная* федерация», за или против

которой мы правомочны голосовать? Разве исключено, например, что она окажется «обновленной» в первую очередь в численном своем составе — в смысле *числа* республик, охватываемых ею? В смысле именно усечения этого состава, что вполне правдоподобно хотя бы потому, что ряд союзных республик отказался участвовать в референдуме... Каков же он будет, состав «обновленной» («обструганной») федерации, которую нам дано поддерживать или отвергать? За какие, иными словами, границы страны проголосовали те, кто мечтал сохранить Союз, не остерегаясь, что это на деле-то явятся, скажем, границы, известные по Брестскому миру — кайзеровский или иной, чужеземно взлелеянный идеал?..

Так что «крапленая карта», свобода обмана государственных надежд множества патриотов Союза, или возможность *любых* географических толкований, несомненно, увы, обнаруживается в затеянном с нами «предельно простом, ясном и честном деле».

Что же до толкований политических, до государственно-административной реальности, — о каком *сохранении* Союза можно сегодня мечтать, если речь ведется о «федерации... *суверенных* республик», то есть, по-русски, *независимых* государств[7]? Республик, обладающих полнотой государственной самостоятельности. Которая — в формуле «обновления» — подчеркнута *дважды*. Ибо уже слово «федерация» означает, в переводе на русский, «союз *самостоятельных* государств», — и они дополнительно, с тавтологичностью, не свойственной юридическому языку, охарактеризованы еще как суверенные...

Союз независимых («вдвойне» независимых) государств (да еще с абсолютным, как разъясняют попутно нам, не ограничиваемым данным референдумом правом *выхода* из него) есть, по сути, не внутреннеполитический государственный, а внешнеполитический (межгосударственный) союз. Внешнеполитический — для каждой из «самостоятельных плюс суверенных республик», каждого из независимых ново-государств... Они способны составить вместе лишь слишком свободное *сочетание*, но трудно уловить тут их *соподчиненность*. Во всяком случае в подобной федерации могут господствовать именно горизонтальные связи в отвлечении от стержнево-централизующей организации. Это будущее новообразование далеко от понятия единого централизованного государства, и в виду вольной такой, независимо-равноправной такой «федерации» невозможно, конечно же, говорить о *сохранении* «Союза Советских Социалистических Республик», который мы знали до столь недавних еще пор: тут явная передержка, подлог, взаимоподмена *разных* меж собою вещей... И неспроста, пожалуй, всплыло название планируемого новообразования — «федерация», а не, как прежде, — «Союз». Слово «Союз», вроде бы равнозначное слову «федерация», несет, однако, по-русски смысл более строгого, более тесного, более крепкого соединения: *узы* — сразу прочитываются в нем. *Узы* — как прочность связи. Как напряженность этой связи. Связи, включающей в себя и безотчетность нерасторжимости, и самоподразумевающиеся обязанности... И «незаметное» исчезновение слова «Союз» — не оттого ли, что всякие узы непереносимы для «свободолюбивой», центробежной по «натуре» своей демократии?..

Итак, привлекательное для сынов великой страны, как привыкли себя ощущать многие наши соотечественники, подкупающее их слово «сохранение» — «сохранение Союза» — чуть дальше в формулировке вопроса вступает в противоречие с «обновленной» — на месте знакомого нам Союза — федерацией. Таким образом, предполагается не сохранение *прежнего* государства, а «сохранение» (точней бы сказать — учреждение) чего-то *нового*, *иного* — «обновленного», причем неясно или не слишком ясно, в каких отношениях... Противоречие, спрятанное внутри формулы о Союзе («сохраняемом») и федерации («обновленной» и, по существу, нововводимой), казуистический способ выражения мысли обеспечивают *ловушку* для доверчивых и невнимательных граждан, которым *потом*, уже после референдума, легко будет *юридически* доказать, что голосовали они именно за то, пусть и неузнаваемое для них, «государство», какое преподнесут им уже в натуральном виде хитроумно-предусмотрительные казуисты-законодатели и управители, ловко подстраховавшие себя скользкой, двусмысленной формулировкой вопроса для референдума...

Замаскированная ловушка содержится и в социальной характеристике «сохраняемого» Союза, то бишь «обновленной федерации». Ибо и в ней, социальной характеристике, абрисе социально-политического устройства страны, затаилось неслучайное противоречие. «Сохраняемый» Союз-то назван, как и положено, «Союзом Советских Социалистических Республик». Но что *социалистического* предполагается в «обновленной федерации», если единственным признаком (*принципом*) ее предстают гарантированные в ней «права и свободы человека»? То есть под вывеской социалистического Союза, — «плавно» переходящего, впрочем, в «обновленную федерацию», — выдвинут известный, классический принцип именно буржуазной демократии!

Успокаивающее миллионы и миллионы сторонников социализма слово «социалистический» в названии «сохраняемого» Союза ослабляет, на деле-то — необходимую, бдительность к дальнейшему тексту, его «деталям», «частностям». Такова психология, таков стереотип массового восприятия, и, похоже, на это и был «тонкий» расчет демократических юристов, авторов как Янус двуликой формулы... Стоит добавить, что зарубежные консультанты «необратимых преобразо-

[7] Именно «суверенные государства» напрямик фигурируют в проекте «Союзного договора», и эта формула, как сообщают, имеет автором самого Президента СССР.

ваний» в нашей стране, теневые стратеги «новой Европы», несмотря на свою непримиримую ненависть к социализму, в последнее время дозволили «для СССР» из тактических (камуфлирующих) соображений пользоваться на внутригосударственной сцене термином «социалистический» («социалистический выбор», «социалистические республики» и т. п.). Дозволили — на «переходный период» — использовать это привычное, это кровное «советскому населению» слово. Отбросив стилистический, терминологический педантизм, они решили до поры не «придираться» к имени — было б оно только «звуком пустым», гремушкою для младенцев, флером, кутающим в себя самый что ни на есть частно-капиталистический интерес. (Публикации об этом циничном, однако же мудром «разрешении» прошли по обочинам нашей прессы.) И вот даже крупномасштабная «приватизация» — передача государственных предприятий в частные руки — «остается» у нас «социалистической», в рамках «социалистического выбора» («социалистического выбора» нами капитализма). И вот даже частно-индивидуальная, акционерно-капиталистическая внешняя торговля (международная спекуляция) «остается» внешней торговлей «Союза Советских Социалистических Республик». И т. д. И надо ли удивляться, что «обновленная федерация» в формулировке вопроса, вынесенного на всенародный референдум,— даже не прямо, а косвенно названная социалистической, готова оказаться вовсе иной, обнаруживает для внимательного читателя свой буржуазно-демократический тип?..

Конечно, определенную ясность — для четкого понимания вопроса, предложенного к референдуму, — внес бы Союзный договор. И не сам по себе только текст его, но реальные подписи под ним республик нашей страны. Тогда очертились бы во всяком случае географические границы федерации... Да и текст Договора с конкретными его параграфами, при всей осложненной тайнописью «методологии» наших юристов, дал бы больший материал о самой сути «обновленного Союза», то есть «федерации», — о ее идейной и практической основе, социально-политическом и чисто-административном устройстве... Но Союзный договор, как известно, не «доработан», не утвержден, не подписан, так что подлинный образ этой самой «обновленной федерации» пребывает для участников референдума в заведомой мгле. Мгле, в которой проступают, однако, тревожные контуры порушенного (а не «сохраненного») государства. Даже — распавшегося государства, и к тому же, пожалуй, антинародного по своему типу, хотя и гарантирующего «права и свободы человека»... «Человека» или людей, народу противопоставленных...

В связи со всем сказанным, уйдя на миг от «парламентского» языка (малопопулярного, кстати, и в самих наших «парламентах»), стиль, почерк сочинителей вопроса для всенародного референдума следовало бы назвать шулерским. В нем заметно высокое искусство «артистического» передергивания карт (в пределах одной фразы!), позволяющее при любых обстоятельствах сорвать банк.

В самом деле, «дышло» изящно-коварной, гибкой формулировки без труда поворачивается в нужную сторону. И вот — не ровён час! — невдолге, с безукоризненной юридической точностью и надменною даже «корректностью» откроется (будет наконец — в «свое время»! — растолковано): всякий, проголосовавший ЗА «сохранение Союза...», на деле-то, по недосмотренной сути, проголосовал ПРОТИВ единого, централизованно вбирающего в себя национальные республики, государства. И — соответственно — проголосовал НЕ «за» социалистическое устройство «федерации», а за весьма «обновленную» политическую систему с девизом «прав и свобод человека», свойственным как раз буржуазной демократии.

И, таким образом, при условии большинства утвердительных ответов («ДА») на вопрос референдума, задуманное, осуществляемое расчленение нашего великого (исторически сложившегося и злоумышленно взрываемого) государства получает санкцию, одобрение со стороны самого народа, со стороны большинства лукаво опрошенного населения.

А проголосовавшие отрицательно, — сколь это ни дивно, — ничего существенного не добавляют к развивающемуся разрушительному процессу. Ибо непросто даже определить, к чему именно относится их «НЕТ»: к «сохранению Союза»? к «обновленной» — на его месте — «федерации»? к «социалистическому», все-таки «маячащему» в тексте и уводящему к «проклятому прошлому»? или к стыдливой социалистической вывеске над типичной буржуазной демократией — выходит, робеющей, когда впору с открытым забралом победительно наступать?..

Следовательно, вполне разумно было с самых вершин демократии, — что бы там ни писала нервная, вечно несытая «демократическая пресса» — призывать народ начертать свое «ДА!», отдать голоса за «сохранение Союза...» (в эластичной формулировке!), которое можно читать как сохранение разрушения, охранение распада Союза, глубинно преображаемого, — ибо «иного пути не дано», как и «нет альтернативы Перестройке»!

И, пожалуй, идя на референдум, каждому из сторонников необманного сохранения Союза следовало бы помнить клятвенные слова советского Президента, произнесенные им в Париже, после подписания «Хартии для новой Европы»:

«Наша страна... стала другой и уже никогда не будет прежней».

Истинный смысл и последствия мартовского референдума в недалеком будущем явственно окажут себя. И не станет нужды напряженно разглядывать холеное лицо демократии за социалистической личиной — рабоче-крестьянской, комбайнерской или какою другой, по бытовому демократичной, вроде мало имеющей общего с жестокостью и безжалостностью той «единственной системы правления», «консолидировать и укреплять» которую до, решительно без референдума или воли Верховных Советов обязалась в осеннем Париже безответная наша страна.

Недалекое будущее проявит давнюю предопределенность жизненных итогов мартовского референдума, вызывавшего столько споров, воспламенявшего надежды насчет роли народа в демократии. Но во всех случаях вряд ли отменима высказанная здесь мысль об опасности «демократических» игр правительства с государством и народом. Игр в кардинально-исторические «вопросы и ответы»... Торжествующие в подобных случаях, поднятые над государством индивидуалистические права человека могут, вообще говоря, стоить жизни и государству, и целым народам. И не будет ошибкою напрямик заключить, что вся эта «демократическая законность», альфа и омега которой — «неотъемлемые» права человека, есть на практике весьма изощренный инструмент анархии. Анархии, которая, сметая государство, затем с неизбежностью разъедает и само гражданское общество, уничтожает как личность того самого человека, что себялюбиво и слепо привержен кумиру собственных прав.

Зато всё это — полностью в русле «Парижской хартии». И как раз из нее истекают такие, по сути, дочерние ей документы, как опубликованные в конце прошлого года проект Конституции РСФСР с подчеркнутым в нем господством буржуазных «прав человека» и проект Союзного договора, где сказано: «Республики признают важнейшим принципом своего объединения приоритет прав человека, провозглашенных во Всеобщей декларации ООН и международных пактах». Так что можно глубоко усомниться и в государственном суверенитете таких республик, и вообще в становлении в них государственности. И, конечно же, названный «принцип объединения» пригоден для объединения этих республик с любым из «правовых государств», сплоченных «Парижской хартией».

Антигосударственная нацеленность инструктивного парижского документа выказывает себя и в обязательствах «соединенной Европы» на случай чьих-либо посягательств на входящие в нее страны: «Мы намерены сотрудничать в деле защиты демократических институтов от действий, нарушающих независимость, суверенное равенство или территориальную целостность государств-участников». Сложно закрученная фраза! И все же приходится из нее заключить, что защите подлежит не данное государство как таковое в его территориальной целостности, но сама по себе политическая структура, которая, как известно, может сохраняться и при территориальных, а также других потерях. Так, преступный процесс расчленения СССР, разворачивающийся сегодня, не вызывает особой тревоги у идеологов «соединенной Европы»: были бы целы «демократические институты» на разорванном в клочья теле великой страны!.. Насчет же возможных угрожающих факторов, которые вызвали бы необходимость сотрудничества «в деле защиты» того или иного из участников соглашения, читаем: «К ним относятся незаконные действия, включающие давление извне, принуждение и подрывную деятельность». Случай военной угрозы, вооруженного посягательства на государство-участника парижского соглашения, этот случай не предусмотрен для помощи «в деле защиты», — отчего и провисают в воздухе все слова Хартии об «укреплении безопасности» и сохранении «независимости» государств, подписавших парижское соглашение.

Заслуживает внимания и особая, крохотная главка — «Неправительственные организации», которые так и остаются загадкой для широкого читателя. «Мы напоминаем о важной роли, которую неправительственные организации, религиозные и иные (?) группы и отдельные лица (?) играют в достижении целей СБСЕ[8], и будем и впредь содействовать их деятельности, направленной на осуществление государствами-участниками обязательств по СБСЕ», — сказано в Хартии. И приходится понимать, что эти таинственные организации и особо-желательные «отдельные лица» занимаются, однако, именно государственной деятельностью — в том же, должно быть, разрушительном смысле, что и сами правительства, обязанные бороться с «чрезмерной властью государства»?

Отрицание государственности внутри «соединенной Европы» посредством «защиты прав человека» буквально пронизывает Хартию. Начинаясь с отрицания национальных государственных форм (разнообразных систем правления, опирающихся не только на отвлеченно-юридический закон, но и на обычай, то есть на сложный комплекс традиционных духовно-бытовых устоев, выработанных веками национально-исторической жизни), Хартия в конечном счете отрицает и вообще государственность стран-участниц жесткого объединения, да и обозначение «государство» относительно этих стран на поверку оказывается достаточно условным.

«Эти будто бы государства, эти тени государств будут разниться между собою не более штатов северной Америки и кантонов Швейцарии», — провидел насчет государственного облика будущей «соединенной Европы», единой «Все-Европы» великий русский мыслитель Константин Леонтьев[9]. И добавлял: «Разве такая общеевропейская республика не есть совершенное вырождение прежней культуры западной? Разве это не падение всех отдельных больших государств...»

Но любопытно заметить: правительства

[8] Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе.

[9] Здесь и далее подчеркивания в цитатах авторские. — Т. Г.

государств-участников общеевропейского *слияния*, мобилизуемые, по условиям Хартии, к противогосударственной деятельности в своих странах, главы правительств, отчуждаемые и отчуждающиеся от своих государств, — как ни странно на первый взгляд, — не идут при этом против личных своих интересов. «Интегрируемые» в масштабе «новой Европы», эти правительства (и прежде всего главы государств) ощущают себя *вато* частью некоего *сверхаппарата*, осуществляющего единое верховное правление на огромном «едином пространстве» невиданной *сверхимперии*, пред которой лишь микрокосмом выглядят все бывалые прежде империи с их «провинциальными», узко мыслившими правительствами.

В учете этого, кстати, нетрудно понять, что непопулярность какого-либо лидера внутри его страны, с точки зрения идеологии «соединенной Европы», отнюдь не является недостатком в характеристике этого лидера, знáком его политической неспособности. Даже напротив: высокая степень отчуждения от прямых интересов своего государства и народа служит показателем полной пригодности этого лидера для «всеевропейского», а затем и всемирного управления. Это, конечно же, полное падение государственно-политической культуры, культуры государственной власти. И непроста в современной «новой Европе» мы наблюдаем удивительное, достаточно уникальное в истории едва ли не полное отсутствие *личностей* на вершинах власти: сонм или корпус легко заменяемых и дублирующих друг друга марионеток — таково унылое впечатление от множества находящихся на виду «крупных государственных деятелей» соединенного «новоевропейского» мира. Их пресловутое «взаимопонимание» строится на однообразии их нетворческих задач, на бескрылости, варварской упрощенности их «цивилизованного» взгляда на человечество и законы мировой жизни; на общей их неспособности к индивидуальному поведению...

Но уместно, наконец, указать, что за всей этой *новой*, унифицирующей теорией государства, отрицанием внутренней государственности в непомерных рамках «соединенной Европы» (и мира) проглядывает особая тема: возможность сравнения этой теории с коммунистической теорией постепенного отмирания государства в утопических условиях бесклассового, безнационального, «самоуправляющегося» по волшебному «щучьему веленью» так называемого «коммунистического рая». Не очерчивая подробно эту закономерную параллель, отметим лишь ультракосмополитический характер обоих, рожденных на Западе умозрений и ту именно степень разрушительного космополитизма, при какой «внегосударственный», «внеобщественный» человек с его самочинными «правами», правами, ушедшими от гармонического единства с обязанностями, — возвращается руслом прогрессивного *регресса* к дальнему своему «истоку», сводится к «голому» *биовиду* с бесконечной тенденцией *упрощения* — хоть и до стадии химического вещества. Это упрощение может, впрочем, выразиться и в превращении человека в машину, биоробота, механизм со строго запрограммированными функциями, который незримо управляется на расстоянии, с некоего общего пульта, о чём мечтают — также весьма упрощенные, оскудненные или извращенные, сравнительно с духовною нормою homo sapiens'а, — члены мирового правительства.

Мысль о современном оборотне-прогрессе зародилась еще при первых багровых лучах «заката Европы», раньше других встревожив русские умы, имевшие возможность оценивать развитие западного индивидуализма с определенной, выгодной для наблюденья дистанции — покуда Россия не была «интегрирована» ни в процесс «мировой революции», ни в процесс всемирной «демократической» капитализации. Так же ясным было еще столетье назад неизбежное схождение крайностей индивидуализма с крайностями коллективизма — *встречное* движение двух антагонистических идеологий в жерле черного туннеля «всесветной ассимиляции».

Но обратимся к самим, фетишизированным сегодня «основным правам человека» — этому инструменту разрушения государств и наций, столь священному для «новой Европы». Быть может, хоть нынешнему поколению «новых европейцев» они с надежностью гарантируют сносное существование (а после нас — пусть потоп!)?

«Мы подтверждаем, — пишут учредители внегеографического европейского суперконтинента, — что без какой-либо дискриминации каждый человек имеет право на:

свободу мысли, совести, религии и убеждений,

свободу выражения своего мнения,

свободу ассоциаций и мирных собраний,

свободу передвижения;

...каждый имеет также право:

знать свои права и поступать в соответствии с ними,

участвовать в свободных и справедливых (?) выборах,

на справедливое и открытое судебное разбирательство в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления,

владеть собственностью единолично или совместно с другими и заниматься свободным предпринимательством...»

«Поощрение свободного предпринимательства» — повторяется и далее в тексте Хартии и является, пожалуй, единственным непосредственно *деятельным* правом человека.

Забегая вперед, скажем, что, согласно последней главе Хартии — о «новых структурах и институтах» демократической «соединенной Европы», «свободным и справедливым выборам» в новообъединенных «наших странах» будет — для соблюденья *свободы* — придан некий «конвой» (со штаб-квартирой поближе к советской границе): «Мы принимаем решение, — заявлено в Хартии, — создать в Варшаве бюро по свободным выборам для содействия *контактам* и обмену информацией о выборах в государствах-участниках». Это, конечно, не слишком согласуется с обещанной суверенностью государств, где будут происходить «свободные выборы». Обязательность международных контактов при избрании в органы внутригосударственной власти (и, пожалуй, при самом выдвижении кандидатур?) вносит резкую поправку к безусловной *свободе* выборов. Она, очевидно, продиктована интересами всемерной защиты «единственной системы правления в наших странах» от возможного, противоречащего этой системе волеизъявления народов. Вместе с тем названный внешний контроль над свободою внутренней политической жизни той или иной страны, организованное международное конвоирование этой свободы, какими благими намерениями ни принаряжало бы оно себя, приводит на память недавние «инициативы» наших пионеров демократии, предлагавших, скажем, ввести в «плюралистской» печати «запрет на несвободную мысль»[10]. Ибо, как ни глубокодумны авторы «Парижской хартии», нет-нет и сбиваются они на гротесковый стиль мышления, а просвещенная демократия явственно припахивает казармой.

Что ж до начальной «прописи» перечисленных «прав человека» — прав на «свободу мысли, совести, религии и убеждений», — ясное дело, «свобода совести», запятой отделенная от «свободы религии», указывает на истинно демократический плюрализм совести у «новых европейцев», а тем самым — на достаточно безрелигиозный характер «единой Европы», лишь внешне, пожалуй, декорированной формальным институтом Церкви... Кстати, о месте, роли религии и церкви в «новой Европе» Хартия особо не поминает, хотя среди прочих ее подписал Святейшего престола кардинал Агостино Казароли... И в связи с этим равнодушием к религии, отмечающим парижский документ, трудно снова-таки не вспомнить прогноз Константина Леонтьева насчет будущей, по его предсказанью, «общеевропейской республиканской федерации» или «Соединенных Штатов Европы»: «...кое-какая религия останется, быть может, только терпимой, как личная потребность многих, терпимая не из уважения к ней, а из снисхождения к слабоумию и малодушию молящихся»...

Бездуховность, даже антидуховность как исходная философско-идейная почва «новой Европы» просматривается и в «гуманной», назойливой формуле «человеческого измерения». «Механизм человеческого измерения, — читаем в специально посвященной ему главе Хартии, — доказал свою полезность, и поэтому мы исполнены решимости расширять его...»

Он, как известно, расширяется уже семь веков (начиная с эпохи европейского Возрождения, когда человек был провозглашен «царем природы» и «венцом творенья»), и «человеческое измерение» (государства или Вселенной) — в сущности, стародавний принцип и практический метод антропоцентрического сознания, залог того крайнего индивидуализма, что надежно ведет и к распаду личности, и к уничтожению, исчезновению человека как *вида*. И во всяком случае при исповедовании универсальности «человеческого измерения», «доказанной полезности» его «механизма» непросто поверить в экологическую безопасность «новой Европы», обещаемую в «Парижской хартии»: слишком уж настораживает опыт прожитых европейских столетий — XVIII, XIX, почти исчерпанного XX — с нараставшим человекобожием, уродливой гипертрофией агрессивного гуманизма.

Здесь стоит заметить, что *гуманизм*, в приверженности которому не устает клясться «цивилизованный мир», менее всего предполагает *гуманность*, милосердие, мягкую, сердечную человечность. Это, напротив, вовсе несентиментальное учение, которое принимает в расчет не человека слабого, но человека «дерзающего» и развязывает в нем все экстремальные возможности, оставляя далеко в стороне проблему гармонии между человеком и миром.

Оттого-то на базе гуманизма односторонне выпячены *права* человека — «неотъемлемые» (ни при каких обстоятельствах?) *права*, которые только кажутся проявленьем заботы о нем, дальновидной и принципиальной заботой о человечестве. Они обусловлены не столько гуманностью, сколько чисто гуманистической идеей селекции и, с виду лакомые, прельщающие современного правостяжательного человека, служат в действительности интересам лишь особого сорта людей. Вымечтанные некогда в определенной социальной среде, заявленные определенным сословием — «третьим сословием», то есть буржуазией, — это вполне определенные права, подразумевающие вполне определенные, юридические свободы. И под словом «человек» — «права *человека*» — понимается тут не вообще человек, но определенный социальный тип, взятый за точку отсчета и человечества, и всего мирозданья. А с другой стороны, не следует, конечно же, забывать, что юридические свободы не обеспечивают с безусловностью свобод реальных. И уж само собою, что задача свободы духовной — этот верховный признак развитой человеческой личности — никак не вмещается в рамки юридических свобод. Впрочем, эта свобода и не нужна — ибо совсем не знакома — тому социальному типу, во имя которого были начертаны в европейском XVIII веке «права человека»... Социальному типу, который при всем современном его торжестве знаменует собой деградацию человеческой породы.

Западную прагматическую скрижаль с «правами человека» нам преподносят сегодня как последнее, внеконкурентное

[10] Это ультрадемократическое предложение принадлежит здешнему публицисту Льву Овруцкому, на чем я любознательно останавливалась в своей статье «О «русскости», о счастье, о свободе» («Наш современник» 1989 г., № 7 и № 9).

слово общественно-политической мысли, как залог благоденствия народов и государств, гарантию безопасности и неущемляемого развития каждого жителя «правового государства». Но об этих-то именно «правах человека», в пользу которых четверть века тому организовывалось в нашей стране пресловутое «правозащитное движение»; об этих-то именно «правах человека» и «правовом государстве», не сходящем с уст сегодняшних демократов, перебежчиков-коммунистов, народных депутатов разных партий и групп, — с иронией и презрением писал в 1836 году Пушкин. Писал, откровенно насмехаясь над повальною ныне правовою мечтой:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, *слова, слова, слова*, —
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?..

В этих немногих строках, посвященных западноевропейской демократии пушкинского времени с ее «громкими правами», умещается, по существу, и вся законотворческая деятельность наших Верховных Советов, и краснобайство ораторов на Съездах народных депутатов — оценка той разливанной демагогии, какою сопровождается у нас слепое, жалкоподражательное, безмысленное «строительство правового государства». А зависимость «от народа», которую отвергает здесь Пушкин, наравне с угодничеством перед царем, есть вопреки бытующим вульгарным прочтениям зависимость не от *народа* в прямом и величественном смысле этого слова, но как раз зависимость от *демократии* (так называемого «народовластия») — той самой «единственной системы правления», которую заявляет теперь «Парижская хартия» и которая служит на деле защите меньшинства от большинства.

В этой демократии народ выступает в лучшем случае только «источником власти» (как толкуют современную демократию иные словари), но не носителем власти. Источником, то есть *средством* обретения или захвата власти. Причем — источником, достаточно бессознательным в условиях, когда печать (и шире — средства массовой информации вообще) *свободно* (говоря пушкинскими словами) «морочит олухов»...

Лишь политическая неграмотность — надо снова подчеркнуть, — забвение или незнание истории русской политической и государственной мысли, а вместе с тем чрезвычайная доверчивость или романтизм нашего народа, парадоксально сохранившего *высоту* духовных своих представлений, высоту толкования давно уже спекулятивных понятий, — стали причиной нынешнего успеха у нас лозунгов демократии и «прав человека».

Эта неграмотность или *простота* и, если угодно, неиспорченность, сравнительно с публикой «цивилизованных стран», не позволили, например, миллионам советских телезрителей понять вырвавшееся еще на Первом Съезде народных депутатов СССР проклятие одного из ораторов по адресу «агрессивного большинства» зала... Это проклятие было понято просто как обличение «партократии», и ближайшая нацеленность хлесткой формулы заслонила ее глубинный смысл, принципиальное значение. Между тем «агрессивное большинство» — характерная, стойкая категория демократического сознания, указывающая на постоянную опасность для демократии: «агрессивное большинство», на языке демократа, это вообще и прежде всего большинство *народа*, это сам народ, от которого готово вооруженно защищаться идущее к власти или получившее власть демократическое меньшинство. Своими дерзкими, «героическими» обличениями демократы умеют вносить раскол в романтическое (неполитиканствующее) большинство; создавать в простодушных слоях его комплекс вины и неполноценности; играя на лучших чувствах, на не умершей еще традиционной народной морали, обезоруживать это большинство: в противостоянии простоты и лукавства, совестливости и цинизма последний способен на время побеждать, и народ, вкладывая *свои*, первозданные, духовные смыслы в слышимые им чисто политические, демагогические лозунги демократии, даже вручает власть враждебному ему меньшинству... Но пора, наконец, и осознать, что гневные и презрительные нападки того же «народного депутата» Ю. Афанасьева на «агрессивное большинство» Первого съезда и позднейшая откровенность президента Всемирного еврейского конгресса Э. Бронфмана: «Я не устаю повторять: суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства», — на глубине и по сути абсолютно смыкаются. Это — в разных обстоятельствах выраженная *единая* политическая позиция. Позиция буржуазной демократии. Именно буржуазной, даже если она некоторое время вынуждена пользоваться криптограммами «демократического, гуманного социализма» или «социализма с человеческим лицом». «Человеческим» — в меру демократических представлений о человеке: человеке-предпринимателе, человеке — денежном мешке...

Как власть, выражающая интересы меньшинства, демократия естественно чревата диктатурой и никоим образом не является «альтернативой тоталитаризму», за которую она себя выдает. Редко где демократия — как, например, в Англии — избежала откровенно-жестокой своей стадии диктатуры. И это связано не с существом демократической (буржуазной) системы, но, напротив, с национальными коррективами к нему, объясняется своеобразными формами сочетания «демократических институтов» с традиционно-сословными, историческими

установлениями. Да и то об отсутствии диктатуры можно, пожалуй, говорить лишь применительно к метрополии, к собственно Англии: судьба ирландцев, к примеру, с ясностью выдает мнимость «защиты *всех* меньшинств» и достаточную суровость демократического диктата.

Что ж до тоталитаризма, то сам замысел «соединенной Европы» при «единственной политической системе», как и перспектива «всемирной республики» с единым мировым правительством, неспроста возникли на почве демократического сознания, демократической практики. Это, покуда еще таящееся, мировое правительство призвано осуществлять не что иное, как именно диктатуру, глобальную по сфере своего действия. И напрасно поклонники «прав человека», выступая «в поддержку демократии», думают, что наличие этих «прав» упасает от крайностей диктатуры или что новая, демократическая диктатура в общем-то безопасна и, в отличие от коммунистически-партийной, а также внеюридической военной, будет бескровною. В функции мирового правительства при всех «демократических институтах» и, собственно, с помощью их входит на деле организация небывалого, превосходящего всякое воображение, фантастического, казалось бы, по масштабам геноцида. Мировое правительство, демократически присягающее защите меньшинства от большинства, призвано в современных условиях разрешить сообразно названной социальной задаче именно демографическую проблему, сведя населенность земного шара к той «разумной достаточности», при какой «лучшему», *избранному*, демократическому меньшинству хватит для благоденствия оставшихся на планете источников сырья, энергии, «источников питания и водоснабжения»... Именно этой «разумной», «гуманной» заботе о приоритетном меньшинстве служит «интернационализация» природных богатств многих, в том числе «новоевропейских», вовсе не суверенных уже стран, — «интернационализация» ради дальнейшего *спецраспределения*.

Видимая утопичность поставленной демократической цели — в несколько раз сократить «неэкономичную» численность населенья земли — не должна уводить от оценки «всеевропейского» и «всемирного» демократического процесса. Следует осознать, что меньшинство, интересы которого защищает эта хваленая демократия, есть самое малое из всех возможных меньшинств, обладающих привилегиями при других системах правления.

И вот в перечне «основных прав и свобод» человека, священных для «новой, единой Европы», неспроста не отыскиваются и впрямь *основные*, неоспоримо насущные для жизни людей права. Так, нет здесь права человека на социальную защиту. Со стороны государств. «Человеколюбивых» правительств... Элементарную социальную защиту. Вроде права на кров. На простой кусок хлеба... Нет и *широкого* права на труд. Ведь «предпринимательство», «индивидуальное предпринимательство», только и защищаемое Хартией, далеко не исчерпывает собою творчески-трудовых устремлений, возможностей, видов призвания человека!.. Нет и права на образование (и множества тех социальных прав, которые в западных странах трудящиеся получили путем длительной, на протяженье столетий шедшей *борьбы*, а не в силу общих, исходных принципов буржуазной демократии)... А право на «свободу *передвижений*» сиротливо и даже тревожно выглядит без *права на оседлость*. Ведь если применить это к нашей стране, то (выходя за рамки собственно эмиграции) с передвижениями у нас — слишком теперь хорошо! Только эту «свободу», по-нашему, надо бы назвать «правом на *беженство*», свободою быть в *бегах*. Жить «меж землею и небом», без кола и двора. Свободою без (человеческой) жизни... А вот пра́ва на оседлую жизнь на земле своих отцов, дедов, пращуров издавна практически лишены миллионы наших сограждан. И бездомность людей в пресловутом огромном «общеевропейском доме» не утверждается ли уж на веки веков теми выборочными, второстепенными правами человека, которые столь торжественно подтвердили руководители государств, собравшиеся в Париже?

Это и впрямь второстепенные по большей части права. Права для благоустроенных. Права для сытых. В них пропущены целые звенья, касающиеся самих основ существования, важные для человека, не пробившегося еще в класс буржуа, нужды которого отражены в этих *верхушечных* демократических свободах. Или — не опустившегося до пограничного с крупною буржуазией и в значительной мере прямо слитого с нею преступного мира, который получает ряд дополнительных возможностей уйти от судебного наказания...

«Поощрение свободного предпринимательства» — неким рефреном проходит по Хартии. И нельзя не оценить острой пикантности того, что под этою клятвой стоит подпись Генерального (по совместительству) секретаря крупнейшей коммунистической партии (КПСС), напомнив при этом, что, по мнению европейских же социологов, склонность к предпринимательству во всех странах имеет только 5—7 процентов населения[11], и социально-психологическое исключение тут составляет разве Израиль: при проведении в этой стране переписи населения свыше 90 процентов граждан ее назвали себя предпринимателями.

Таким образом, право «свободного предпринимательства» или «свобода индивидуального предпринимательства» — это право для заведомого *меньшинства*, утверждающего свой приоритет в мире.

«Все это, видите ль, слова, слова, слова», — замечал Пушкин насчет насущности, благотворности, да и действитель-

[11] См. об этом в статье доктора философских наук Е. Седого «Кому и что приватизировать?» («Московская правда», 20 ноября 1990).

но широкой адресованности «громких прав», которыми хвалится демократия. А советская пресса при всех обязательных теперь для нее симпатиях к «демократической системе» нет-нет и приоткрывает завесу над реальными правоносителями — над тем меньшинством, что, по замыслу демократических юристов, должно быть облечено правами. Оно имеет, оказывается, не один лишь социальный, но и национальный признак. Стоит вдуматься, например, в исповедь президента «неправительственной организации» — Всемирного еврейского конгресса — о его недавней, инспекционной, видимо, поездке в Москву. «Мы встретились также с новым министром внутренних дел, — повествует уже поминавшийся здесь международный демократ Э. Бронфман. — Это очень важная фигура. В свое время он работал в КГБ, а теперь отвечает за обеспечение правопорядка по всему Советскому Союзу. Он начал наш разговор с заявления, что ему известно, где я был накануне, то есть у Горбачева. Я решил, что это позволяет мне прочесть ему небольшую лекцию. Я говорил о правах меньшинств. Я сказал, что мы очень внимательно регистрируем все антисемитские инциденты по всему миру. Надеюсь, вы понимаете, заявил я ему, что со времени окончания второй мировой войны деятельность государств в сфере прав человека оценивается по тому, как они относятся к своему еврейскому населению. Мы будем за вами очень и очень внимательно следить»[12].

Эта «небольшая лекция» с предостережением, завершающим ее, не допускает никакого простора для вольных «кривотолкований» до предела суженного понятия «национальных меньшинств» (которые исчерпываются одним-единственным — еврейским — меньшинством, подлежащим защите). Или строго выясненного понятия «человек» в формуле «права человека»... Облеченный правами человек — это, по логике назидательного текста («Надеюсь, вы понимаете,..» — не сомневается «лектор»), только и именно еврей. Представитель нации (не забудем об этом!), наиболее склонной к занятиям «свободным предпринимательством», которое сугубо охраняется «Парижской хартией для новой Европы»..

Ясное дело, что «хорошее» отношение к «еврейскому населению», требуемое ревизором демократического правопорядка, вовсе не означает правового благополучия других наций, составляющих остальное население страны. Никакого автоматизма здесь, разумеется, нет, и нарочитая «лакмусовая бумажка» современной демократии может оказаться как раз «лакмусовой бумажкой» национального неравенства, национальной несправедливости. И даже — не может не оказаться таковой... Но откровенное пренебрежение ко всем остальным нациям (отношение к которым не признается критерием для оценки «деятельности государств в сфере прав человека», так что

[12] «Советская Россия», 22 января 1990.

надзиратели демократии «очень внимательно регистрируют» лишь «антисемитские инциденты»), — это пренебрежение, выраженное кремлевским гостем, нисколько не противоречит известной уже нам сути демократии. Демократии, которая маниакально озабочена борьбой «против всех форм... антисемитизма» (как читали мы в Хартии), охраняя тем самым капиталистически «предрасположенное», капиталистически «способное» меньшинство. Демократии, при которой селекция национальная «непроизвольно» служит селекции социальной и «национальная самобытность» народа, как и праводостойность отдельного человека, меряется безнациональным, по существу, капиталом или «деловыми качествами» применительно к организации капиталистического производства...

Это откровенное пренебрежение ко всему «остальному» населению не противоречит и наблюдаемой нами ежедневной практике — глубокому равнодушию всей международной демократии к ущемлению прав русских или осетин, поляков или абхазцев в различных республиках нашей страны, «выбравших демократию». И соответственно — безучастность к судьбе всякого «неприоритетного» населения со стороны правительства СССР или России, со стороны «суверенных» Верховных Советов ничуть не умаляет демократического престижа лидеров «советской перестройки» на мировой демократической арене. Вспышки международного демократического негодования и тревога за ход «демократического процесса в СССР» возникают разве что в случае робких и единичных попыток отстоять равноправие русских, так называемого «русскоязычного населения»: мысль о национальном равноправии расценивается как «угроза демократии», — и это и впрямь угроза ей, если не заблуждаться насчет данной политической системы!

Взращиваемые под сенью демократии черты фашистских режимов на территории нашей страны безоговорочно вписываются в идеологию «новой Европы» — как и в идеологию Европы «старой», скажем — довоенной, и закономерно подтверждают, что «деятельность государств в сфере прав человека» отнюдь не предполагает правового равенства ни людей, ни наций. А яркие признаки антирусской направленности выступлений и действий, например, Председателя Верховного Совета России, коммунистического расстриги — Ельцина, ущерб интересам национального большинства в политике этого новобранца демократии позволяют заметить, что об истинном, «незамутненном» лице демократии легче судить по демократии молодой, неофитской (как вот эта, российско-парламентская, к примеру), по демократии, еще не припудренной, не выработавшей ловких форм лицемерия, не отточившей лукавого языка для прикрытия слишком уж «компрометантных» замыслов. По демократии, не умудренной страхом перед гневом народных масс, огромного «остального» населения, или того «агрессивного

большинства», что покуда еще в растерянности слушает кастовую петушиную песнь невоспитанно алчной, напрямик кровожадной, по младости, демократии...

Демократия умудренная (как сегодня в западных странах), в полной мере развившая инстинкт самосохранения, — не меняя своих стратегических задач, между тем тщательно совершенствует тактику. Сохраняя резкое и весьма упрощенное, в сравнении с предшествовавшими обществами, социальное разделение, что стремится лишь к двум неравноправным разрядам, — она отказывается, однако, от безусловного, первоначального своего экстремизма и с разумностью повышает социальный и правовой уровень в «нижнем этаже» общества, от чего, конечно, не устраняется неодолимый контраст между меньшинством и большинством.

Демократия умудренная, как напоминают сейчас нам западные же социологи и экономисты, испытала «колоссальное воздействие социалистического развития в России», будучи вынужденной «для того, чтобы выжить», «значительно трансформировать себя, вводя в свою структуру целый ряд социальных гарантий трудящимся». Эта трансформация или различные формы и степени «самоотрицания» западной буржуазной демократии происходили под давлением организованного рабочего движения внутри капиталистических стран и оказались неотвратимыми не в условиях демократического тоталитаризма, на котором строится сегодня «новая», «единая демократическая Европа», но в условиях мирового противостояния социализма и капитализма. Нужды этого противостояния в огромной мере продиктовали старому капитализму с его демократией нетрадиционные, нововыкованные черты, которые обеспечили его выживание в XX веке... Многочисленные исторические «поправки» к западной демократии обусловлены не ее собственной природой, не законом ее неизбежного «саморазвития», но, напротив, ее маневренным отступничеством от «чистоты» демократического идеала.

Но нелепо было бы думать, что становление демократии можно начать «с конца», отменив путь развития, упразднив процесс роста, который требует длительного исторического времени и проходит обычно через тяжелейшие мутации... А внеисторичность, насильственность, то есть заведомая неорганичность, вводимой, ввозимой к нам из-за моря «благодетельной системы» — верный залог чрезвычайных, физически непереносимых для народа, для «неприоритетного» населения трудностей роста этой системы — от ее неуправляемой юности до умудренной по-западному старости... Ведь следует трезво, наконец, осознать, что на наших глазах производится слишком уж дерзновенный исторический подлог: взамен удовлетворения непреложной общественно-исторической потребности в оздоровлении и творческом самопереосмыслении нашего строя, в выправлении перекосов, в реконструкции социально-аварийных «перекрытий» внутри оседавшего здания социализма; взамен устранения чисто капиталистических очагов (обратное воздействие — мирового капитализма на социализм!), чисто капиталистических аномалий, грозных злокачественных образований в теле советского общества, — коварно затеяно было попросту сокрушение здания с полной расчисткою «стройплощадки» от какой-либо социалистической «пыли»; втайне задумано было не иссечение опухоли, но кровавая рубка всего организма, ампутация легких и сердца, всех жизнеобеспечивающих органов. Взамен излеченья, допустим, холеры — прививка («цивилизованного», цивилизаторского) спида... Взамен новой теории социализма, исчерпавшего до абсурда свой марксистский, космополитический и безбожный исток, — вместо новой, национально-претворенной и духовно обогащенной теории социализма, зачерпнувшей народного опыта, а не горя чужекнижных наук, — подложена старая, механически, словно марксизм, пересаживаемая на истощенную нашу почву, безнадежно убогая духом теория капитализма с самой хищнической практикой «демократически» узаконенной уголовщины: экономической, внешнеполитической, государственно-управленческой, психологической, идейно-моральной... Взамен трудного, может быть, героического рывка вперед предложена широкая программа ускоренного регресса, с заржавленным скрипом колеса истории, поворачиваемого вспять под парламентские аплодисменты «всего цивилизованного мира»... А успешность всего этого, вроде — невероятного, подлога, этого «самоуничтожения» социализма обусловлена тем, что исходил таинственно выношенный и нежданный подлог из самых высоких и, значит, казалось бы, самых надежных коммунистически-партийных верхов; и долгое время народ доверчиво полагал, что эти «очнувшиеся» от застоя верхи имеют общие с ним, «остальным» населением, социальные, государственные, национальные и духовные цели... Так вот, посредством обмана, при подмоге начиненного адской взрывчаткой троянского коня «социалистической перестройки» даровано было нам «общечеловеческое», «необратимое» и необсуждаемое «благо» первобытно-капиталистической, криминально-буржуазной демократии.

Вывеска «социалистической перестройки» вполне оправдала связанные с нею расходы по демагогии. Тем более что масштабный смысл этого «скромно-рабочего» термина, подразумевающего как будто мирно-производственный, хоть и сложный, процесс внутри суверенного государства, не был известен народу. Не было ведомо ему, что термин-то вовсе не внутреннего хождения, что процесс-то за ним — общемировой, и потому уж хотя бы не собственно-социалистический. Что «перестройка» — это «перестраивание», а точнее — великий передел мира. Империалистический передел, одним из объектов которого стала наша страна. Причем — ключевым объектом: ей назначена была роль «правофлангового» в

этом всемирном по замыслу и широкому осуществлению процессе. Ибо империалистический передел мира не был возможен без крушения социализма на одной шестой части суши, без крушения оплота социализма — его материально-сырьевого, а не только политического оплота... И поскольку «правофланговая», ключевая — в планетарной программе — страна ослепленно пошла семимильными шагами к извне поставленной цели, частые нынче сетования: «перестройка захлебнулась», «кризис перестройки», «перестройка зашла в тупик» (и т. п.) — мало соответствуют истинному положению дел. «Захлебнулась» — разве что социалистическая «перестройка», объявленная, но вовсе не бывшая в плане работ, даже и начисто исключаемая этим надгосударственным, транснациональным планом. «Захлебнулась» — в нарастающих бедствиях, приговоренная и уже умытая кровью, — сама наша страна; «зашла в тупик», впала в отчаянный кризис сама наша страна благодаря несомненным как раз успехам «перестройки», — если учесть подлинную разрушительную нацеленность этого международно организованного и контролируемого «мероприятия»...

Сегодня это «мероприятие», по возможности опуская уже и слово «социализм», склонно называть себя в СССР «демократическими преобразованиями», не отказывая себе в чести именоваться также и «революцией». Это и впрямь революция, именно: буржуазно-демократическая. И не случайно в ходе ее (якобы — мирной) — «незаметно», «непроизвольно» — физически вооружилось население: революция неотвратимо нуждается быть скрепленною кровью, и это вполне применимо и к здешней, «мирной», «гуманной» буржуазно-демократической «перестройке». В упоенье своими победами, обеспечиваемыми бессознательным демократическим рвением ее же собственных жертв, эта революционная, буржуазно-демократическая перестройка все более «раскрепощается» в своих декларациях и речах, расставаясь с эзоповым языком — социалистической фразеологией. Это все еще трудное, потому что опасное, расставание—ввиду «отсталости» масс, которые, увы, «еще только учатся демократии», то и дело сбиваясь на старое (социалистическое) мышление. Поэтому ответственнейшие лидеры «великого дела перестройки» дерзают лишь казуистически сочетать мертвенные в их устах социалистические заверенья с искренним голосом своего алчно-демократического сердца. Но подмастерья, неотесанные каменщики нашей буржуазной перестройки, нетерпеливо кинулись обнажать ее частнособственническую, непримиримо-классовую суть, ее замкнутость на интересы империалистических монополий. Они злобно рассчитываются со своим затяжным коммунистическим прошлым, скандально выламываются из родимых, единофамильных рядов коммунистической партократии, едва удерживающей на лице облупившуюся «социалистическую» маску, и предвкушают с новой своей, свежевыкрашенной «демократической платформы» близь небывалого еще (даже для нашей страны), тотального демократического террора...

Может статься, что именно их корабль, не темнящий своих опознавательных демократических знаков, этот именно право-радикальный корабль — сколько бы «левых маршей» ни гремело с его многолюдных палуб — окажется флагманским. Может статься, что близкое будущее принадлежит именно им, топорной выделки «оголтелым», — как принадлежит оно откровенно-фашистской диктатуре, закономерно вызревающей из самых «свободолюбивых» недр демократии (если понимать фашизм не фигурально, а точно — как крупнотеррористическую власть крупной буржуазии)... Может статься, что те, кто, надеясь в аккурат домчать страну до той же бездны, временами опасливо, мудро напоминают себе: «тише едешь — дальше будешь», — будут все-таки скинуты с шаткого облучка при свободной личной конкуренции внутри перестроечной демократии: это зависит от местных особенностей страны, от темперамента дружно обманутых масс, от их плачевного выбора между огнем и полымем, как, разумеется, и от верховной воли «новой Европы» — «всего мирового сообщества»...

Может статься, однако, что взаимно ревнивые, разностильные, но единосущные наши лидеры демократии долго еще, дурача народ, будут служить друг для друга славными громоотводами...

Но во всяком случае любопытно коснуться сейчас отношений матерых зарубежных демократов с нашими новообращенными кормчими — вроде, к примеру, такого «без лести преданного» лакея западных свобод, как Председатель Верховного Совета России с его демократической и капиталистической (ныне) «душой нараспашку». Некая осторожность на замесе с легким презрением отличает, с зарубежной стороны, эти отношения. Осторожность, не мешающая общему цинизму «матерых». «Президент ВЕК, — сообщает «Советская Россия», — подробно рассказал о встречах с советскими руководителями, принявшими его... Мы беседовали с Борисом Ельциным, отметил он. Это очень колоритная фигура, немного напомнившая мне Хрущева — в плане грубоватости. Но Ельцин — единственная альтернатива Горбачеву. Он интересовался, почему мы не воспринимаем его более серьезно — ведь он поборник свобод. Только что он призвал солдат не подчиняться приказам...» Да потому и «не воспринимают» вполне серьезно! — хочется разъяснить уклончивый ответ президента ВЕК. — Из-за чрезмерной «колоритности», которая делает этого эпического, с «былинным» размахом, «поборника свобод» («Только что он призвал солдат не подчиняться приказам...») все же похожим на... слона в посудной лавке куда более утонченной, более дальновидной теперь, «артистичной» в приемах и формах западной демократии. Стандарту которой лучше соответствует тот же Горбачев... Но что до существа дела, «грубовато» выявляемого Ельциным сердцевинного смысла демократии, — все сказанное не отменяет принципиальной правоты многих наших демократических депутатов, которые называют этого могучего «вышибалу» социализма символом демократии, ее незаменимым оплотом и надеждой. Он и впрямь оплот и демократической анархии, и демократически вызревающего тоталитаризма, обнажая разом обе — «левую» и «правую» — крайности демократии. Обе крайности, ни одной из которых демократии, вообще говоря, не дано избежать.

Сдержанность в восприятии «очень колоритной фигуры» махновствующего демо-диктатора со стороны опытного заезжего ревизора более чем понятна. Ведь крутая, отважная откровенность («Да, я на стороне США!» — с большевистскою прямотой может выпалить перед телекамерой Ельцин в дни империалистической агрессии против Ирака), «грубоватость» и безоглядная «открытость», по уточненным сегодня нормам «цивилизованного мира», уместна все-таки не в «прямом эфире», не на широковещательных трибунах Верховных Советов не готовой еще к демократии (и стриптизу ее) страны, — но на самом высоком уровне: при беседах в тесном кругу «единой семьи» управителей, где сверкают и «слезы на глазах» — слезы взаимной демократической нежности; незримые миру, то есть народу, слезы...

Вот ведь и откровенность «неправительственного» инструктора «советских руководителей», президента ВЕК адресована вовсе не нам. То, что он говорил в Кремле, то, что ему говорилось, не рассчитано было на широкую публику, а тем паче — на «остальное», «неприоритетное» наше население. И «Советская Россия» опубликовала изложенне той речи г. Бронфмана, что была произнесена в «культурном центре... одной из еврейских общин Нью-Йорка». И, конечно, вряд ли следует думать, что российский читатель получил исчерпывающую информацию о содержании теплых московских встреч за демократически закрытою дверью.

Тем не менее стоит внимания — для уяснения разнообразной тактики даже нашей, незрелой еще демократии — конспективный рассказ о «целых 55 минутах», проведенных «гуманитарным» гостем «с Президентом Горбачевым» — «обаятельным человеком». Само собою, «мы говорили о продолжении исхода евреев» — «потому что условия там (в СССР.— Т. Г.) ужасные... Экономическая ситуация просто пугающая». И в связи с их разговором о дальнейшем исходе — спасении «приоритетного» населения г. Бронфман интригующе сообщает: «Это было захватывающе (?) интересно». А «когда я перевел разговор на Израиль, — продолжает «неправительственный» президент, — он («обаятельный человек». — Т. Г.) сказал, что с симпатией относится к Израилю...» Что ж, это вполне в духе демократической морали, которая легко допускает «симпатию» к расистскому государству. Как и в духе «Парижской хартии», предписывающей заботу о «свободе передвижений», — вдохновенное обсуждение проблемы «исхода евреев» из «экономически пугающей» страны... Можно, пожалуй, разве посетовать, что параллельная проблема — исхода русских, к примеру, — исхода не в зарубежье, а в Россию из более «цивилизованных» или более демократизированных союзных республик вряд ли обеспечена «потрясающе интересными» практическими подробностями, продуманными Президентом СССР. Но подобные сетованья означали б забвение устоев демократии, ее священных «приоритетов» в отношении к разносортному населению...

Между тем кремлевский гость с полной бескомпромиссностью напоминает о глубине этой разносортности. О праве для «избранных» не только в пределах нашей страны, но на всей карте мира. Говоря о «видимо, неизбежной международной конференции по Ближнему Востоку», он уверен, что Израиль, с его «приоритетным» населением, вправе «заключить сделку (!) на собственных условиях», и не допускает, что «симпатичное» государство «можно заставить пойти на эту международную конференцию, чтобы мир смог вновь сбиться против него в единую шайку, как он это уже раз сделал в ООН, когда была принята эта ужасная резолюция, приравнивающая сионизм к расизму и до сих пор никем не отмененная»... «Единая шайка» всего мира — и «священное», неприкосновенное даже для слова (философской резолюции) абсолютное меньшинство — вот классически-идеальная формула истинно-демократического воззрения. Вот — отважная откровенность, «открытость», не всегда, не на каждом шагу, не пред всеми, однако, уместная...

Но, пожалуй, главное, — если думать о тактике демократии, уходящей от примитивной, архаической «грубоватости», — мы находим в рассказе о путях, о маневрах политики внутри СССР. О различных, причудливых даже, «подходах» (как у нас говорят) к единому выходу... «Когда мы с Горбачевым беседовали, — повествует надправительственный эмиссар демократии, — я говорил ему о нашей (зарубежной.— Т. Г.) тревоге по поводу его значительного сближения с консерваторами. Он ответил: вам придется в этом на меня положиться, я знаю, что надо делать. Вопрос лишь в том, в какое положение переведен у меня рычаг скоростей. Мы движемся вперед, просто с разной скоростью».

Итак, если верить свидетельству почтенного президента ВЕК, разногласия, «конфронтации» внутри нашей, нововведенной, дерзостно-экспериментальной демократии и впрямь сводятся к нетрагическому конфликту «хорошего с отличным». Нетрагическому — для демократии. А что все мы проснемся во всамделишном, «необратимом» («иного не дано!») капиталистическом раю, — это

только вопрос невеликого и «ручного» времени: «Вопрос лишь в том, в какое положение переведен у меня рычаг скоростей»... Рычаг ручного управления небывалой истории... Так что международная буржуазная демократия может положиться на бывалого «механизатора», коммуниста-Президента?

«Чистая» суть демократии, узкая предназначенность и специфическое содержание «прав человека», культ «свободно-предпринимательского» — социального, а в пределе национального — меньшинства, все это вздорное извращение здравого смысла и чувства справедливости тяжко укладывается в непривычливое, «нецивилизованное» сознание. Абсурдность и, собственно, утопичность чисто-демократических установок такова, что обнародование их в их натуральном виде может показаться даже и клеветою на демократию — «настоящую демократию», произвольный образ которой взлелеяли многие наши соотечественники. Говоря «демократия», они держат в уме нечто не меньшее, чем социалистическая демократия, которая в полноте своей, к сожалению, не сбылась за все десятилетия Советской власти. Не сбылась, но полюбилась намеченным своим содержанием, социальными и правовыми нормами, той социальной справедливостью (социалистической справедливостью), что, в отличие от буржуазной, юридически-выверенной и суровой в оценке производительного труда, не оторвана от нравственного чувства, допускает «неэкономичную» доброту к человеку, некую, неразумную даже, снисходительность к нему — и на деле нередко как бы «добавляет» ему прав, авансирует его основными жизненными правами, не кичась этим и не требуя немедленной «отдачи», жесткого бухгалтерского расчета... В этих «писано-неписаных», как, быть может, стоит их назвать, практических нормах социалистической демократии («от каждого — по способностям» часто опережает в них педантизм, строгость правила: «каждому — по труду») заложена, разумеется, определенная возможность злоупотреблений; но нижний уровень социальных прав склонен зато к своей равномерности для общества в целом. А принципиальная неоторванность от нравственного чувства, гласно-негласный контроль со стороны неубитой стародавней народной морали, с которой вынужден состязаться социалистический закон; сама исходная отрешенность от диктата «непахнущих» денег, высвобождающая место для иных, все-таки духовных ценностей, — служат залогом возможного совершенствования демократии социалистической.

Жаждая этого совершенствования, советские граждане, не отчужденные друг от друга, мечтают преодолеть отчужденность между человеком и государством. И тут увлекает их лозунг «прав человека», прав, не регламентированных государством, которое, напротив, уступает даже свои права в пользу личных свобод человека. Что при этом оно неизбежно слагает с себя и обязанности, бывшие при правовом отчуждении, при повышенной «инициативности» государства относительно человека, — поначалу как-то не думается... Но главное, легковерно подхватывая на уста прельстительные «права человека», наши соотечественники (большинство их) бессознательно держат в уме не менее чем тот свод прав, что вписан был в «Сталинской Конституции» (Союза Советских Социалистических Республик), полагая, что щедрые, важные, справедливые эти права теперь, в царстве «ПРАВ ЧЕЛОВЕКА», стали бы наконец неукоснительно соблюдаться — под надзором самоотверженного и, конечно же, неподкупного «правового государства»...

И, привычным к своему опыту, к историческому опыту бывшей нашей страны, гражданам нашим пока невдомек, что тут, в «царстве прав и свобод», — вовсе другие права, жестко очерченные, а не произвольно воображаемые свободы. И нет тут свободы домысливать, дописывать из старой их памяти вынырнувшие права...

Ослепление «правовой» демократией столь велико, что «благородное» будущее «правовое государство» воистину представляется не иначе, как с молочными реками и кисельными берегами при «неотъемлемом» праве для каждого на эти сладкие реки и берега с разливанною песнью свободы над ними. Ослепление «утром демократии», пусть затянутым хмурыми тучами — надо думать, склубились в «проклятом прошлом»! — все еще длится. Даром что бурно развернута в нашей «пробужденной» — от долгого «социалистического сна» — стране капиталистическая «приватизация» и частная собственность, свобода наживы и право свободно награбленного приватного капитала претендуют на верховное, священно неприкосновенное место...

«С. Федоров на демократию смотрит через денежную купюру», — читаем, к примеру, упрек известному хирургу, народному депутату СССР, который раньше других окунулся в волны демократической наживы, как умелый пловец, ощутив в них свою, родную его натуре стихию... «Хотя настоящая демократия, — поясняют нам и врачу-бизнесмену, — кроме всего, это чувство свободы, достоинства, уважения человека, его уверенность в настоящем и будущем и, конечно, равенство всех людей».

Любопытное определение «настоящей демократии»! Жаль только, что в сказочной, по прекрасным приметам, этой картине присутствует «скромный» прочерк: «кроме всего...» Кроме чего?..

А рассуждает-то, в газете «Советская Россия» (1 февраля с. г.), даже не просто читатель, которому извинительна политическая наивность, и вместе с ней недомолвки — от неполноты сведений, но Государственный советник юстиции II степени... Кого обманывает он — себя или нас?

Но, так или иначе, сам язык этого гимна демократии — внезапная смазанность ряда демократических примет — выдает объективную уязвимость восхвалительной мысли.

Ибо в споре о демократии прав не советник юстиции, а хирург-практик. Прав, если «на демократию смотрит через денежную купюру». Он-то нешуточно знает, что реальная демократия (и тем именно «настоящая», что — реальная: утвержденная на Западе и утверждающаяся у нас!) — это, «кроме всего», то есть прежде всего, безусловное торжество плутократии. Плутократии и грамматократии, связанной с нею. Это власть богатых и власть образованных — «интеллектуалов», а иными словами — носителей «мелкой учености» (как говорила у нас в старину), которая позволяет им быть академиками, профессорами, докторами наук, адвокатами, журналистами, обслуживающими плутократию, получающими от нее дивиденды, срастившись духовно и экономически с прямыми, железными рыцарями демократической наживы.

«Теперь утверждают, что Литва, как и вся Прибалтика, сделала свой выбор и выбрала именно демократию. Так ли это? — сомневаются русские романтики на страницах коммунистической печати. — О какой демократии может идти речь, когда жители Литвы фактически разделены на касты, а от этого зависят их права, возможности жить, работать, получать образование...»

О какой (демократии)?.. О буржуазной. Единственной в современном мире, которая противостоит ославленной «настоящими демократами» демократии социалистической... И это о ней, о ней, «счастливо»-альтернативной социализму, буржуазной демократии идет вовсе не потаенная речь — и не только в Прибалтике с ее трагическим «выбором», но и в Российской Федерации, если вчитаться внимательно в проект Конституции РСФСР; если вдуматься в капиталистическое законодательство, каким дарит нас на своих сессиях Верховный Совет России... Ведь именно эту — никакую другую! — буржуазную демократию как «единственную систему правления» от Флориды до «сделавшей свой выбор» Прибалтики, от Финского залива до Залива Терпения на Дальнем Востоке — обязалась в Париже «консолидировать и укреплять» наша, накрытая Хартией всекапитализма страна. Накрытая с головы и до пят, по всему своему пространству, и со всей своей Азией отходящая ныне к «новой Европе» с Соединенными Штатами Америки во главе... Так что ничего иного, как именно консолидироваться с той же литовской — нравится она или нет, — с Запада взятой, «интернациональной» системой, не положено российскому демократу-романтику, если он «действительно хочет строить правовое государство» под знаменами демократии! Ему пора бы понять, что демократия — это достаточно строго отработанный и достаточно бесчеловечный государственно-политический и экономический строй, не допускающий романтических отсебятин. Что «демократизация» — это капитализация. Это, в частности, та «приватизация», которая происходит и в Литве, и в России с целью решительно поделить людей на могущественных собственников и ограбленную «рабсилу». Это та, окончательная на сей раз, пауперизация, что убьет навсегда крестьянство; что «очистит» и город от избытка «второсортных» людей...

И не столь уже верен истине наш патриархальный романтик, когда сетует, будто в Прибалтике «грубо попираются права человека». И берет «демократов» в кавычки в своих гневных, своих обличительных жалобах. И клеймит «лжедемократов» — что в Москве, что в Литве, что в Молдове... Нет, это не «лже-», это подлинные, натуральные демократы. Сообразные той демократии, что естественно угнездилась на развалинах социалистической системы, — и другой демократии не может предложить «цивилизованный мир». Что ж до «прав человека», которые якобы «попираются» — с точки зренья романтика-демократа в СССР, то — в Литве или в сердце России — попираются больше желаемые, чаемые, социалистические в том числе, как бы «райские» даже права... Те права, что возможны, когда жить по правде (как веками мечтал народ), а не «по демократии». По правде, не вписанной ни в какой юридический, ни в какой «цивилизованный» закон...

Демократия знает об опасной для нее безусловной нехватке ее считанных прав — на всех... И на всех «коренных», кто мечтает «национально освободиться»... О нехватке «количественной» — в распространении прав; о нехватке и качественной — по существу этих прав... И что касается «каст», от принадлежности к которым жестко «зависят... права, возможности жить, работать, получать образование», каст, что в пределе-то сводятся к двум социальным разрядам, — демократия предусмотрительно, к удивлению романтика, и тут, внутри своих обществ, точно как в общих масштабах «новой Европы», предлагает «консолидацию». «Социальную солидарность». И внутри «правового государства» — прибалтийского или российского — вводит «гуманный» запрет на «разжигание социальной розни». Дабы неповадно было романтику возмущаться неравноправием в «возможностях жить, работать, получать образование»... Дабы неповадно было мятежно вздыхать о былой, «губительной» уравниловке — как честит демократия всякую мысль об исходной, обнимающей всех социальной защите... Он, романтик, отверженный от возвышенных каст, обязан, напротив, «крепить социальный мир» — в условиях вопиющих социальных контрастов. Это значит — крепить демократию... И, ясное дело, запрет на «разжигание социальной розни» сплавлен в конечном итоге с запретом на разжигание розни национальной. Выливаясь в особую строгость борьбы «против всех форм... антисемитизма», как читали мы в тексте «Парижской хартии»...

«Хартия для новой Европы» избегает понятия «капитализм». И «рынок», «рыночная экономика», — к чему понуждаются восточноевропейские страны, — не названы капиталистическими, а выступают в безличном каком-то, «бесполом» виде. Нет в парижском документе и определения «буржуазная», когда говорится о «единой демократической Европе»... Все это целомудрие, «деликатность» соблюдается, несомненно, ради СССР и бывших уже европейских стран социализма. Тут учитывается «пугливость», «диковатость», неподготовленность народов из недавнего лагеря социализма в Европе к тому «светлому будущему», в какое втянуты они в ходе вполне планетарной по замыслу «перестройки»... Да и как не учесть восприятия «диковатых» этих «новоевропейцев»? Ведь ради СССР (и бывших союзников его), ради, в первую очередь, СССР и затеяна, и создана-то сама эта Хартия! Ради окончательной, «необратимой» «интеграции» нашей страны в систему капитализма (в «мировую экономику»). Интеграции, при которой вместе с политическими правами (политической самостоятельностью) у нашей страны навсегда и вполне будет отнято право собственности на свои богатства, на продукты труда своего народа (а отныне—дешевой) «рабсилы» для «основного человечества»)...

«Парижская хартия для новой Европы», избегая имени «капитализм», утверждает, однако, тотальную капитализацию со свободным правом горстки «свободных предпринимателей» пользоваться наемным трудом девяноста с лишним процентов населения, которое проживает на «всей верхней половине земного шара» (как «демократично» упрощает географию, «после Парижа», наш Президент). «Хартия для новой Европы» утверждает необратимую нищету нашей страны — по демократическим талонам и карточкам с птичьими дозами пищи, с минимумом обносков материальных благ... Этой тотальной капитализации, этим талонам и карточкам для «нецивилизованных» стран соответствует столь же тотальная, единая и единственная система правления — буржуазная демократия, и как раз это социально-экономическое и политическое, дружно соблюдаемое и защищаемое устройство разумели составители Хартии, заявляя: «Эра конфронтации и раскола Европы закончилась». На смену ей — «над Европой занимается заря новой эры», праздновали они. Эры победного шествия капитализма. И в лучах восходящей капиталистической этой Авроры нерушимо окостенеть должна смиренная дисциплиной тоталитаризма наша страна — «неотъемлемая» часть бескрайней «новой Европы», с безудержной экспансией Запада — на без меча покоренный Восток...

Коммунистическая идея «мировой революции» с насильственным приведением всего мира к одному — понижающему — знаменателю, столь горько памятная нашей стране, сменилась идеей всемирной (пока — «всеевропейской») контрреволюции с не менее принудительной капитализацией.

Понятно, что каждый из этих насильственных процессов предполагает демографическую катастрофу, — но она-то как раз и на́ руку всемирным регулировщикам населенности Земли. И хотя эта демографическая катастрофа назначена первым делом нашей «нецивилизованной», сырьевой, но все-таки (все еще!) слишком людной стране, верховный руководитель нашего государства, комментируя «свершённое в Париже», неутомимо подчеркивает добровольность «беспрецедентного», по его горделивой оценке, парижского соглашения, «нашу (советской стороны.— Т. Г.) активность» в подготовке его, даже «нашу инициативу (!)» в ускорением (вместо 1992 года) заключенье его — и призывает народ наш, «наших политиков, парламентариев и общественность» к «непременному» исполнению «морального долга солидарности с «нормами прогресса новой Европы»... «Они обязательны... для нас, ибо иначе мы... нарушим данное слово (!) и подорвем дело, которое обязано нам больше, чем кому бы то ни было...» — разъяснял он в своей постинформации «об общеевропейской встрече», обращаясь ко всем «нашим парламентариям и ведомствам, в центре и в республиках» и имея в виду их практическую «повседневную деятельность». Впрочем, при этом не было скрыто, что подписание «Парижской хартии», — «беспрецедентной по своим последствиям и значению», — кроме бремени славы за «нашу активность», самоубийственную «инициативность», «возлагает на нас серьезные обязательства, потребует адаптации к новым, весьма высоким нормам и стандартам». Правда, вся эта (и подобные ей) цепь иностранных слов при полном утаивании сути хоть той же «адаптации к... весьма высоким нормам и стандартам» — исключает ясное понимание массами «необратимой реальности», что уготована им, что сфабрикована «в лучшем виде» за их спиною... Уж не «нормы» ли организованного вымирания — «весьма высокие нормы»! — предполагаются тут корифеями «новой Европы»?.. Не «стандарты» ли голода, порабощения во «всеевропейское» благо?.. «Да не уразумеет сего никто... а мудрые уразумеют...» — сказано в книге пророка Даниила, и этот завет впору поставить эпиграфом и к самой «Парижской хартии» капитализаторов, и ко всем, тщательно «взвешенным» широковещательным «разъяснениям» ее.

Но вразумляет — сама жизнь. Само развитие демократии в нашей стране. Сама хищная власть меньшинства — карликового, духовно убогого, но надевшего тогу народовластия, тогу, все более схожую с фиговым листком.

Вразумляет — сама бездна, «прогрессивно» разверзшаяся перед нами. Бездна, «ключ» к которой обретался недавно в Париже и обновится — теперь обещают нам — в Хельсинки, в будущем, 1992, году...

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



ВАЛЕРИЙ РЫБИН,
хранитель Кирилло-Белозерского монастыря

БРЕМЯ РОССИИ...

«Сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дальше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать?
А все-таки никто, как Бог! Да будет воля Его святая!»

Император Николай II.
2/15 марта 1918 года.

История какой страны знает подобное? Не будь явной и сокровенной помощи Божией,— русский народ тоже бы не смог понести это бремя. Особенно в период семидесятилетнего плена. Тысячелетие своего Крещения Россия встретила как торжество Православия, как обещание возрождения. Толпа народа перед распятым Христом не подозревала о Его воскресении, а оно совершилось! Совершится и воскресение России!

Очевидное умаление или поражение сил добра на исторической арене не является поражением по существу: добро непобедимо. А зло, только видимо превозмогая, властвуя и торжествуя, никогда не побеждает; напротив, того не желая, содействует победе добра. Разве может духовная злоба сатаны хоть на миг затмить свет незаходимого Троического солнца? Солнце Божества, даже зайдя однажды во гроб, пребывает Солнцем и соделывает обитель смерти в обитель жизни: гроб становится престолом.

Крест — оружие, пригодное и во внутренней брани, и в брани за землю Русскую. Россия чрез поражения всегда шла к победам — видимым и невидимым. Тайна русской непобедимости — это тайна святости. Не случайно же начало Великой Отечественной войны совпало с днем Всех Святых, в земле Российской просиявших. Мы слишком недооценивали участие наших святых не только в этой войне, а и в других войнах, в других победах, подчас широко не известных... Взять, к примеру, победу над поворотчиками рек: разве не рать русских святых помогла нам одолеть служителей незримого разрушителя? Наши святые молятся и о всем мире, и о России, и о том уделе земли Русской, в котором каждый из них подвизался. Не случайно же, когда в окрестностях Кирилло-Белозерского монастыря начались работы по переброске рек, преподобный Кирилл Белозерский воочию предстал одной женщине ликом воинственный, в шлеме монашеском, надетом поверх архиерейского клобука.

Тайна русских святых — это тайна пресвятой Троицы, которая является чрез Крест и Богородицу. Своими отрогами Крест бесконечно простирается в высоту-глубину, широту-долготу видимого и невидимого мироздания. Присущая Кресту вседержительная сила Божия и просвещает «вся концы» и собирает, соединяет их в недвижном центре Креста, в сокровенном источнике всяческих. Вертикаль Креста знаменует сошествие Бога с высоты неба и Божества на землю, во гроб и во ад человечества — это высота-глубина Божественного смирения, а горизонталь — это широта-долгота Божественной любви. Движения смирения и любви замирают, соединяются в источном, недвижном центре Креста. Только сила Креста может содержать в неслитном триединстве высоту ума, глубину сердца, широту воли.

Каждый народ, каждый человек испытывается пленением адовым, но один, подобно апостолу Петру, чрез покаяние возвращается к Господу, а другой, подобно апостолу Иуде, безвозвратен и погибает в отчаянии. Россия тем и удивительна,

что чрез жесточайшие поражения от врагов видимых и невидимых шла неизменно к победам, шла, предводимая Богородицей и святыми, к Свободителю душ.

Человек и народ добровольно сходят во ад неверия, отчаяния, ненависти. Но Господь и во аде не оставляет нас: если возгнушаемся мраком и пленом греховным — озарит блистанием Божества Своего, подаст силу Воскресения. Русский народ, даже поверженный, всегда сохранял свое незримое для многих достоинство, свое стремление к духовной воле — и цепи плена неизменно спадали. Спадут они и сейчас с помощью Свободителя душ наших. Жажда духовной свободы приводила и приведет Россию к Подателю веры, надежды, любви. Что бы ни происходило в Церкви и государстве — пусть самое на сей момент безнадежное! — вера, надежда, любовь не поколеблются, не соблазнятся, не смутятся при виде тленности тленного: за вселенским разрушением они увидят нерушимое, нетленное, предвечное. Верой, надеждой, любовью постигается великое Троичное промышление о мире и человеке. То премудрое и предвечное промышление, которое через очевидное торжество злобы духовной сокровенно созидает Победу непобедимую. Вера дарует сверхразумное знание вещей сокровенных, надежда приобщает к будущему благу, любовь неизреченно, неслитно соединяет с Богом и ближним.

Рать небесная, рать русских святых во главе с Богородицей неустанно молится за Россию и привлекает этим обильную милость Божию. Милость премудрую, ибо сообразно времени и ради спасения душ Бог посещает нас либо утешениями, либо скорбями. Премудрый промысел несравненно лучше нас знает, когда послать благоденствие народу и человеку, а когда — огонь искушений.

«Новую показа милость всех Творец и Владыка наш Господь, егда положи во гневе Своем наказати род человеческий огнем, мечом, гладом и болезньми, сотвори сие наказание для многих человеков ко вразумлению во спасение душ». Так говорит «Акафист Богородице Державной» о крестном семидесятилетнем пути России, в конце которого — Воскресение.

Кого пленяет и над кем властвует начальник злобы духовной? Побежденный силой Креста, сатана мертвит дыханием ада лишь тех, кто добровольно становится его уделом. Но стоит народу и человеку приобщиться державе Креста — и удел мрака и тления озаряется нетлением. Путь Креста ведет к Могуществу чрез немощь, к Бесстрастию чрез страсть, к Раю чрез ад, к Свету чрез мрак,— одним словом, к Божеству чрез человечество. Крест потому и непобедим, что любое поражение от врагов видимых и невидимых соделывается — чудодейством смирения! — залогом победы и воскресения. Троичное промышление о мире осуществляется чрез Крест. Поэтому все зримые и незримые ухищрения начальника злобы духовной, направленные на смерть и разрушение, на деле служат жизни и созиданию. Иго, будь оно татаро-монгольское или сатанинское, по-видимости является торжествующим злом, а в сокровенном промышлении Предвечного совета иго это — благо. Ибо попускается для нашего спасения. Ибо испытывает: пребудем ли мы в пустыне духовной смерти или вернемся к Источнику бессмертному. Ибо пленяет и угнетает, чтобы возбудить и воскресить. Жизнедательная сила Креста, сила любви Божией не умаляется и не иссякает, будь то эпоха гонений или расцвет Православия. Но действует она на человека и мир когда очевиднее, а когда сокровеннее. Разве умалилось неумалимое Божество Христа, когда Он вочеловечился, был пленен, предан на распятие и положен во гроб? Для Божества день положения во гроб и день воскресения — един день, едина сила и победа непобедимая.

Для преподобного Сергия время пленения Руси и время ее освобождения, воскресения — едино время. Тайна такого единства — тайна Креста, который неслитно сочетает иго и благо, страсть и бесстрастие, смерть и бессмертие. Единство с Крестом дарует цельность восприятия жизни, истории, человека. Неудивительно, что для преподобного Сергия прошлое, настоящее и будущее в истории России — едино время, в котором воскресение нации не существует без пленения. Самодержавная эпоха на дворе или социалистическая — сила Креста от этого не умаляется, милость Божия к нам не иссякает и не увеличивается, а становится или более очевидной, или более сокровенной. Служитель Божий или служитель сатаны во главе государства? Оба творят волю неба: один — ведая, другой — не ведая. Один наследуя царство славы, другой — вечную муку.

В событиях 1917 года большевики слышали поступь революции, а преподобные — поступь Божию. На глазах таяло воинство видимой Церкви — умножались новыми российскими мучениками ряды Церкви невидимой, недосягаемой для служителей злобы. Покидая тело, мученики не покидали России: напротив, их молитвенная помощь Отечеству усугублялась. Победы служителей ада неизменно обращались на главу их. Очевидно беззащитная, Церковь превозмогла гонения, победила главного из мучителей. Сталин, обещавший за пять лет стереть имя Божие с лица Российской державы, в годы Отечественной войны открывает тысячи храмов, а перед кончиною, в таинствах покаяния и причастия, ищет примирения с Богом.

В отношении историческом семь десятилетий российского плена велики так же, как в отношении церковном велики семь недель Великого поста. Очевидно страна на 70 лет становится уделом злобы духовной, а сокровенно Россия — держава Богородицы и Креста, держава пресвятой Троицы. В день отречения императора Николая Александровича от престола 2(15) марта 1917 года явлением богородичной иконы «Державная» нам посылается небесное уверение в Победе. Великому народу в великой брани с силами ада нужна была и помощь великая, помощь премирной Державы. Держава земная и Держава премирная соединяются в святой Руси. На русских святых утверждается святая Русь, и она жива, пока живет хоть один святой на нашей земле. Святая Русь являет Беспредельное, Премирное в пределах России. Поэтому «умом Россию не понять... в Россию можно только верить».

Ослепленные высокомерием презирают Россию, ибо не видят ее главное богатство — святую Русь. Богатство, охраняемое Крестом, не подвластное ни плену, ни тлению. Крест силу разрушения обращает к созиданию. Не тотчас, не в мгновение ока: об этом свидетельствует крестный путь Христа, который мы вспоминаем в празднованиях церковного года. Задолго до Великой субботы, до Воскресения, Вознесения и Троицы мы празднуем рождество Богородицы — начало непобедимого Пути. Начало не для Безначального,— для человека. В Предвечном совете Пресвятой Троицы нет ничего неисполнившегося: о последнем дне мировой истории Богу известно, как и о первом. Ход истории, каким мы его видим,— это отблеск Сокровенного, ведомое воплощение неведомой воли Предвечного совета. Воли благой и премудрой,— во всем, всегда. Распинатели Христа, поднимая пяту на Бога, послужили, нехотя, великому Божественному замыслу. Сила семидесятилетнего плена, очевидно направленная против Церкви, содействовала Ее возрождению: низвергая Крест, воздвигала Его; вроде бы побеждая, оказалась побежденной.

Россия стоит, хотя по всем очевидным расчетам должна уже давно рухнуть. Россия стоит, хотя по множеству очевидных признаков уже погибла. Безумно судить о России лишь по вещам очевидным: за этой державой видимой сокрыта невидимая — держава Креста. Таким безумцем оказался в свое время Гитлер. Нападая внезапно и с превосходящею силою, заручившись поддержкою ада, он все принял во внимание, кроме самого главного. За спиною обескровленной коллективизацией и репрессиями страны фюрер не увидел рать русских святых со знаменем Победы непобедимой. Мы и сейчас ошибаемся в оценках, когда за величайшим оскудением душ и повсеместною смутой не видим сокровенную державу Креста. Всемогущая и благая держава Креста обогащает скудную душу благоразумного разбойника, принимает ее в райских вратах, вчиняет в небесное гражданство. Разве Россия не такой же разбойник и в год своего Крещения при князе Владимире, и сейчас? Множество недостатков русского народа искупается одним из удивительных достоинств — готовностью к покаянию: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем». Россия идет к Богу даже чрез само забвение и отвержение Его державы. Измученный черным игом начальника злобы, духовно опустошенный и гладный, все более растлеваемый грехом, народ сполна познает цену забвения и, подобно блудному сыну, с покаянием возвращается в отчий дом.

Наше время очень близко эпохе преподобного Сергия — эпохе плена и освобождения. Чрез ужас татаро-монгольского гнета промысел путеводил раздробленную Русь к покаянию и единству. Немногие — лишь причастные Небесной державе — понимали сокровенный смысл происходящего и полномочно воздействовали на ход истории. Разве преподобный Сергий и его духовная рать были бессильны умолить Творца всяческих о скорейшем избавлении от ига иноплеменных? Нет, конечно. Но и после Куликовской победы гнет продолжается еще столетие, чтобы, очевидно порабощая и сокрушая, постепенно содействовать сокровенному созиданию России, ее единению — чрез святых — с Троичной державой. Народу нужно было сполна испить чашу плена, чтобы сполна вкусить и радость освобождения, мир единства, благо созидания. Россия, чтобы стать Россией, должна была пройти крестный путь до конца: без голгофы и гроба Великой субботы нет и пасхальной Победы. Преподобный Сергий молился не о том, чтоб миновала чаша лихолетья — нет! Преподобный просил, чтобы Господь даровал народу крепость и мужество идти трудным спасительным путем Креста. Без татарского лихолетья стала ли бы держава такою великой, с таким множеством монастырей?

В мире монастырь являет премирное. То премирное, без которого и мир не стоит. С умножением монастырей умножается и Русь — видимая и невидимая. Иго, сокрушая Русь очевидную, созидало, по промыслу, Русь сокровенную, причастную непобедимому Самодержцу. По мере возрастания могущества сокровенного умножалось и очевидное; только поэтому Россия стала самой великой державой мира. Напротив, ослабление связи с премирным Отечеством неизбежно приводило к смутам, нестроениям, катаклизмам в русской истории.

1917 год явился очевидным следствием сокровенной измены нашей Царству не от мира сего. Иначе почему бы с такой легкостью удалось обмануть народ лжепророкам нового обезбоженного мира? Сам захотел обмануться — вот и угодил в плен, потяжелее монголо-татарского. Угодил промыслительно, чтобы из великого обмана извлечь великий урок: всякое созидание, основанное на отрицании Премирного Здателя, по сути своей разрушительно.

Святую Русь воспитали Святые дары: чрез таинство причастия Сам Господь освящает человека, соединяет с державой премирной. Во время литургии совершается таинство таинств — неслитное единение с пресвятой Троицей чрез приятие Святых даров: человек становится сопрестольником премирной тишины. Приемля Святые дары — приемлешь царство не от мира сего, становишься общником живота вечного, восходишь на высоту, недосягаемую житейскими попечениями и стрелами злобы духовной. Высота эта не вне тебя, ибо Святые дары приемлются

внутрь храма телесного, который сокровенно соделывается гробом одушевленным и престолом превознесенным для Царя царствующих и Господа господствующих.

Святая Русь — плод Креста, плод лозы истинной, которая питает нас дарами жизни вечной в таинстве причастия. Действие Святых даров на Русь — преображающее во всех отношениях, в том числе и в государственном: поначалу раздираемая междоусобицами, Россия становится единодержавной. Это единодержавие зиждется не столько силою политической, сколько крестною силою Святых даров. Святые дары утверждают в душах мир, единство ума, сердца и воли, которое влечет к единству в семье и в державе. Освящающая сила Святых даров чрез человека сообщается творениям его рук и окружающей природе. Если человек — венец творения! — лишен освящающего действия Святых даров, то заодно с ним в плену у начальника злобы оказываются и природа, и мир вещей. Природа заболевает, а самые красивые, грандиозные вещи становятся некрасивы и совершенно бездушны. Человек, умерший для Бога, начинает паразитировать на природе и разрушать божественное единство ее организма.

Святая Русь искала прежде всего царствия Божия и освящения чрез Святые дары, а остальное прилагалось — и согласие национальное, и широта-долгота обширных земель, и крепость экономическая, и непобедимое величие государственное. Сама по себе, без Святых даров, Россия бессильна возрастать в святости и преподобии.

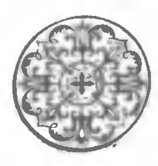
Возрождение России, по человеческим представлениям невозможное, посильно всемогущему промыслу Божию, который непобедимой десницей Креста спасает из сатанинского плена и отдельную душу, и целый народ. Сила плена — это сила внушения: не случайно сатана именуется великим гипнотизером. Дух нечистый незримым, тончайшим образом сочетается с нашими мыслями, чувствами и желаниями, сообщает им гордость — источник всякой пагубы и нечистоты. В наше время начальник злобы духовной действует так, как будто его нет, как будто разрушительные идеи, желания, чувствования и дела исходят только от человека. Культура сатаны, как и культура православная, имеет свою иерархию, свои степени посвящения и совершенства. Но совершенства и гениальности — во зле под видом добра, во лжи под видом истины, в разрушении под видом созидания, в безысходной муке, тоске, зависти под видом радости и благожелательства. Сатана — гениальнейший из ученых, искуснейший из проповедников и художников, поэтому неудивительно, что многие из человеческих наук, искусств и религий служат начальнику ада. В пагубном шествии разрушителя участвует не только гвардия вольных каменщиков, которые имеют высокие степени посвящения, но и огромная армия обманутых, духовно слепых и глухих, которые не ощущают тончайших и осторожнейших внушений разрушителя и считают их за собственные мысли, чувства, желания. Ложные, греховные идеи происходят от сатаны: он автор и вдохновитель, он — источник всякого зла. Но воплощает зло все-таки человек. Все-таки не сатана поворачивает реки, взрывает храмы, соделывает всякий вид греха, но сам человек. Сатана бесплотен, человек — во плоти. Поэтому лишь с участием человека зло набирает полную силу: простирается из мира невидимого в мир видимый. Не случайно же и при конце века сатана будет действовать чрез человека-антихриста: без добровольного человеческого участия кто бы стал воплощать «тайну беззакония»?

Сатана знает: внушая великие идеи великим людям, он становится обладателем целых стран и народов. Получив на 70 лет огромную мистическую власть над Россией, начальник ада делает все возможное и невозможное для похищения душ. Но величайшие старания и необыкновенное искусство начальника смерти и разрушения оборачиваются для него очередным позором и поражением: побеждает не сила ада, а сила Креста: Бог, а не сатана собирает жатву великую, жатву святых. Такой великой жатвы святых мучеников, как за 70 лет российского плена, еще не знала человеческая история. Таким путем Бог сохранил веру.

Нет, не напрасно пролилась кровь новых российских мучеников: она является живым залогом воскресения нашего многострадального Отечества. Миновал семидесятилетний сатанинский плен. Минует и великая смута, которую переживаем сейчас.

Старец Анатолий Оптинский в первые же дни революции, в феврале 1917 года, описал пророчески будущее России: «Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются... Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо... явлено будет великое чудо Божие... И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся и воссоздастся корабль в своей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и будет явное всем чудо».

г. Кириллов,
Вологодская область.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Мир искусства

...ЕСЛИ САМИ СЕБЕ НЕ ПОМОЖЕМ

ИНТЕРВЬЮ С ИЛЬЕЙ ГЛАЗУНОВЫМ

— Илья Сергеевич, оценивая, мягко выражаясь, негативные стороны и последствия революционного процесса, в том числе и такие, как массовые репрессии, некоторые авторы утверждают, что в этих бедах виноват сам русский народ, поддавшийся насилию из-за определенных черт своей натуры. Другие считают, что все это была некая Божия кара. Видите ли Вы в свершившемся историческую вину народа?

— Не стоит говорить о Божьей каре. И когда орды Мамая или полчища Наполеона вторгались к нам, это тоже не было Божьей карой. Это, если хотите, тяжкое испытание, которое должно доказать жизнеспособность народа. Об этом прекрасно написал историк Ключевский, считавший, что существуют ситуации, когда великий народ может исчезнуть, раствориться, но пробивает урочный час, и он поднимается вновь на ноги и выходит на временно им оставленную историческую дорогу. И далее пишет Ключевский, пока горят над ракой преподобного Сергия Радонежского лампады,— жив русский народ и не исчерпал до конца свои силы.

Сегодня мы видим и радостно отмечаем, что толпы молодежи посещают церкви, религиозные праздники, и у раки Сергия Радонежского в Троицкой лавре горят свечи. И когда мы говорим о том, чья была вина, мне хочется вспомнить Достоевского: в мире все за всех виноваты. Кто-то идет, а кто-то не идет на провокацию. Кто-то изменяет себе, своей совести, кто-то не имеет совести совсем, именно потому формируется та или иная политическая ситуация.

Русская революция готовилась давно. И общеизвестно, что это явление мировое. Если мы вспомним Кромвеля, казнившего Якова II, если мы вспомним французскую революцию, когда был убит Людовик, мы увидим упорное уничтожение идеи монархии и пролитые моря крови. И в России, если мы возьмем ее историю, мы все время видим тенденцию развала, уничтожения России, и происходило это, как говорил еще Достоевский, по одному правилу: зло приходит в мир в маске добра. Точно так же приходили Лжедмитрии. Все это было тонко рассчитано. Надо внимательно изучить историю русского Смутного времени. Откуда появилось столько, как их раньше называли, русских воров? Русские воры и душегубы, которые объединились и продавали Отечество, равно как и Пугачев, о чем написал Пушкин и многие историки. Это было, естественно, организованной силой, к которой примкнули многие и очень многие, как сказали бы сегодня, массы. Русская революция подготавливалась упорно, и русская интеллигенция несет за нее огромную ответственность. Если мы возьмем мировоззрение гениального русского писателя Льва Толстого с его непротивлением злу насилием, с его философской доктриной, за которую он и был отлучен от церкви, если мы возьмем действия определенных масонских организаций, к которым принадлежали и наши декабристы и более поздние деятели нашей социальной жизни... Да, тема очень сложная,— виноват или не виноват руский народ. Я знаю только одно, что он самая большая жертва. А как мы докатились до такой катастрофы? Я думаю, что в нашей стране идеально воплощены идеи Маркса и Ленина. И если кому не нравится марксизм-ленинизм — это другой вопрос, но говорить, что мы имеем сегодня дело с чем-то неожиданным, по-моему, несправедливо. А что касается нашей революции, то углубить ее съезжались люди со всех точек нашей планеты. Что из этого получилось — судить нам сегодня. И мы должны прояснить и понять белые пятна существования нашего государства, проследить историю русской социальной и философской мысли и отдать себе отчет — что произошло и почему, и как мы должны выходить из создавшегося тупика.

— Где же выход?

— Сегодня, когда создаются новые партии или возрождается столь нелюбимое мною понятие — блок,— которое употреблялось в 20-е годы, мне кажется, нужно вспомнить о Государственной думе, в состав которой входили многие партии. И если сегодня мы говорим о многопартийности, то мне, как и многим, хотелось бы прежде всего видеть партию, которая реально и последовательно отстаивала бы интересы России. Потому что вроде бы уже затертые слова «вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия» сегодня звучат так же актуально, как звучит актуально столыпинская

реформа с его ставкой на сильного, с максимальным развитием национального потенциала.

Все упирается в экономику, а чтобы изменить экономику, очевидно, нужно всецело развивать частный сектор, личную собственность, личную инициативу, и не случайно, как я помню от своих родственников (как и многие помнят, рассказы о том, что когда после революции возникли голод и полная нищета, ввели новую экономическую политику, и будто из-под земли все появилось. Сегодня мы не можем говорить о таком чуде, потому что развал нашей экономики глубок, всесторонен, и самое страшное, что мы лишились великого начала — крестьянства, которое являлось источником благосостояния России, ее опорой, и не случайно Россию называли аграрной страной, потому что мы полмира кормили хлебом. Я думаю, что сегодня, обеспечивая передачу крестьянам земли, нужно одновременно делать ставку на сильного предпринимателя и организатора труда и производства без привлечения столь модного теперь понятия СП (совместное предприятие). И если мы посмотрим на нашу великую страну, то ведь не бездельниками, не лодырями, не пропойцами создалась эта великая Российская держава, которая до сих пор поражала и поражает всех своим богатством, своими неисчерпаемыми возможностями.

Я считаю, что настало время собирать камни, и сегодня как никогда должно осознать, что мы на краю не только экономической, но и этнографической катастрофы, что мы потеряли высокие знамена нашей духовности, что втоптали в грязь великую православную цивилизацию, так как позволили провести геноцид и полный развал нашей культурной жизни. Ни одно татаро-монгольское нашествие не сделало столько, сколько сознательное и планомерное уничтожение нашей системой памятников русской культуры.

Мы должны говорить и об объединении русских, потому что очень много беженцев выплеснулось за пределы нашей Родины, их дети и внуки живут там, они примут участие в восстановлении нашей разрушенной державы. Надо смелей объединять эти силы и внедрять к нам, потому что каждый патриот сделает для своей матери-родины больше, чем случайно приглашенный искатель наживы из других стран. Нам никто не поможет, если мы сами себе не поможем.

Возрождая наши традиции, религию, только приходится удивляться, почему нет газеты «Голос православия» или «Православное возрождение», почему еще так скована церковь, которая столько сделала в истории государства Российского, включая и последнюю войну, когда ею собирались деньги на танковые части имени Димитрия Донского. И уж если взять всю русскую историю, то я могу сказать, присоединяясь к Достоевскому: кто не православный, тот не русский.

У нас возникли очень сложные национальные проблемы, потому что от имени русского народа вершились несправедливости по отношению к другим народам. Но самой большой жертвой был и остается русский народ. Нынешние национальные конфликты — это есть последствия неправильно понятой догмы — пролетарского интернационализма, когда русскому запрещалось быть русским, татарину — татарином, эстонцу — эстонцем, еврею — евреем. Выход из этого положения один — всегда хотят дружить с сильным, здоровым и богатым. Потому сегодня мы должны тщательно, продуманно и реально поднимать из руин сердце нашей страны — многонациональную Российскую Федерацию.

— Среди многих идей и проектов возрождения России в нашей стране и за рубежом возникает идея монархии. Как Вы относитесь к этой идее и к возникшему у нас институту президентства?

— Это тема большой дискуссии, и я, как художник, хотел бы предложить ее нашим историкам. Но сегодня, когда понятие гласности нередко заменяет понятие правды, когда возможность ругать друг друга и ничего не делать заменяет реальную работу, направленную во благо сбившегося с исторического пути народа, я вновь невольно вспоминаю Государственную думу, где звучали голоса представителей многих партий. Но был и верховный голос отца державы и ее народов. Это был голос монарха.

Идея монархии, осененной Божьей властью, стара как мир. Если мы возьмем Ригведу, Махабхарату, Библию, любой другой эпос, то увидим в нем фигуру монарха — царя, наделенного высшей властью.

Как известно, дореволюционная Россия держалась на трех китах: самодержавие, православие, народность. Советское государство, возникшее на месте Российской империи, начертало три своих принципа: диктатура пролетариата, атеизм, пролетарский интернационализм.

Очень часто в спорах, особенно с теми иностранцами, которые свою ненависть к России, русскому народу прячут в обертку антикоммунизма, приходится слышать, что политика Кремля ничем не отличается от политики самодержавия и что нашу историю олицетворяет триада: Иван Грозный — Петр I — Сталин.

Но что общего между двумя этими государственными образованиями? Как можно соединять мировую коммунистическую экспансию с историей России, не знавшей колоний, имевшей свой неповторимый национальный уклад, неповторимую духовность и культуру, обаяние которой сказывалось даже в том, что тысячи иностранцев, послужив в России, навсегда оставались здесь? Становились русскими, как Растрелли, Александр Бенуа, Рерих...

А вспомним, как под покровительство русского царя тянулись многие народы, которые теперь хотят отделиться...

В царской России, как свидетельствуют многочисленные исторические исследования, существовала идея монархии как освященной Богом власти, передаваемой по наследству от отца к сыну. При этом положении отец, обдумывая возможные повороты истории и желая оставить сыну богатую державу, должен был хранить свой народ, заботиться о своей чести. И сын с благодарностью и ответственностью принимал наследство. У нас же сложилось так, что каждое новое правительство считает своим долгом облить грязью предыдущее.

И когда раздаются голоса, что фигура сменяемого президента — это модель правления, пришедшая с Запада, не свойственная историческому укладу России, — в этом, очевидно, есть какой-то смысл.

Но я считаю, что очень хорошо, что при нашей новой демократии у нас появился Президент. Эту демократию надо еще сильно развивать. И задача Президента, как я думаю, заключается во всемерном развитии демократии, раскрепощении могучей потенции нашей великой державы, где каждый народ, реализуя в полной мере свои национальные интересы, не должен делать это в ущерб и за счет другого.

— Как Вы относитесь к понятию «русская идея», тоже ожившему в нашей прессе?

— Вопрос очень сложный. На эту тему писали и Бердяев, и Соловьев, и многие другие замечательные русские философы, труды которых изучали во всем мире, но не изучали в советских университетах и школах, как не изучали многого другого. Мне кажется, что «русская идея» тесно связана с идеей православия. Ведь в основе каждой социальной формации, в основе каждой культуры тем более, лежит религиозная идея, и чем глубже уходят наши корни, религиозные традиции в толщу веков, тем боеспособнее идея. Уважение к религии — это и есть уважение к культуре. Религия — религаре — означает связь. И мне думается, что в наше время нужно объединять людей, как это сделал своей бессмертной речью на открытии памятника Пушкину — Федор Михайлович Достоевский, когда так называемые западники и славянофилы обнимались друг с другом. Вспомним, что никто не проявлял такой всемирной отзывчивости, такой взаимной заинтересованности в судьбах мира, как славянофилы.

И не кто другой, как великий Гоголь, говорил: нынешний человек все человечество обнять готов, только брата своего не обнимет. Вот обнять брата, обнять ближнего своего и, следовательно, потом все человечество — это и есть высокая вселенская идея соборности, «русская идея», о которой писали и будут писать столько философов. Но прежде всего носителем этой идеи должна быть здоровая нация. А русская нация сейчас влачит жалкое существование и приведена к барьеру вырождения, после проведенных погромов, геноцида, с уничтожением лучшей части генофонда нации, ее культуры, ее памяти, ее традиций. И сегодня нам предстоит огромная культурная работа по ее возрождению. «Русская идея» может восторжествовать и принести всему миру свое явление братства, дружбы, всемирной отзывчивости, при условии, что сегодня правильно решится русский вопрос.

Надо, чтобы все жили в мире, в радостном гуманистическом общении представителей разных национальных образований. И в этом я вижу суть «русской идеи». И «русская идея» сейчас должна звучать остро, как никогда. Потому что, неправильно решая этот вопрос, игнорируя его, мы будем увеличивать потенцию атомной катастрофы в национальных отношениях.

— Сейчас многие обеспокоены перспективой введения рыночной экономики и последующим ростом цен. Ваш взгляд на эту проблему?

— Говорить о развитии рынка, товарных отношений можно лишь при условии наличия товаров, без которых рынок не может существовать. Где их взять? Здесь опять приходится возвращаться к предыдущей теме нашей беседы.

Необходимо прежде всего отбросить наши устаревшие социально-политические догмы и провести реформы, которые могли бы обеспечить реальный экономический взлет, освободить творческую потенцию народа.

Взять такой пример. Сейчас для садовых участков рабочим, интеллигенции выделяют какие-то ничтожные «соточки», где можно разместить маленький домик. Почему происходит такой зажим, когда у нас имеется столько брошенных, пустующих земель, столько неиспользованных возможностей? Почему в связи с земельным вопросом опять не вспомнить о реформе Петра Аркадьевича Столыпина, когда переселенцам давали земли столько, сколько они могли обработать? Рассказы о благотворном воздействии реформы на экономическую жизнь России я слышал сам во время поездок в Сибирь от доживших до наших дней свидетелей и участников ее проведения.

Ныне по идеям реформы Столыпина живут Америка и Дания, а мы по-прежнему отворачиваемся от своего же опыта.

Вспомним, как ценились некогда российские товары, например ивановские ситцы, в разных странах мира. Почему мы теперь не можем произвести ничего подобного? Мы слишком долго держали крестьян в крепостническо-рабском состоянии, когда они не имели даже паспортов. Точно так же наши творческие умы не могли реализовать себя, скованные догмой социальной лжи и насилия над совестью.

Я не пользуюсь никакими привилегиями, но отказываюсь понимать призывы, что нужно закрыть тот или иной «привилегированный» магазин или больницу. Мне кажется, что вопрос надо ставить по-другому: добиваться общего подъема благосостояния. Только тогда может быть покончено с затяжной болезнью классовой ненависти с ее тенденцией «грабить награбленное».

И для этого опять же нужно раскрепощение творческого потенциала населения, что обеспечит и производство необходимых товаров и соответственно снижение цен. Без расчета на помощь пришлых зарубежных дядей, которые устремляются к нам, чтобы взять «свое». Не понимать этого — значит способствовать превращению нашей державы в колонию.

— Илья Сергеевич, а теперь вопрос личного характера. Мне известно, что в

Вашем семейном архиве имеются интересные материалы, касающиеся истории Вашей родословной. Не можете ли Вы подробнее рассказать о своих семейных корнях?

— Фамилия Глазуновых происходит из Московской губернии. Мой двоюродный дед был иконописцем. Его брат Федор Федорович — отец моего отца — стал почетным гражданином Царского Села. Он был управляющим большим концерном «Джордж Борман».

Помню, когда до войны я приезжал в Царское Село, я видел некогда принадлежавший ему роскошный дом, стоявший неподалеку от вокзала; запомнились также грустные парки, скульптурная фигура девушки с разбитым кувшином, дворцы... И пока проплывают воспоминания об этих счастливых днях, в душе будто звучит элегия, стихи Пушкина.

Мне рассказывали, как мой отец катался на велосипеде в том же парке, что и царевич Алексей, за которым следовал только один человек — матрос Деревянко, с серьгой в ухе. И всех, живших в Царском Селе, поражало, что можно было видеть царскую семью, совершавшую прогулки, заходившую в церковь, в парки.

Мой отец, закончив гимназию, в 16 лет ушел добровольцем на фронт сражаться с немцами. Еще будучи гимназистом, он писал рефераты на исторические темы. У меня нашлось несколько газет того времени, где упоминалось о выпуске отца и жарких монархических речах, произносимых гимназистами Царского Села.

После революции отец работал экономистом, увлекался историей и вместе со всеми родственниками умер во время блокады.

А что касается происхождения моей матери, то здесь придется обратиться к VI веку, когда в Чехии правила королева Любуша, славная своими законами. О ней пишут в исторических исследованиях, и существует легенда, что когда она захотела найти себе мужа, то выпустила на волю своего златогривого коня, провозгласив: перед кем конь остановится — тот и будет моим мужем. Конь поскакал по лугам и лесам и однажды в открытом поле остановился перед пахарем.

Тот воткнул в землю посох, которым погонял коня, и сказал: «Быть посему». И из посоха выросли три розы. Это вошло в символику моего фамильного герба со словами «Флуг-плуг».

При Петре Великом мой прапрадед Готфрид Флуг был приглашен из Шварцвальда в Санкт-Петербург преподавать фортификацию.

Известно о дружбе моего прапрадеда с художником Павлом Андреевичем Федотовым. Однажды в жаркий полдень Федотов постучал в дверь одной из дач на Васильевском острове, чтобы попросить воды. Это и была дача моего прапрадеда. Так состоялось их знакомство. У Федотова написано много работ, связанных с семьей Флугов.

Потом наш род соединился с родом Лопухиных. Я помню, как моя мать рассказывала, что ее двоюродный дядя Арсеньев был воспитателем государя Александра II.

Сестра моей бабушки Елизаветы Дмитриевны вышла замуж за генерала Григорьева, директора Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Его старший сын Юрий Григорьев служил старшим офицером на императорской яхте «Штандарт». Его судьба трагична. После революции он был выслан, вести о нем пропали, известно лишь, что он скончался на Аральском море при неизвестных обстоятельствах. Двое братьев Юрия эмигрировали. Один из них — Артем — уехал в Швейцарию. Следы его потеряны.

— Если обратиться к гороскопу, то можно узнать, что Вы родились под созвездием Близнецов. Под этим знаком рождаются художники, поэты.

Близнецы очень чувствительны к любви, отзывчивы на дружеское отношение. Одиночество и покой для них невыносимы.

Темперамент неукротимый. Постоянная неудовлетворенность существующим положением вещей...

Мне представляется, что характеристика Вашей личности вполне соответствует приведенным определениям. А как Вы сами относитесь к сведениям такого рода и различным предсказаниям?

— Я человек православный. И могу сказать одно: православная церковь имеет опыт духовного постижения мира, высшего понятия святости, не прибегая ни к таким модным явлениям, как, например, йога, ни тем более таким богопротивным, как магия.

И когда сегодня обращаются к астрологам — я считаю это личным делом каждого, но я все-таки считаю, что в учении отцов Церкви и Новом завете сокрыты такие бездны человеческого духа, которые не случайно двигали историю человечества в течение двух тысяч лет, и именно они должны служить нам опорой в нашем дальнейшем пути.

— Какую добродетель Вы считает самой высокой и какой грех самым тяжким?

— Самой высокой добродетелью я считаю любовь к ближнему. Как в Евангелии сказано — блажен тот, кто положит живот за други своя. И самый тяжкий грех, непростительный, сатанинский — это грех предательства. Тот самый, когда в знаменитую ночь Иуда Искариот через лобызание предал Сына Божия — Христа...

Беседу вел В. НОВИКОВ.

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

СЕРГИЕВЫ КЛЮЧИ

В Киржач мы приехали еще засветло. Вечер «Нашего современника» был назначен на семь часов, и мы могли немного побродить по городу. У первого же прохожего спросили, как пройти в знаменитый монастырь, основанный еще Сергием Радонежским. Мальчик лет десяти показал дорогу и тут же сам вызвался проводить нас. «Я в соборе прислуживаю, — доверчиво сообщил он. И по-взрослому, со значением, добавил: — У нас святой Роман в соборе лежит». «Князь?» — переспросил я. «Нет, святой», — серьезно и торжественно повторил мальчик.

По утоптанному скользкому снегу мимо обезглавленной высоченной колокольни, мимо наглухо забитых парадных ворот, через лаз в разрушенной стене он привел нас к двум дивным соборам, стоящим на высоком ажурном подклете. «Благовещенский, — показал мальчик на белый одноглавый храм XVI века, — закрыт, реставрируют. А здесь, — отворил тяжелую дверь желтого, похожего на терем собора XVII века, — вечером службы».

В соборе уже сгустились сумерки. Из-за неполадок на линии — весь день шел густой снег — не дали света. В темном пустом объеме мы не сразу различили людей. Храм, видимо, недавно переданный церкви — голые кирпичи с остатками сбитых фресок, несколько собранных по домам икон, заменяющих иконостас, — казался неприютным. Но вот из темноты выступили фигуры прибиравшихся здесь женщин. Мальчик передал нас с рук на руки и ушел выяснять, когда дадут электричество. Купив свечки, мы зажигали их перед иконами. Богородица, Спаситель, Николай Чудотворец, Всех Святых. Трепетный свет отодвинул сумрак под высокие своды, и в легком подвижном сиянии мы различили лица.

Наверное, у тех, кто ежедневно по многу часов проводит здесь, приводя в порядок искалеченное недавними «хозяевами» здание, и должны быть такие лица. Деловитые и возвышенные, простые и значительные одновременно. А может, непривычное освещение — лучики свечей, жаркие отблески окладов — придавало особую выразительность сцене.

Скоро мальчик вернулся в сопровождении осанистого мужчины лет шестидесяти пяти. Он поздоровался с нами и начал рассказывать о монастыре. Веская манера говорить выдавала в нем недавнего руководителя-хозяйственника, может быть, председателя какого-нибудь пригородного колхоза. Вышел на пенсию и с той же энергичностью и основательностью взялся за «спасение души».

Он гордился храмами и тревожился за них. Выведя нас на улицу, показал трещину в алтарной части Благовещенского собора. «Плывун», — горестно заметил мужчина и стал рассказывать, как недавно приезжал из Москвы специально выписанный экстрасенс, как сразу нашел линзу воды и указал направление подземного ручья. «Дошел он до обрыва, — рассказывал провожатый, — и показал место: здесь, мол, были Сергиевы ключи. Засыпали их, и поплыл грунт».

Видно было, что ему очень хотелось убедить приезжих в проницательности столичного экстрасенса. Он повел нас, повторяя невидимые зигзаги подземного пути, и через минуту вывел к обрыву. Глубоко внизу желтела подо льдом река, левый пологий берег тонул в сумраке.

— Тут велел рыть, чтобы вновь вывести на свет Божий забытые Сергиевы ключи. И видите, я лопатой маленько землю раскидал, точно — пошла вода. Не замерзает, шумит. Когда-то сам Сергий ходил к этим источникам.

Через полчаса мы вернулись в гостиницу. А после вечера, собравшего местную интеллигенцию в количестве трех десятков человек, я взялся дочитывать недавно купленную книгу «Сочинений» В. В. Розанова. Вполне «отеческое» завершение патриархального дня.

Но завершение оказалось чересчур уж «отеческим», русским. Известно: камень ли попадается нам на дороге, да так неудачно, что упадем и расквасим нос, начальник ли вызовет и даст нагоняй, мы привычно принимаемся ругать «Расею».

Дескать, откуда же и быть носам правильной формы, когда у нас дороги дрянь и преогромные булыжники так и норовят изувечить.

Розанов и сам не раз подсмеивался над этим обыкновением. А к концу жизни не выдержал — написал в 1918 году несколько разящих Россию инвектив. «Таинственные соотношения», «Гоголь и Петрарка», «С вершины тысячелетней пирамиды (размышление о ходе русской литературы)» — этими статьями завершилась взятая мною в путешествие книга.

«В сущности: чем же превзошла Германия Россию? В составе громады, — в целом? Как море людей, как «шапками закидаем»?

— Выживает наилучшее, — сказал Дарвин».

Такой вот взгляд с «тысячелетней пирамиды». И взгляд не сторонний, не равнодушный. Розанов читателя язвит, так ведь ему самому больно. Это сейчас «придворные диссиденты» ужаснутся российскому варварству и на полученный гонорар едут в европейский круиз. Розанов ужаснулся и умер.

И не только гибель Российского государства поразила его. Низость наша общая, наша, как ему показалось, никчемность. «В истории Россия всегда обнаруживалась слабою нациею... Что за странная жизнь — жизнь «впечатлениями», жизнь «подражаниями». Между тем от «призвания князей» и до «социал-демократии» мы прожили собственно так. В объем подражательности и ряда подражательностей умещается объем всей русской истории. Мы — слабо оригинальная страна, невыразительная. Именно — не сильный оттиск чужих произведений».

Эти нападки легко отвести. Достаточно ядовито ответить, что у Розанова оказался хороший «ученик». Он почти дословно, хотя и на свой лад, повторил мысли учителя: «Старую Россию били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную». Правда, «ученик» мог бы лучше позаботиться об увековечении памяти выдающегося отечественного мыслителя. Ведь это был всесильный Иосиф Сталин.

Нет, указание на такое идейное родство — уже полемический жест, а я не собирался спорить. Полемизировать с предсмертным хрипом человека, погибающего от голода и отчаяния, невозможно. Разве что отметим про себя: тезис о постыдной слабости России был общим, пожалуй, для всей отечественной интеллигенции и полуинтеллигенции.

Не мудрствовать, не ловить на противоречиях, но найти неотразимый бытийный аргумент, ибо только Смердяков мог спокойно жить с сознанием, что «Россия-с, Марья Ивановна, — одно невежество». Розанов когда-то сам размышлял над этим смердяковским откровением со смесью любопытства и отвращения.

И ведь будто какой-то рок (или язвительная насмешка Василия Васильевича, на что он был мастер) обнаруживается в том, что розановские работы дошли до читателя именно тогда, когда никаких весомых аргументов у нас не осталось. Еще пять лет назад можно было указать на могучий Союз — правопреемника «слабой» России, и на расчлененную Германию, потерявшую к тому же лучшие куски территории — прусскую житницу и силезскую «топку». Но сегодня объединенная Германия сильна как никогда, а Союз на краю гибели. «Выживает наилучшее»? Превзошли-таки благородством?

В нашей нынешней нищете и разрухе какое доказательство силы, какой знак надежды можем предъявить себе и миру? И тогда в бессонном отчаянии мне вспомнились впечатления дня — мальчик, ведущий нас по тропинке к соборам, озаренные свечами лица женщин, мужичок-хозяйственник, «спасающий душу», и — сквозь снег, сквозь земную толщу, сквозь забвение шумящие Сергиевы ключи. Засыпали, забрасывали мусором, хламом. Но снова и снова приходил кто-то, уязвленный мыслью о красоте и прочности, о жизни и смерти, о делах предков и грядущем воздаянии, и «маленько раскидывал землю»...

Скажут: какой же это контраргумент? Вполне в духе Розанова, — отвечу. Да и вообще в духе здравого смысла. В конце концов кем держится материальное благосостояние и всякое прочее «благородство»? — Человеком. Даже коммунистические теоретики под конец поняли это и, обратив в свойственной им манере органическое в механическое, заговорили о «человеческом факторе».

Не буду гадать, насколько характерны люди, встреченные мною в Киржаче. Важно, что они есть. Что национальный характер, в вершинных своих проявлениях на наших глазах давший В. Шукшина, Н. Рубцова, В. Белова, питается не иссохшими — живыми народными ключами. Тут давность даже не Сергиевых времен. Тысяча лет национального сознания. И — живой, несмотря ни на что, неизменный характер.

Да-да, неизменный. Я хочу поделиться с читателями открытием, которое сам по невежеству сделал недавно. Вот мы говорим о волне «возвращающейся», «архивной» литературы. А самую значительную возвращающуюся к нам часть наследия проглядели позорно! Шумим об Одоевцевых, Берберовых и прочих «друзьях и знакомых». И тут же в полном молчании — ни статей, ни рецензий — выходят многотомные серии «Памятники литературы Древней Руси» (издательство «Художественная литература»), «История Отечества» (издательство «Молодая гвардия»). Только что замечательным сборником древнерусской мудрости — «Златоструй» открылась новая серия «Дороги человеческой мысли» («Молодая гвардия»).

Современники Карамзина зачарованно следили, как под пером историографа проступают контуры новой Атлантиды —

затерянного материка древней отечественной истории. Сегодня перед нами открываются очертания не менее грандиозные — литературная и философская мысль первых семи веков русской жизни. Совершенно неизвестное нам духовное пространство. Вот ведь и Розанов писал: «Русская литература, несмотря на всего о д и н т о л ь к о в е к е е с у щ е с т в о в а н и я» (разрядка моя. — **А. К.**). И другой замечательный философ — Георгий Федотов, кстати, автор глубокого исследования «Святые Древней Руси», ужасался «страшной немоте Древней Руси». Даже Пушкин с его несравненной проницательностью и бережным вниманием к родовому наследию говорил о «пустыне нашей древней словесности».

Так вот, читая и перечитывая обретенные в наше время древние книги, я с удивлением обнаружил, что в тысячелетней дали различаю хорошо знакомые русские черты. Что десять веков не о т д е л я ю т, а с о е д и н я ю т меня с современниками Владимира Святого.

О, я прекрасно помню об авторитетной научной теории, согласно которой современный русский этнос зародился после победы на Куликовом поле шестьсот лет назад. Но что делать, я не могу не доверять собственным чувствам, тем более что чувство кровного родства — одно из самых сильных в человеке. Общелюдское начало, легко распознаваемое в каждом? Нет, именно русское!

Розанов пишет, что мы от начала истории занимались подражаниями. Бог с ними, с варягами. Даже если эта легенда верна буквально. Что князь, что дружинник — его и призвать, и прогнать можно. И сколько раз летопись сообщает об изгнанных, убитых, посаженных в погреб варягах.

Другое дело — идеологическое обоснование прав новой державы на место под солнцем. Тут уж не было места ни варягам, ни грекам. С начальных строк — уверенное, свое, русское: «...Не в безвестной и захудалой земле, но в Русской, что ведома во всех наслышанных о ней в четырех концах земли». Первое авторское произведение отечественной литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона.

Едва обретя голос, наша литература заговорила о всечеловеческом значении Руси. Дерзкий экскурс во всемирную историю, заканчивающийся формулой под стать библейским, выбитым на скрижалях: «...Новое учение — новые мехи, новые народы!»

Сравните — ведь ничего подобного нет у скандинавов, в то же примерно время принявших христианство! Дело не только в эпохе. В национальном характере. В масштабе нации. Россия изначально мыслилась как средоточие мощных мировых сил. И тот же масштаб, да, в сущности, и та же историософская концепция раз за разом воспроизводились с перерывами в столетия. В XVII веке в Пскове и Москве (Филофей), в XIX в Петербурге (Достоевский) звучали гордые слова о всечеловеческом призвании.

Национально характерна не только идеологическая концепция «Слова» — эмоциональное переживание ее. «..С весельем и радостью», — так определил автор настрой «Слова». Оно все пронизано светом. Собственно, это ключевое идеологическое уподобление, положенное в основу произведения: на смену «луне» ветхозаветного закона восходит «солнце» новозаветной веры.

Но лучащуюся светом атмосферу «Слова» не объяснить одним лишь риторическим заданием. Это своеобразие зрения, оптимизм молодого, здорового мироощущения. В тексте множество вариаций на тему света: «подобало благодати и истине в о с с и я т ь», «в о с с и я л с в е т», «в о с с и я л и в н а с с в е т р а з у м а», «з а р я правоверия» и совсем уже не риторическое «с о л н е ч н о е тепло», и многочисленные эпитеты «сияющий», «блистающий».

Россия не просто смело вступила в государственную жизнь мира, она о з а р и л а его блистаньем своего торжества. Не пытайтесь детерминировать это условиями эпохи — ничего подобного не существует в литературе XI века! Пожалуй, можно лишь вспомнить написанный на четыре века раньше Пасхальный Канон великого Иоанна Дамаскина, этот торжественный венец культуры христианского Востока. Такие произведения создаются раз в тысячелетие. У нас оно было первым.

И разве впоследствии иссяк светоносный русский источник? Вспомните пасхальную радость, свет воскресения, осиявший фигуру преподобного Серафима Саровского. Вспомните поэзию его современника Александра Пушкина.

Оптимизм, с которым Россия утверждалась в мировой истории, уже в самом «Слове» подкреплен светлой верой в торжество человека, принявшего крещение. «И уже не последуем бесом, но добровольно славим Христа Бога нашего, по пророчеству: тогда воспрянет, как олень, хромой, и речь косноязычных будет ясной». Для Илариона недуги телесные и духовные исцелены и навечно упразднены событием всенародного крещения.

Как дружно поддерживают его в этом русские авторы! «Бесы беспомощны», — читаем в «Повести временных лет». Сравните — в скандинавских сагах — каждый косой взгляд, каждое заклинание может погубить человека. Россия говорит миру: «Бесы беспомощны»!

Мы привычно повторяем слова о гуманизме русской литературы и часто сами не сознаем, насколько проникнута она его духом. «...Свободы ради человеческой» — эта чеканная формула родилась не в XX и не в XIX веке, — в лето 6619, то есть в 1111 году.

И тут не случайная обмолвка, позволяющая принять знакомое и желаемое за действительное. Древнерусская литература темпераментно и талантливо утверждает идею человеческой свободы. «...И пререходя к человеку, как бы ума лишаюсь от удивления, и не могу понять, откуда в таком малом теле столь высокая мысль, способная обойти всю землю и выше не-

бес взойти. К чему привязан тогда ум тот? Как, исходя из тела, проходит он сферу одну за другой, проходит воздух и минует облака, солнце, месяц, и все пояса, и звезды, эфир и все небеса, и в тот же час оказывается в своем теле? На каких крылах он взлетел?»

Величественная, антропоцентрическая картина мироздания создана, правда, не русским писателем — славянским автором Иоанном, экзархом Болгарским. Но показательно, что русские читатели из сотен иноземных текстов выбрали и прикипели сердцем именно к этому. «Шестоднев» Иоанна — самое популярное сочинение на Руси XI — XII веков.

А вот коренной русский текст. Обращение к человеку, которое знаменитый книжник епископ Кирилл Туровский вложил в уста Спасителя: «Небо и земля тебе служат: то влагой, а эта плодами. Ради тебя солнце светит и греет, и луна с звездами ночь освещает! Для тебя облака дождем землю напояют, и земля в службу тебе взращивает всякую траву семенную и дерево плодовитое! Ради тебя реки приносят рыбу, и пустыни питают зверей!»

Возвеличивающая и оберегающая, торжествующая и сострадающая, литература, одушевленная таким взглядом на человека, таким отношением к нему, должна была дать миру Пушкина и Толстого. Те, кто сегодня говорит о якобы врожденном тысячелетнем рабстве русского человека, не просто русофобы. Они чудовищно невежественные люди.

Да, отечественная литература с момента своего рождения посвящена человеку. Но и земная красота, красота пейзажа, великолепие тварного мира — деревьев, зверей, птиц не закрыты для ее любящего, внимательного взора.

Общеизвестно, что европеец средневековья был чужд самодостаточного эстетического любования природой. Пейзажные зарисовки отсутствуют в западной литературе того времени. Точнее, их единицы. И каждая по-своему знаменита, например сцена прощания Гунара с Исландией в замечательной «Саге о Ньяле». Обреченный на изгнание воин уже подскакал к кораблю, и тут его конь споткнулся, и он невольно поглядел вокруг. Увидел желтое колосящееся поле и решительно повернул домой — навстречу смерти. Но даже этот простой и трогательный пейзаж попал в текст благодаря сюжетной мотивировке.

Тем ошеломительней разнообразие красок, разноголосица птичьих голосов, живость картин, запечатленных древнерусской литературой. Откройте с детства знакомое «Слово о полку Игореве». В первых же строчках в рассказе о пении Бояна кого только не упоминает автор — серых волков и сизых орлов, соколов и стада лебедей. И все эти анималистические изыски с безумной щедростью израсходованы на уподобления, брошены в текст, чтобы украсить проходную в общем-то риторическую конструкцию! Это еще не картина — простая прелюдия. И лишь потом динамичными мазками, световыми пятнами автор рисует «вершину древа» с кличущим Дивом, стоны ночной грозы, разбудившей птиц, дубравы и овраги. Колористическое изящество рассветных зарисовок — долго меркнущая ночь, свет зари, туман, покрывающий поля. Изощренная тонкость слуха — «щекот соловьиный уснул», «говор галочий пробудился».

Принято считать, что «Слово о полку» — гениальный пережиток непреодоленного язычества. Не имеющий подобий в христианской литературе Древней Руси. Разумеется, каждое выдающееся произведение неповторимо. Но бережное внимание к миру, характерное для «Слова», обнаруживается в произведениях христианской традиции. «Когда слышим, как певчие птицы поют всякими голосами прекрасные песни, соловьиные трели, голоса дроздов и соек, иволг и дятлов, кузнечиков и цикад, ласточек и жаворонков, и иных птиц, а они бесчисленны, — тогда мы, умиляясь, славим Господа», — восторженно восклицал автор «Шестоднева».

Русские переписчики редактировали болгарский текст «Шестоднева», без жалости отсекая все лишнее, по их разумению, все, что будет чуждо отечественному читателю. Показательно, что список птиц с его волнующей эстетической самодостаточностью они сберегли.

Любопытный и восторженный взор славянина радостно вбирал в себя многокрасочность природы. Русский человек изначально доверчиво открыт Вселенной. И если мы обратимся к нашей пейзажной лирике XX века, не имеющей — как и пейзажи «Слова» — аналогий в современной ей мировой литературе, то обнаружим, насколько глубоко укоренено в национальном характере чудесное свойство единства с мирозданием.

Удивительно емкое и возвышенное мировосприятие возводило русского человека на нравственную высоту, позволяющую взглянуть на свои деяния с редкостной объективностью. «...Много зла сделали русские грекам», — читаем в «Повести временных лет». Рассказывая о походе Олега, летописец не пытается выгородить своих.

Еще более поразительное свидетельство непредвзятости народного самосознания — отношение русских к празднику Покрова пресвятой Богородицы. Это один из важнейших праздников русского православия. Мало кому известно событие, легшее в его основу. Русское языческое войско подошло к Константинополю. И тогда святому Андрею, непрестанно молившемуся в храме, явилось видение — Богородица покрыла город своим покровом, защищая от врагов. Языческое войско было отброшено, и впоследствии Византия ежегодно отмечала чудесное избавление от иноплеменных.

Восторг греков легко объясним. Но, наверное, ни один народ не в силах будет понять логику русских, не только перенявших этот праздник у Византии, но переосмысливших его как свой задушевный, великий праздник. Скорее всего, иностранец заговорит об извращенном русском сознании, о юродстве, о том же пресловутом рабстве славянской души.

Нет! Это высшая ступень нравственности, позволяющая народу взглянуть на себя с высоты всечеловеческой справедливости и самому осудить дурные деяния. Походы на Константинополь — центр православия — русскими летописцами, принявшими крещение, оценивались отрицательно. И книжники, а вместе с ними весь народ, не побоялись признать собственную неправоту. Случай поистине беспримерный в мировой истории!

Еще В. Ключевский заметил, что отечественные летописцы не делили население на русских и, скажем, чудь — лишь на христиан и «поганых». Тысячу лет на этом фундаменте строилось государство. Заклятые враги — половцы, татары, литва, немцы, переходя в православие, уравнивались во всех правах с коренным населением.

Подобное отношение к другим народам мы сохранили до сегодняшнего дня. Но в безрелигиозном мире это величайшее достоинство, которому Россия была обязана своим бытием, обернулось смертельной опасностью для нее. Русскому до сих пор безразлично, кто трудится рядом с ним и кто им командует — его единоплеменник, грузин, еврей, татарин... Ему-то безразлично, им, как свидетельствуют события в республиках, — нет. Интернациональная идея, пришедшая на смену религиозной, обанкротилась в Прибалтике и Закавказье. Повсеместно грубой силой утверждается приоритет «коренной» нации. Русские изгоняются с работы, а зачастую из жилья. В последнее время сама жизнь человека, говорящего по-русски, нередко оказывается под угрозой.

И уж, разумеется, ключевые позиции в республиках заняты «национальными кадрами». Что же, это логично — они собираются отсоединяться от Союза. Но создается парадоксальная ситуация: как раз представители уходящих из СССР республик занимают высшие посты в московском руководстве. До самого последнего времени Министерство иностранных дел возглавлял Э. Шеварднадзе. Еще несколько лет службы, и не исключена была ситуация, когда ему пришлось бы принимать посла Грузинской республики.

Не менее важное для жизнеспособности страны Министерство внутренних дел подчинено представителю Латвии. Экономическую политику в стране определяют в теоретической сфере академик Аганбегян, в практической — занимавший пост зампредсовмина СССР Ситарян. Примеры можно приводить до бесконечности.

Еще совсем недавно никто не видел здесь проблемы. Но теперь Грузия, Латвия, Армения, другие республики заявили о своем нежелании оставаться в составе Советского Союза. И это сразу же ставит вопрос о двойном гражданстве. Соответственно и о выборе национально-государственных приоритетов.

Вяляс, став лидером национал-коммунистов Эстонии, заявляет, что с Москвой договориться невозможно. Всего несколько лет назад он представлял эту самую Москву в Никарагуа. Был советским послом в тот момент, когда решалась судьба сандинистской революции, а заодно и советского присутствия в стране и во всем центральноамериканском регионе. Я не задаю вопрос, в чьих интересах действовал Вяляс. Но думаю, естественно спросить: мог ли он при подобном отношении к Москве делать все возможное для отстаивания ее интересов, действовать решительно, напористо, талантливо?

Роль национального фактора в политике не раз становилась предметом международного обсуждения. Например, когда выяснилось, что очередной представитель США в ООН имеет двойное гражданство (помнится, речь шла о Дж. Киркпатрик), многие журналисты, в том числе советские, спрашивали, чьи интересы — США или Израиля? — защищает делегат Америки. Впрочем, значение поста представителя международной организации при всей его важности не идет ни в какое сравнение с ключевыми должностями, названными выше.

Как видим, тысячелетнее наследие — не только залог устойчивости, но и источник проблем.

Убежден: невнимание к национальному наследию неминуемо приведет к трагическим ошибкам в практической деятельности. Яркий пример — планы перехода к «рынку» и пропаганда «рыночных» идей. Газетная кампания достигла максимальной интенсивности. Но что стало предметом пропагандистских усилий? Отнюдь не разъяснение экономических последствий предлагаемых нововведений (к сожалению, именно в этом важнейшем вопросе пресса ограничивается крохами информации). Публицистический пыл направлен на пересмотр традиционной общественной морали. Вновь — который уже раз за последние семьдесят лет! — вверх дном переворачиваются «замшелые» российские представления о добре и зле.

При этом делают вид (а может, из-за скудности исторических знаний и вправду не ведают, что творят), будто перелицовке подлежат лишь постулаты официальной коммунистической морали. С упоением глумятся над идеями равенства и социальной справедливости. Бедный, уверяет нас многоголосый хор, — это угрюмый тип, злобный, ограниченный, жестокий. Богач — средоточие добродетели.

В сущности, журналисты не изобрели ничего нового. В доступной им форме они повторяют тезисы так называемой протестантской этики. Не буду рассматривать ее основы — классический труд «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера не так давно проанализировал на страницах «Нашего современника» Юрий Бородай. Скажу лишь о том, что на практике означает утверждение «новой нравственности». Нас не только ограбят дочиста — необходимая стадия первоначального накопления (см. газетный лозунг «Богатые в бедной стране»). Нас лишат последнего — права на сострадание, хотя бы к самим себе. Наша нищета будет объявлена зримым подтверждением отверженности, а богатство нуворишей — наглядным проявлением Божьего благоволения к ним.

Чудовищно? Фантастично? Откройте газету «Советская культура» и прочтете, что протестантская этика — это Божественный закон, лежащий в основе экономики (26.01.1991).

Должен огорчить авторов «Советской культуры», а также их многочисленных единомышленников на верхних этажах общества. Тысячу лет русский народ поиному понимал Божью правду. Можно спорить, чья трактовка верней, но игнорировать народные представления о богатстве по меньшей мере **неосмотрительно.**

Первый образ отечественного «бизнесмена» запечатлен в киево-печерском «Патерике». Жил в Торопце купец. В один прекрасный день он роздал свое имение, пошел в Киев и постригся у основателя Печерского монастыря преподобного Антония. Многие подвижники, жившие тогда в монастыре, изнуряли и истязали свою плоть. Но даже среди них выделялся рвением Исакий — такое имя принял купец при постриге.

Надев власяницу, он затворился в пещере длиной четыре локтя. Ему приносили просфоры — по одной через день. Вот и вся еда. И так — в холоде, голоде, мраке — семь лет. Какой грех так страстно замаливал этот подвижник? — Грех богатства. «Богатство — грех перед Богом», «Богатому черт деньги кует» — говорит народная мудрость.

И характерно, что даже эти подвиги самоотречения не могли до конца очистить душу раскаявшегося богача. «Патерик» повествует об искушении Исакия. Дьявол явился ему в образе Божьем, и обманутый подвижник поклонился ему. Как явственно отразился здесь мотив поклонения мамоне — идолу богатства и корыстолюбия. Предание не простило Исакию давнего служения золотому тельцу. И лишь много лет спустя, едва не умерев после своего падения, он окончательно утвердился в праведной жизни.

Таков урок, преподанный на заре нашей национальной жизни. Запечатленный в назидание потомкам в самом известном житийном своде Древней Руси. Пройдитесь по улочкам старых городов, поглядите на церкви, построенные «иждивением» власть и деньги имущих, замаливавших грех богатства, и вы поймете — накрепко усвоил этот урок русский человек.

Показательно и то, что процесс духовного обновления преподобного Исакия предание связывает с его работой на монастырской поварне. Иначе говоря, с «опрощением». Вспомните череду русских интеллигентов XIX века с выразительной фигурой Льва Толстого во главе. Вот где, в подвижническом «опрощении» первых иноков печерских — преподобного Исакия, преподобного Феодора и самого игумена преподобного Феодосия (одного из наиболее почитаемых наравне с Сергием Радонежским и Серафимом Саровским русских святых) — истоки этого движения.

«Опрощение» — самобытный русский вклад в опыт мировой религиозной аскезы. Георгий Федотов в книге «Святые Древней Руси», рассказывая о Феодосии Печерском, отмечает: «По смерти отца он избрал особый подвиг: «выходил с рабами на село и работал со всяким смирением», что уже не могло быть подсказано никакой традицией. В этом социальном уничижении или опрощении, и единственно в нем, проявлялась аскетическая изобретательность русского подвижника». Исследователи отмечают, что ни в одном из известных житий египетских, сирийских, палестинских святых Феодосий не мог найти упоминаний о подобном подвиге. Заветное, неповторимо русское начало.

Добавьте к нему идею жертвенности, освященную канонизацией первых наших святых — благоверных князей Бориса и Глеба, и перед вами предстанет типичный русский человек. «Русский человек в своем развитии», как сказал Гоголь о Пушкине. Ибо свойства национального характера, впервые запечатленные в древних книгах, снова и снова проявлялись в деяниях, образе мыслей, произведениях наших соотечественников.

Можно и по-другому сказать о том же — несмотря на десять веков невиданных испытаний, посланных народу, он сумел сберечь драгоценное наследие, данное ему от рождения. Если сегодня грандиозные потрясения разрушат народное бытие, осиротеют не только разрозненные остатки великой нации. Оскудеет все человечество, лишенное многих ярких и неповторимых черт, внесенных в мировую гармонию русским народом.

И все-таки, несмотря на все ползущие вниз экономические показатели, несмотря на боевые сводки с окраин, я верю — Россия будет... Мы уезжали из Киржача на следующий день. Легкая метель, как в песне, мела вдоль по центральной улице городка. Из одного проулка доносился стук топоров. Мы подошли ближе и сквозь плывущие хлопья увидели: плотники собирают большой светлый сруб. Как сто, как тысячу лет назад, Россия строится. Россия жива.

То же чувство испытал я две недели спустя, когда православная Москва встречала мощи преподобного Серафима Саровского. Едва ли не первый разрешенный в столице крестный ход: не десятки, не сотни — тысячи людей. Они медленно двигались в обход центральных улиц через промышленные кварталы. Казалось, обезличенная, лишенная красоты и национальной самобытности официальная столица выслала против шествия свои «заградительные кордоны» — недостроенные, слепые, приземистые корпуса. Но реяли в небе хоругви, но плыла над толпой тысячеустая древняя молитва. А вдали, с высоты колокольни патриаршего Богоявленского собора, могучие колокола приветствовали, призывали, притягивали процессию к распахнутым церковным вратам. И каждый из бесчисленных колокольных ударов возвещал миру и небу о продолжении нашего бытия.



КРИТИКА

Круг чтения

А. В. МИХАЙЛОВ

«В ГОРОДАХ РОССИИ „НАРАСТАЕТ ЗЛАЯ ВОЛЯ"»

В. В. БОГДАНОВ.
«Этнография в истории моей жизни», (М., 1989)

Молодой человек собирается в Петербурге, в начале лета 1891 года, в путь. «Я носил форменную студенческую фуражку зеленого сукна с синим околышем, надевал студенческие такого же сукна брюки. Поверх них — простая, из сарпинки, рубашка вишневого цвета, подпоясанная легким пояском. Ни толстовской черной блузы, ни красной рубахи я не надел. Верхней одеждой пришлось взять летний кафтан из домотканой шерстяной ткани, оказавшийся очень хорошим дождевиком. В таких кафтанах я встречал в поместьях некоторых интеллигентов, также разъезжающих по уезду врачей, фельдшеров, агрономов. Большие сапоги с длинными голенищами в Бельском уезде были повсеместны почти у всех, и носили их, при большой ходьбе, с портянками. Рюкзаки для туристов в то время еще не были распространены в России. И мне таким вместилищем тетрадей, до пуда весом, белья и дорожного хлеба служил деревенский «кошель» (с лямками на спине), сплетенный из лыка, причем так, что на нижнюю корзину надевалась такой же вышины верхняя. Это был великолепный снаряд, который служил хорошим изголовьем и был неуязвим для дождей. Самые щепетильные дворяне и дворянки не смотрели на мой костюм и снаряжение презрительно. Наоборот, одобряли и находили практическим».

Двадцать два года отроду было молодому человеку. Большая ходьба предстояла ему, потому что молодой филолог и этнограф собрался на два с половиной месяца в Смоленскую губернию — в уезды Духовщинский и в Бельский, «отдаленный от больших городов, от железной дороги и от крупных фабрик», «мало исследованный этнографами, а главное переходный между Новгородской, Тверской, Смоленской и Полоцко-Витебской Землей». «Здесь я думал найти более цельный этнический массив, на котором сказались северные исторические движения Русской Земли», — продолжает автор записок, а между путешествием и воспоминанием о нем прошло ни много ни мало пятьдесят лет с избытком. И продолжает писать слова «Земля» и «Русская Земля» с прописной — а напишем ли мы так теперь, в наши дни? Напишем ли так о районе, лежащем между Новгородской, Тверской, Смоленской и Полоцко-Витебской Землей? Напишется ли у нас о нем так? Напишем ли о нем с тем ясно понятным уважением к земле и к своеобразию ее? Была и закатилась русская земля... Но не о том сейчас речь: вот пустился студент в путь, и вот как описывает он житье-бытье небогатых дальних смоленских деревень с их «неподвижными» жителями, из которых даже и в своем уездном городе Белом редко кто бывал:

«Изба и двор представляли собой замкнутый квадрат или прямоугольник строений. Огород примыкал либо к другой боковой стене избы, либо к задворкам двора. В хлеву помещались корова и пара, редко три-четыре овцы. В конюшне — единственная лошадь, да и та не у всех. Немного кур летом ночевали под навесом, а зимой — в избе в подпечье. Гуси были лишь в тех деревнях, где было много воды: река, озеро, пруд. Гусь и зимой жил во дворе. Домашних уток я не замечал. Свинья водилась лишь в том дворе, где ее было чем кормить: картофелем, брюквой, отбросами капусты, но всего этого высаживалось на огородах мало. За все время моих хождений по Бельскому уезду я редко когда видел свинью в деревне. Это подтверждается и тем, что по ведомости отпускных товаров с Бельской пристани за 1857 год совсем не значится свинина, свиное сало, щетина, в то время как грузились в г. Белом на суда говядина, говяжье сало (на свечи), гусиные перья. После «освобождения» крестьяне не разбогатели.

Все же и при бедности скота и птицы во дворе дворовые строения глядели деловито, опрятно. Бельские крестьяне до 60-х годов были хорошие судостроители и плотники. Они строили в г. Белом на своих верфях по реке Обше многочис-

ленные «струги» на 9 и $10\frac{1}{2}$ тысяч пудов груза, а также «шкуты» на две-три с половиной тысячи пудов. После «освобождения» и с проведением Ржево-Вяземской железной дороги (в 1888 г.) и Новоторжской (в 1874 г.) движение грузовых судов по водной магистрали от Белого на Ригу сократилось. Сократилось и строительство. Свое строительное искусство они перенесли на свои усадьбы, применяя здесь совершенную технику досчатого покрытия: крыш, ворот, дверей, заборов».

Где ты, река Обша, с тысячетонными стругами и шкутами на ней? Где ты? Откликнись! Но опять же не о том речь: Владимир Владимирович Богданов, с чьими воспоминаниями мы знакомимся в этих маленьких отрывках, писал хорошо. И хорошо то, что его проза не отличается никакими особыми достоинствами. В том-то и есть ее особое достоинство, что не нужны ей красоты и выдающиеся черты. Плавный и нередко музыкальный ток — это ее вывод из всей русской литературы XIX века, вывод и воплощение. Не знаю, как вас, а меня эта плавность слога местами завораживает. Ее главный признак — дельный, деловой покой. Само волнение завзятого интереса устраивается в том покое как под крышей, хранящей от непогоды, — вольготно, чтобы не сказать уютно. В. В. Богданов не был поэтической натурой — это ему не надо было; он пишет воспоминания — почти научный отчет, почти отчет о всей научной жизни, но пишет, не может иначе, так, что почти всякому это читать будет интересно и приятно. Ученик академиков Вс. Ф. Миллера, А. А. Шахматова, В. Ф. Фортунатова, он свой слог, и стиль, и покой мировосприятия вынес из всей русской литературы, да и из всего жизненного наклона русского XIX столетия. Но, помилуй Бог, пишет-то он все это в мрачнейшие 40-е годы — в Москве, служа в Институте этнографии: дано было автору дожить и дослужить до 80 лет. Откуда же покой и светлый тон? Конечно, от памяти, которой мы все на самом деле по большей части и живем. От памяти, которая мало что забирает душу под свою власть, но разливается-растекается по телу. Тут это старая память, старая крепкая память, старая неложная память, старая студенческая память, освещенная перспективами долгой жизни, — сама она чуть ли не нежится в лучах своего времени, потому что все вокруг видит светло. Словно отсвет всеобщего благоденствия на этом свете — того благоденствия, которое в свою очередь зависит от наклона ума и общего наклона умов — в сторону больших ожиданий и непреложных надежд. Хотя бы и самый трезвый ученый поддастся на это общее свечение — а Богданов и был как раз трезвый. А ведь это поколение наших отцов и дедов: старая надежда и старая светлота, словно солнце в белые северные ночи, еще стоит в их душах и телах. И мы живем своей памятью: они, светлые и радужные, оставили нам в наследство наш мрак, нашу безысходность. Они прожили всё накопление своим богатым веком и оставили нам то, что осталось, — мрак и безнадежность. Когда нет надежд, их место занимают безудержные, беспочвенные обещания или же вообще ничто. Прожили свет, и живем теперь своим мраком. Живем памятью о том мраке, современники которого жили в нем, не умея погасить в себе прежний свет, исподволь накопившийся и вроде бы вовсе неуместный. Вот такая неладность между человеческой памятью и минутой настоящего, такой разлад между ними, без которого и не состраивается жизнь, эта дикая путаница. Свет и вообще любит гореть во тьме.

Но ведь он, трезвый, далек от всякой восторженности и чурается очарования: критично и недоверчиво глядит он на вещи. В нем слышится еще честный строй мысли шестидесятников. И еще усилилась неподатливость к любым чарам, и народ он видит — прямо в глаза, не увлекаясь им. Реализм и критичность — главное. Настолько, что, записывая песни и сказки, думает, что народное поэтическое сознание должно в своих фольклорных формах обязательно откликнуться на современные события и современное положение народа, огорчается, когда по большей части откликов таких вовсе не обнаруживает, и радуется, когда думает, что замечает такое отражение — пусть даже в какой-нибудь пословице или сомнительном рассказе. И чаще всего обманывается. Обманывается и тогда, когда пытается убеждаться в неверии народа, в незнании им Бога и молитв, — это уж явно от своего городского интеллигентского неверия идет у него и все-таки от иллюзии, что крестьянин начнет сразу выкладывать свою душу перед ним. А иногда и выкладывает, но наш студент этого не примечает, потому что такая откровенность не сходится с предубеждением — с тем, что принесено с собой из города. «За стол посреди комнаты к щам да каше да к хлебу-соли наш брат крестьянин не сядет. Мы от дедов да прадедов в красном углу перед своими «богами» хлеб-соль едим. В поминальные дни, в кануны родительские мы перед «родителями» сидим с честью и с милостью в красном же углу, а иконы наши — и Спас, и Николай, и Алексей Божий человек — все старинные, не запомним, какой дед их поставил. На середину избы не вынесешь красный угол». «Ламп керосиновых у нас нет. Зимой и летом «светимся» от богов. Лампадка всегда горит на льняном масле. Ложки мимо рта не пронесешь».

Вот такая крестьянская речь. Только на письме некоторые слова украсились кавычками, и это уже идет от городского гостя, фольклориста и этнографа: боги, родители в кавычках; тоже и слово «светимся» как будто не собственное выражение: светиться от богов. «Богов», конечно же, не собственное выражение, это правда. Слово «боги» замещает здесь общее понятие — «божественное». «Боги» — это весь круг святого, материально представленный иконами в красном углу. Мы светимся от богов — зимой и летом; замечательна эта народная теология, точная и верная. Сам Богданов и не подозревал, что и его свет, не померкший до самого 1949 года, прошедший незатруднительно сквозь мрак, тоже от богов. А от кого наш мрак?

Тут пора, однако, рассеять одно недоумение; вот приведена прямая речь крестьянина 1891 г., и во всех записях мы постоянно видим и слышим живую речь — говорят перед нами крестьяне, помещики, священники, чиновники. Откуда она, каким фонографом, каким магнитофоном схвачена и увековечена? Загадки нет: во-первых, Богданов разработал свою особую скоропись, фонетическую, какой не стеснялся и пользоваться (и как влияло это почти непрерывное записывание на его сказителей, о том Богданов не подумал, и мы не знаем). Но, во-вторых, ему была присуща особая памятливость на ситуации и речи, это несомненно, и открывается это повсеместно. Всего ведь не запишешь, а прямая речь звучит у Богданова весьма неподдельно. А чего не понимал Богданов-студент, не понимал он и потом; жизнь давила на него и ломала его, но не сломала, и не исказила трезвости, только что поддавшейся на подсказанные иллюзии, но ведь и такой наклон бывает в душе, что никак не может не уступить она преподносимым ей и таким для нее естественным, нажитым иллюзиям. Иной раз именно трезвость, протрезвленность ума и ловится; иной раз на трезвость, ни на что-нибудь, и ловятся...

Все свет да свет. Но ведь бывают такие просветители, у которых — от их собственной светлоты — все вокруг немедленно делается пасмурным, и от их культурности — диким. И сам же Богданов наблюдает и аккуратно описывает такие феномены, и не простую плавность и пластичность образа открывают перед нами его картины, но и почти художественный дар жанровой характеристики. Помещика С. А. Рачинского рисует нам Богданов, и помещицу Извекову, и других, и даже извековщину как феномен просветительской благоглупости. Один уверен, что народ — дикий и что надо убеждать его «дарами и крестом» и что «у нас все плохо», а другая сентиментально воспитывает крестьянских девиц и особенно возмущается «спаньем на полатях, на лавках, на печке, на полу: «Разве можно терпеть у дворян под боком, — говорила она, — такую дикость!» А крестьяне надувают этих непросвещенных в их жизни просветителей, зато просветителям и реформаторам крестьянской жизни не надуть нашего студента, никак не надуть. А ведь между тем он и сам верит, что люди в деревне живут дико, некультурно, невежественно, бедно, неладно, неумело... Верит — при полном признании умений и ве́дений крестьянских: в строительстве ли, в лечении ли болезней, даже в предсказывании погоды...

Вот ведь какое противоречие выявилось в светлоте. С. А. Рачинский наставлял: «Русский народ — полный невежда, жаден, развратен, не знает и не признаёт никакой религии». «Я сужу по нашему смоленскому крестьянину: ни религии, ни благородства, ни национального достоинства — ничего у него нет». На что В. В. Богданов (заметим, бесконечно меньше знакомый с крестьянином, только глядящий на него другими глазами) твердо заявляет: «Все это у него есть». И затем объясняет на свой лад: «Христианскую, ему недоступную и в корне своем классовую византийскую религию он не только не постигает, но и не признаёт. Все библейские легенды о сотворении мира и человека, об Адаме и Еве, о беспомощном (?) господе Боге, творце мира, и о его сильном противнике Сатане русский крестьянин слышал и превратил их в анекдоты (тут Рачинский, просвещающий крестьян дарами и крестом, начинает охотно поддакивать. — А. М.). У русского крестьянина и в других сословиях простого русского народа есть своя религия. Это — культ предков, народные обряды, народные праздники, связанные с почитанием Солнца и Матери Земли не как богов, а как материальных стихий, дающих человеку материальную основу его существования». «В небольшой беседе с ним в его кабинете, — завершает наш автор рассказ о своей встрече с Рачинским, — я старался смягчить его отзывы» — о русском народе. «Но указал (!), что великий русский народ сам найдет выход на большую дорогу правды, когда сбросит с себя опеку полицейского государства, жадного до власти дворянства, когда будет свободной земской силой, какой он был в 1612 г. и в 1812 г., когда дважды спас Россию от разрухи».

Думая теперь об этом ровно столетней давности разговоре и о том, как спустя полвека с лишним Богданов записывает, восстанавливает его, дивишься более всего, пожалуй, тому, как мало ряби и смущения внесла прожитая жизнь в восприятия юного студента: тут и народ как «земская сила», которая спасет Россию от разрухи, когда освободится от опеки полицейского государства, — и непонятно, в 1940-е-то годы, к каким временам относятся все эти ожидания, как вообще соотносятся они с действительностью за окном. И как-то не остро, без исторической напряженности времен, выливается этот вспоминаемый рассказ (в чем ведь и достоинство этой прозы, как говорили мы).

А посмотреть с другой стороны — вот народ, за который решают все, вот народ, который со всех сторон взяли в тиски исключительно светлые силы. Они ведь только добра ему хотят — и «интеллигент» Рачинский (так он понимает себя, рассуждая о задачах интеллигенции в отношении народа), и сам Богданов, и Толстой (взгляды которого попадают сюда в отражении), и еще огромное множество всяких иных, и все светлых, просвещающих народ, просветительских сил. Вот какой склад обстоятельств обнаруживается во всей этой проникнутой светом (и полной надежд) картине. И каких только светлых задумок не сочи-

нено на будущее для этого народа — как только не предположено его направлять и исправлять!..

Между тем просветителю Рачинскому свойственна способность мрачно пророчествовать: «Россию... ожидают великие искушения. Выдержит ли их русский нарсд, очень сомневаюсь». Тут нужно привести другие слова, сказанные примерно тогда же, — их нервно-чуткий М. А. Врубель сказал Константину Коровину, прекрасному и острому писателю-рассказчику; там вот Врубель сказал их тогда Коровину и говорит нам теперь, только теперь: «В городах России «нарастает злая воля»» (см. «Наше наследие», 1990, № 2, с. 112).

«В городах России «нарастает злая воля»». Задумаемся над этими словами. В чем она, злая воля? Да уже и в самом свете — в таком, от лучей которого жизнь и бытие меркнут, обращаясь в нечто сугубо несовершенное, в дикость и разруху, в том свете, который в своем самовольном нетерпении уж задумал прекрасное будущее для не ведающего о том народе. Уже само превращение русского народа в язычника-материалиста, стилизация его в таком духе — неправда и зло, хотя такой светлый миф может получать самое совершенное выражение в искусстве — у Римского-Корсакова, например, или в тогдашней же архитектуре русского стиля, и даже в церковной живописи того времени. Но, право же, это процветшее на фоне веры и церковности, на почве душевной проникновенности и умиленности язычество — еще чистая невинность. Потому что, есть иное — подлинно пророческий замысел на предмет грядущего, обсуждаемый втихомолку, подальше от людей: знаменитая и прославленная Вера Засулич так (и опять примерно в те же годы!) изъясняет Чернышевского молодому социал-демократу Н. Валентинову (см. «Слово», 1990, № 11, с. 57): «Старинные здания» — это главным образом монастыри, отчасти церкви, их надо уничтожать, а здания их утилизовать для организации в них фаланстер. Такова была мысль Чернышевского». Вот тебе, бабушка, и земская сила, которая спасет Россию от разрухи, как только освободится от полицейского государства! — Ведь уже «запланировано», что ей делать: уничтожать церкви, утилизовать здания... И ведь как исполнился, как исполнялся этот план, кажется, единственный, который неукоснительно исполнялся вплоть до Н. Хрущева и даже до ваших дней. Что даже и снимает толику личной вины с Л. Кагановича, Агасфера наших дней, потому что, громя Москву, действовал он не иначе, как в ярких и светлых лучах направленного в грядущее прожектора...

Так и чешутся руки уничтожать и утилизовать здания — до полной бессмыслицы и неутилитарности такого уничтожения, до полной невменяемости. Вот и стоит вся земля в стертых с ее лица, или в полуразрушенных, или в предоставленных всем ветрам и глумлению бесхозных зданиях. Между тем, как показывают новые исследования экологов-архитекторов, исчезновение церкви, живого центра организованного, органически устроившегося и сложившегося человеческого поселения — лишает повседневную жизнь людей осмысленности, наносит им внутренний ущерб. Материальная разруха влечет за собой духовное расстройство, когда «нет царя в голове», а нравственно-духовная разруха влечет за собой материальную разруху, и так одно гонит и понукает вперед другое. Отсюда общее состояние, когда у людей руки опускаются.

...Соблазнительная картинка из Константина Коровина. Действие происходит до разрухи. Но уже взят в тиски светлыми помыслами всякий лад. Итак, картинка или, лучше, фрагмент картины:

«Как это было давно, там, у нас в России!.. Мясопуст. Мяса не ели. Блины. Везде блины.

Все рынки, Охотный ряд в Москве, завалены снетками, икрой в бочках. Рыба навалена — осетрина, семга, севрюга, белуга, навага. В Петербурге — корюшка, сиги копченые, копчушки разные, селедка, тарань, минога, белорыбицы, балыки, судаки. Рыба живая.

Масло бочками, сметана, в больших глиняных горшках.

Везде блины.

Из трактиров чад идет. С утра и до вечера пекут блины, пахнет горячим тестом.

Ну, и хороши были блины в Москве! С зернистой икрой». И т. д.

А вот и Великий пост наступил:

«Весна, весна! Солнце радостью светит! И блестят церкви московские золотыми маковками.

И так радостно в душе.

А на столе — черный хлеб, грузди, рыжики, волнянки, кочанная капуста с постным маслом хрустит на зубах»...

Однако довольно соблазнительных картинок, и вернемся к нашему писателю-ученому: «Мы мечтаем о солнечных днях будущей России, а сегодня наша Россия победоносцевых хвастается неграмотностью народа, мракобесием и сотнями тысяч умирающих с голода нищих»... И все же как замечательно, что Институт этнографии деятельно чтит память своего заслуженного сотрудника! Это он издал большими частями его воспоминания, или «этнографические очерки», на ротапринте тиражом в 500 экземпляров на 184 страницах под авторским названием «Этнография в истории моей жизни». Хотя издал и небезукоризненно — с опечатками и выпавшими словами, чего в ротапринтном издании могло и вовсе не быть. Всего же в рукописи насчитывается 913 больших, от руки написанных страниц. Как хорошо было бы — пока еще читают у нас мемуары, — чтобы какой-нибудь умный кооператив взял да издал такую книгу на пользу нашей памяти. Потому что недостает ей прежде всего честных и прямодушных — и спокойных текстов о былой жизни.

ЭДУАРД ВОЛОДИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

За прошедшее время выросло уже третье поколение, которое полностью отчуждено от русской духовности и более того — оно и русскую историю, обычаи и нравы русского народа перестало знать и, само собой, уважать. Можно с достаточным основанием говорить о создании новой этнической общности, которая с большой натяжкой имеет право называться наследницей русской духовности, и это, безусловно, самое великое достижение атеистической доктрины, определившей идеологическое содержание новой государственности. Не потому ли, как только административные вожжи были отпущены, в стране начались вакханалия преступности и жестокости, открытое и наглое до цинизма попрание нравственности и та бешеная жажда наживы, которая вполне сопоставима с грязью и кровью в эпоху первоначального накопления капитала ныне «цивилизованных» и «демократических» стран Запада.

Как это ни покажется странным, но свою лепту в нравственную деградацию внес и отказ от коммунистического идеала как государственной цели. Что бы он собой ни представлял, но он был целью, дававшей государству историческую перспективу. Нынешний поворот к рынку и потреблению в идеологическом смысле хуже даже хрущевской авантюры с построением коммунизма в 1980 году. Там хоть предполагалось, что все будет у всех и все будут счастливы (так сказать, хилиазм атеистического типа). Как бы сейчас ускоренно-перестроечно ни формировали стереотип о совершенстве буржуазного рая, все понимают, что грядут безработица, имущественное расслоение, социальное неравенство, парламентская манипуляция общественным сознанием и чаяниями людей. Выживет сильнейший — вот реальная проблема, которая ни к духовности, ни к нравственности, ни к историческому смыслу государственно-национальной жизни отношения не имеет. Следовательно, отказ от коммунистического идеала я могу трактовать как очередной этап в развитии сохраняющейся атеистической идеологии — мы идем к обществу равных возможностей во вседозволенности и еще раз подтверждаем великий вывод нашего национального пророка Ф. М. Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Практически такое состояние общественной жизни означает полное уничтожение каких-либо разумных форм государственной жизни, распад национального единства и нисхождение в небытие, из которого ни нация, ни государство уже не поднимутся. Разве что сохранятся некие псевдоэтнические общности, как реликты или культурно-этнографические резервации, имеющие кое-что интересное для фольклорных экспедиций.

Но история никогда не развивается однолинейно, и многозначность и многосложность происходящего всегда вносит свои существенные коррективы в разумно упорядоченную в прожектах действительность. Не говоря уже о причинах высшего порядка, многозначность развития истории страны и народа повлияла на реализацию в полном объеме атеистической доктрины. В соответствии с планами третьей пятилетки предполагалось довести количество верующих в стране до 2,5 процента. Великая Отечественная война внесла поправки, и план был провален. Отечественный характер войны потребовал развития патриотизма, и вопрос о духовности решился на фронтах, в тылу, а не в соответствии с целями и задачами всесоюзного главаря безбожников Е. Ярославского.

В 60-е годы остервенелая атака на духовное содержание русской жизни была предпринята Никитой Хрущевым, клявшимся, что в 1980 г. он покажет по телевидению «последнего попа». При всем том, что в период так называемой «оттепели» были возрождены худшие традиции атеистической пропаганды и агитации (закрытие храмов, их уничтожение, притеснение церкви, разнузданная атеистическая борьба с нашей историей и традициями), обещание Хрущева оказалось таким же блефом, как и построение коммунизма хрущевского уровня понимания.

Приведенными примерами я хочу сказать, что государственная доктрина не смогла стать национальной идеологией и не пропитала национальную психологию. В жесточайших условиях подавления церковь выстояла и продолжала духовное окормление тех, кто в нем нуждался.

Огромную духовную работу выполнили русские женщины. Я имею в виду паству, которая в абсолютном большинстве состояла и до сих пор состоит из женщин, сохранивших преданность вере отцов — какой бы уровень образования

эти женщины ни имели, как бы беспомощны они ни были в богословии. Это ведь они сохранили в доме икону, а иногда и книги духовного содержания. Это они, как могли и умели, рассказывали детям и внукам о Писании и Предании. Это они, насколько возможно, давали пример соответствия слова и дела, когда о единстве слова и дела орали политические интриганы, идейные проститутки и просто жулики разных разрядов.

Свою работу по сохранению русской духовности выполняли наш великий, могучий и свободный русский язык и литература. Появление именно в 60-е годы «деревенской прозы», пронзительной лирики Н. Рубцова, философской поэзии Ю. Кузнецова, творческое возрождение национальной традиции другими художниками помогли не угасить свечу духовности.

И снова повторю, как бы это ни шло вразрез с рыночными идеалами нынешнего обновленчества, — коммунистический идеал не позволял довести общество до вседозволенности. Объективно он работал против тоталитарного атеизма (как положительная ценность), хотя сам атеизм настойчиво доказывал, что он орудие в руках коммунизма (впрочем, таким неучам, каким был Хрущев, и впрямь казалось, что всеобщее и равное потребление является сутью коммунизма. Понятно, что такая интерпретация вообще не ставит проблему идеала жизнеустроения и сама нуждается в атеизме как идеологическом обосновании высшего смысла всеобщей обжираловки).

Совокупность приведенных фактов показывает, что тоталитаризм атеизма не был всеобъемлющим, и русская духовность, разнообразно явленная, продолжала жить в едином национальном теле. Это, конечно, не снимает упомянутой ранее серьезнейшей проблемы третьего поколения, но и не позволяет однозначно пессимистически оценить состояние и перспективы развития духовности русского народа.

Само предание и сама история приходит к нам на помощь сейчас, когда духовная деградация расползается по народному, национальному организму, а сатанизм проповедуется с остервенением, не меньшим, чем до сих пор вдалбливался в сознание атеизм. Впервые история напомнила о нашей национальной духовности в 1980 г., когда в областном тульском масштабе был отмечен всенародный праздник 600-летия Куликовской битвы. Тогда в сознании отложилась неразрывная связь князя Димитрия Донского и преподобного Сергия Радонежского, и никаким атеистическим заклинаниям разрушить эту связь в общественном сознании не удалось. Потом было какое-то затишье, казавшееся обреченностью, а на самом деле шла невидимая подготовка наших душ к празднику 1000-летия Крещения Руси. Это был истинно всенародный праздник, и в одичалом сознании стали появляться воспоминания о мощи народа и государства. Вдруг пустыня внутреннего мира людей затрепетала и взволновалась, почувствовав благодатный дождь духовности, проливаемый на засохшую почву. Через год отмечалось 400-летие русского Патриаршества, и его празднование было уже само собой разумеющимся, необходимым и желанным просыпающимся русским разуму и сердцу. Впереди нас ждет великая годовщина 600-летия упокоения преподобного Сергия Радонежского, и будем верить, что имя прескорого чудотворца вызовет ликование в сердце каждого русского.

Спустя десятилетия после обретения в 1903 г. мощей преподобного Серафима Саровского Русская Православная Церковь канонизировала благоверного Великого князя Московского Димитрия Донского, преподобного Андрея Рублева, преподобного Максима Грека, святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси, преподобного Паисия Величковского, блаженную Ксению Петербургскую, святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана, затворника Вышинского, преподобного Амвросия, старца Оптинского, святого Иоанна Кронштадтского, святителей Иова и Тихона, патриархов Московских и всея Руси. Придет скоро время, и к лику святых причтены будут новомученики христианские, а меж них и семья последнего русского царя Николая Александровича Романова.

Все перечисленное касается прежде всего Русской Православной Церкви и ее клира и паствы. Но это духовное делание непосредственно касается духовного содержания жизни русского народа и духовных оснований русской нравственности и культуры. Обретение национальной духовности, таким образом, не воспоминание о датах, именах и событиях, а осмысление духовной сути этих событий, имен и дат. Как поется в тропаре службы всем святым, в России просиявшим, «якоже плод красный твоего спасительного сияния, земля российская приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия. Тех молитвами в мире глубоце церковь и страну нашу Богородицею соблюди, милостиве».

Общество раздирается противоречиями. И остается верить, что возвращение к истокам русской духовности не доведет наш народ до нового братоубийства. Да минует нас чаша сия.

Первого августа сего года в Троицкий собор Дивеевского монастыря будут перенесены мощи преподобного Серафима Саровского.
До второго прославления великого подвижника русской земли осталось немного времени.
Дивеевскому монастырю сегодня нужна помощь в святом деле его восстановления.
Все, кто хочет приехать в Дивеево и поработать, будут с благодарностью приняты.

Те, кто желает помочь монастырю пожертвованиями, сообщаем счет 701001 в Дивеевском Агропромбанке, 607320, с. Дивеево Нижегородской области.